



Н.В. ГОГОЛЬ

1

Н.В. ГОГОЛЬ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ**

# Н. В. ГОГОЛЬ

## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

*В ШЕСТИ ТОМАХ*

*Под общей редакцией*

С. И. МАШИНСКОГО, А. Л. СЛОНИМСКОГО,  
Н. Л. СТЕПАНОВА

*Государственное издательство  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Москва 1959*

Н. В. ГОГОЛЬ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

*ТОМ ПЕРВЫЙ*

ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ  
БЛИЗ ДИКАНЬКИ

*Государственное издательство  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Москва 1959*



**Подготовка текста и примечания**  
**Н. Л. СТЕПАНОВА**

*Оформление художника*  
**В. К А Р А Н Д А Ш Е В А**



НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ

*Портрет работы Ф. Моллера. 1840.*

# ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ

*Повести,  
изданные писателем  
Рудым Паньком*



# Часть первая

## ПРЕДИСЛОВИЕ

«Это что за невидаль: «Вечера на хуторе близ Диканьки»? Что это за «Вечера»? И швырнул в свет какой-то пасичник! Слава богу! еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу! Еще мало народу, всякого звания и сброду, вымарало пальцы в чернилах! Дернула же охота и пасичника потащиться вслед за другими! Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть в нее».

Слышало, слышало вещее мое все эти речи еще за месяц! То есть, я говорю, что нашему брату, хуторянину, высунуть нос из своего захолустья в большой свет — батюшки мои! Это все равно как, случается, иногда зайдешь в покои великого пана: все обступят тебя и пойдут дурачить. Еще бы ничего, пусть уже высшее лакейство, нет, какой-нибудь оборванный мальчишка, посмотреть — дрянь, который копается на заднем дворе, и тот пристанет; и начнут со всех сторон притопывать ногами. «Куда, куда, зачем? пошел, мужик, пошел!..» Я вам скажу... Да что говорить! Мне легче два раза в год съездить в Миргород, в котором вот уже пять лет как не видал меня ни подсудок из земского суда, ни почтенный иерей, чем показаться в этот великий свет. А показался — плачь не плачь, давай ответ.

У нас, мои любезные читатели, не во гнев будь сказано (вы, может быть, и рассердитесь, что пасичник



говорит вам запросто, как будто какому-нибудь свату своему или куму), — у нас, на хуторах, водится издавна: как только окончатся работы в поле, мужик залезет отдыхать на всю зиму на печь и наш брат припрячет своих пчел в темный погреб, когда ни журавлей на небе, ни груш на дереве не увидите более, — тогда, только вечер, уже наверно где-нибудь в конце улицы брезжит огонек, смех и песни слышатся издалеча, бренчит балалайка, а подчас и скрышка, говор, шум... Это у нас *еечерницы*! Они, извольте видеть, они похожи на ваши балы; только нельзя сказать чтобы совсем. На балы если вы едете, то именно для того, чтобы повертеть ногами и позевать в руку; а у нас соберется в одну хату толпа девушек совсем не для балу, с веретеном, с гребнями; и сначала будто и делом займутся: веретена шумят, льются песни, и каждая не подымет и глаз в сторону; но только нагрянут в хату парубки с скрыпачом — подыметесь крик, затеется шаль, пойдут танцы и заведутся такие штуки, что и рассказать нельзя.

Но лучше всего, когда собьются все в тесную кучку и пустятся загадывать загадки или просто нести болтовню. Боже ты мой! Чего только не расскажут! Откуда старины не выкопают! Каких страхов не нанесут! Но нигде, может быть, не было рассказываемо столько диковин, как на вечерах у пасичника Рудого Панька. За что меня миряне прозвали Рудым Паньком — ей-богу, не умею сказать. И волосы, кажется, у меня теперь более седые, чем рыжие. Но у нас, не извольте гневаться, такой обычай: как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останется оно. Бывало, соберутся накануне праздничного дня добрые люди в гости, в пасичникову лачужку, усядутся за стол, — и тогда прошу только слушать. И то сказать, что люди были вовсе не простого десятка, не какис-нибудь мужики хуторянские. Да, может, иному, и повыше пасичника, сделали бы честь посещением. Вот, например, знаете ли вы дьяка диканьской церкви, Фому Григорьевича? Эх, голова! Что за истории умел он отпускать! Две из них найдете в этой книжке. Он никогда не носил пестрядевого халата, какой встре-

тите вы на многих деревенских дьячках; но заходите к нему и в будни, он вас всегда примет в балахоне из тонкого сукна, цвету застуженного картофельного киселя, за которое платил он в Полтаве чуть не по шести рублей за аршин. От сапог его, у нас никто не скажет на целом хуторе, чтобы слышен был запах дегтя; но всякому известно, что он чистил их самым лучшим смальцем, какого, думаю, с радостью иной мужик положил бы себе в кашу. Никто не скажет также, чтобы он когда-либо утирал нос полою своего балахона, как то делают иные люди его звания; но вынимал из пазухи опрятно сложенный белый платок, вышитый по всем краям красными нитками, и, исправивши что следует, складывал его снова, по обыкновению, в двенадцатую долю и прятал в пазуху. А один из гостей... Ну, тот уже был такой панич, что хоть сейчас нарядить в заседатели или подкомории. Бывало, поставит перед собою палец и, глядя на конец его, пойдет рассказывать — вычурно да хитро, как в печатных книжках! Иной раз слушаешь, слушаешь, да и раздумье нападет. Ничего, хоть убей, не понимаешь. Откуда он слов понабрался таких! Фома Григорьевич раз ему насчет этого славную сплел присказку: он рассказал ему, как один школьник, учившийся у какого-то дьяка грамоте, приехал к отцу и стал таким латыньщиком, что позабыл даже наш язык православный. Все слова сворачивает на *ус*. Лопата у него — лопатус, баба — бабус. Вот, случилось раз, пошли они вместе с отцом в поле. Латыньщик увидел грабли и спрашивает отца: «Как это, батюку, по-вашему называется?» Да и наступил, разинувши рот, ногою на зубцы. Тот не успел собраться с ответом, как ручка, размахнувшись, поднялась и — хватить его по лбу. «Проклятые грабли! — закричал школьник, ухватясь рукою за лоб и подскочивши на аршин, — как же они, черт бы спихнул с мосту отца их, больно бьются!» Так вот как! Припомнил и имя, голубчик! Такая присказка не по душе пришлась затейливому рассказчику. Не говоря ни слова, встал он с места, расставил ноги свои посередине комнаты, нагнул голову немного вперед, засунул руку в задний карман горохового кафтана своего, вытащил круглую под

лаком табакерку, щелкнул пальцем по намалеванной рожке какого-то бусурманского генерала и, захвативши немалую порцию табаку, растертого с золою и листьями любистка, поднес ее коромыслом к носу и вытянул носом на лету всю кучку, не дотронувшись даже до большого пальца,— и всё ни слова; да как полез в другой карман и вынул синий в клетках бумажный платок, тогда только проворчал про себя чуть ли еще не поговорку: «Не мечите бисер перед свиньями»... «Быть же теперь ссоре»,— подумал я, заметив, что пальцы у Фомы Григорьевича так и складывались дать дулю. К счастью, старуха моя догадалась поставить на стол горячий кнш с маслом. Все принялись за дело. Рука Фомы Григорьевича, вместо того чтоб показать шиш, протянулась к кншу, и, как всегда водится, начали прихваливать мастерицу хозяйку. Еще был у нас один рассказчик; но тот (нечего бы к ночи и вспоминать о нем) такие выкапывал страшные истории, что волосы ходили по голове. Я нарочно и не помещал их сюда. Еще напугаешь добрых людей так, что пасичника, прости господи, как черта все станут бояться. Пусть лучше, как доживу, если даст бог, до нового году и выпущу другую книжку, тогда можно будет постращать выходцами с того света и дивами, какие творились в старину в православной стороне нашей. Меж ними, статья может, найдете побасенки самого пасичника, какие рассказывал он своим внукам. Лишь бы слушали да читали, а у меня, пожалуй,— лень только проклятая рыться,— наберется и на десять таких книжек.

Да, вот было и позабыл самое главное: как будете, господа, ехать ко мне, то прямехонько берите путь по столбовой дороге на Диканьку. Я нарочно и выставил ее на первом листке, чтобы скорее добрались до нашего хутора. Про Диканьку же, думаю, вы наслышались вдоволь. И то сказать, что там дом почище какого-нибудь пасичникова куреня. А про сад и говорить нечего: в Петербурге вашем, верно, не сыщете такого. Приехавши же в Диканьку, спросите только первого попавшегося навстречу мальчишку, пасущего в запачканной рубашке гусей: «А где живет пасичник Рудый Панько?»—«А вот там!»— скажет он, указавши паль-

цем, и, если хотите, доведет вас до самого хутора. Прошу, однако ж, не слишком закладывать назад руки и, как говорится, финтить, потому что дороги по хуторам нашим не так гладки, как перед вашими хоромами. Фома Григорьевич третьего году, приезжая из Диканьки, понаведался-таки в провал с новою таратайкою своею и гнедою кобылою, несмотря на то что сам правил и что сверх своих глаз надевал по временам еще покупные.

Зато уже как пожалуете в гости, то дынь подадим таких, каких вы отроду, может быть, не ели; а меду, и забожусь, лучшего не сыщете на хуторах. Представьте себе, что как внесешь сот — дух пойдет по всей комнате, вообразить нельзя какой: чист, как слеза или хрусталь дорогой, что бывает в серьгах. А какими пирогами накормит моя старуха! Что за пироги, если б вы только знали: сахар, совершенный сахар! А масло так вот и течет по губам, когда начнешь есть. Подумаешь, право: на что не мастерицы эти бабы! Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квас с терновыми ягодами или варенуху с изюмом и сливами? Или не случилось ли вам подчас есть путрю с молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев! Станешь есть — объяденье, да и полно. Сладость неописанная! Прошлого года... Однако ж что я в самом деле разболтался?.. Приезжайте только, приезжайте поскорей; а накормим так, что будете рассказывать и встречному и поперечному.

*Пасичник Рудый Панько.*

На всякий случай, чтобы не помянули меня недобрым словом, выписываю сюда, по азбучному порядку, те слова, которые в книжке этой не всякому понятны.

Банду́ра,	инструмент, род гитары.
Бато́г,	кну́т.
Боля́чка,	золотуха.
Бо́ндарь,	боча́рь.
Бу́блик,	круглый крендель, баранчик.
Буря́к,	свекла.
Буха́нец,	небольшой хлеб.
Ви́нница,	виноку́рня.

Галу́шки,	клёцки.
Голодра́бец,	бедняк, бобыль.
Гопáк,	малороссийские танцы.
Го́рлица }	
Дйвчина,	девушка.
Дивча́та,	девушки.
Дижá,	кадка.
Дрибу́шки,	мелкие косы.
Домови́на,	гроб.
Ду́ля,	пиш.
Дукáт,	род медали, носится на шее.
Зна́хор,	многознающий, ворожея.
Жй́нка,	жена.
Жупáн,	род кафтана.
Кагане́ц,	род светильни.
Клёпки,	выпуклые дощечки, из коих состав- лена бочка.
Книш,	род печеного хлеба.
Кобза́,	музыкальный инструмент.
Комо́ра,	амбар.
Кора́блик,	головной убор.
Кунту́ш	верхнее старинное платье.
Коровáй,	свадебный хлеб.
Ку́холь,	глиняная кружка.
Лысый дидько,	домовой, демон.
Лю́лька,	трубка.
Макитра́,	горшок, в котором трут мак.
Мако́гон,	пест для растирания мака.
Малаха́й,	плеть.
Ми́ска,	деревянная тарелка.
Молоди́ца,	замужняя женщина.
Наймы́т,	нанятой работник.
Наймы́чка,	нанятая работница.
Оселёдец,	длинный клоч волос на голове, за- матывающийся на ухо.
Очи́пок,	род чепца.
Пампу́шки,	кушанье из теста.
Па́сичник,	пчеловод.
Па́рубок,	парень.
Пла́хта,	нижняя одежда женщин.
Пе́кло,	ад.



Перёкупка,	торговка.
Перепо́лѣх,	испуг.
Пейсики,	жидовские локоны.
Пове́тка,	сарай.
Полутабе́нек,	шелковая материя.
Пу́тря,	кушанье, род каши.
Рушникъ,	утиральник.
Свѣтка,	род полукафтаныя.
Синдѣчки,	узкие ленты.
Сласте́ны,	пышки.
Сво́лок,	перекладина под потолком.
Сливя́нка,	наливка из слив.
Сму́шки,	бараний мех.
Сбѣяшница,	боль в животѣ.
Сопѣлка,	род флейты.
Стуса́н,	кулак.
Стри́чки,	ленты.
Тройча́тка,	тройная плеть.
Хло́пец,	парень.
Ху́тор,	небольшая деревушка.
Ху́стка,	платок носовой.
Цибу́ля,	лук.
Чумаки́,	обозники, едущіе в Крым за солью и рыбою.
Чупри́на, чубъ,	длинный клоч волос на голове.
Шѣшка,	небольшой хлеб, делаемый на свадьбах.
Юшка,	соус, жижа.
Ятка,	род палатки или шатра.

## СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА

### I

Мені нудно в хаті жить.  
Ой, вези ж мене із дому,  
Де багацько грому, грому,  
Де гонцюють все дівки,  
Де гуляють парубки!

*Из старинной легенды.*

Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих! На нем ни облака. В поле ни речи. Все как будто умерло; вверху только, в небесной глубине, дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается в степи. Лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят подоблачные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накидывая на другие темную, как ночь, тень, по которой только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые стога сена и золотые снопы хлеба станом распо-

лагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешен, слив, яблонь, груш; небо, его чистое зеркало — река в зеленых, гордо поднятых рамах... как полно сладострастия и неги малороссийское лето!

Такою роскошью блистал один из дней жаркого августа тысячу восемьсот... восемьсот... Да, лет тридцать будет назад тому, когда дорога, верст за десять до местечка Сорочинец, кипела народом, поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку. С утра еще тянулись нескончаемою вереницею чумаки с солью и рыбою. Горы горшков, закутанных в сено, медленно двигались, кажется, скупая своим заключением и темнотою; местами только какая-нибудь расписанная ярко миска или макитра хвастливо выказывалась из высоко взгроможденного на возу плетня и привлекала умиленные взгляды поклонников роскоши. Много прохожих поглядывало с завистью на высокого гончара, владельца сих драгоценностей, который медленными шагами шел за своим товаром, заботливо окутывая глиняных своих щеголей и кокеток ненавистным для них сеном.

Одинок в стороне тащился на истомленных волах воз, наваленный мешками, пенькою, полотном и разною домашнею поклажею, за которым брел, в чистой полотняной рубашке и запачканных полотняных шароварах, его хозяин. Ленивою рукой обтирал он катившийся градом пот со смуглого лица и даже капавший с длинных усов, напудренных тем неумолимым парикмахером, который без зову является и к красавице, и к уроду и насильно пудрит несколько тысяч уже лет весь род человеческий. Рядом с ним шла привязанная к возу кобыла, смиренный вид которой обличал преклонные лета ее. Много встречных, и особливо молодых парубков, брались за шапку, поравнявшись с нашим мужиком. Однако ж не седые усы и не важная поступь его заставляли это делать; стоило только поднять глаза немного вверх, чтоб увидеть причину такой почтительности: на возу сидела хорошенькая дочка с круглым личиком, с черными бровями, ровными дугами поднявшимися над светлыми карими глазами, с беспечно улыбающимися розовыми губками, с повязанными на

голове красными и синими лентами, которые, вместе с длинными косами и пучком полевых цветов, богатою короною покоились на ее очаровательной головке. Все, казалось, занимало ее; все было ей чудно, ново... и хорошенькие глазки беспрестанно бегали с одного предмета на другой. Как не рассеяться! в первый раз на ярмарке! Девушка в осьмнадцать лет в первый раз на ярмарке!.. Но ни один из прохожих и проезжих не знал, чего ей стоило упросить отца взять с собою, который и душою рад бы был это сделать прежде, если бы не злая мачеха, выучившаяся держать его в руках так же ловко, как он вожжи своей старой кобылы, тащившейся, за долгое служение, теперь на продажу. Неугомонная супруга... но мы и позабыли, что и она тут же сидела на высоте воза, в нарядной шерстяной зсленой кофте, по которой, будто по горностаевому меху, нашиты были хвостики, красного только цвета, в богатой плахте, пестревшей, как шахматная доска, и в ситцевом цветном очипке, придававшем какую-то особенную важность ее красному, полному лицу, по которому проскальзывало что-то столь неприятное, столь дикое, что каждый тотчас спешил перенести встревоженный взгляд свой на веселенькое личико дочки.

Глазам наших путешественников начал уже открываться Псёл; издали уже веяло прохладой, которая казалась ощутительнее после томительного, разрушающего жара. Сквозь темно- и светло-зеленые листья небрежно раскиданных по лугу осокоров, берез и тополей засверкали огненные, одетые холодом искры, и река-красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленые кудри дерев. Своенравная, как она в те упоительные часы, когда верное зеркало так завидно заключает в себе ее полное гордости и ослепительного блеска чело, лилейные плечи и мраморную шею, осененную темною, упавшею с русой головы волною, когда с презрением кидает одни украшения, чтобы заменить их другими, и капризам ее конца нет,—она почти каждый год переменила свои окрестности, выбирая себе новый путь и окружая себя новыми, разнообразными ландшафтами.



Сорочинская ярмарка  
*Рисунок И. Репина. 1892*





Ряды мельниц подымали на тяжелые колеса свои широкие волны и мощно кидали их, разбивая в брызги, обсыпая пылью и обдавая шумом окрестность. Воз с знакомыми нам пассажирами въехал в это время на мост, и река во всей красоте и величии, как цельное стекло, раскинулась перед ними. Небо, зеленые и синие леса, люди, возы с горшками, мельницы — все опрокинулось, стояло и ходило вверх ногами, не падая в голубую прекрасную бездну. Красавица наша задумалась, глядя на роскошь вида, и позабыла даже лущить свой подсолнечник, которым исправно занималась во все продолжение пути, как вдруг слова: «Ай да дивчина!» — поразили слух ее. Оглянувшись, увидела она толпу стоявших на мосту парубков, из которых один, одетый пощеголеватее прочих, в белой свитке и в серой шапке решетиловских смушек, подпершись в бока, молодецки поглядывал на проезжающих. Красавица не могла не заметить его загоревшего, но исполненного приятности лица и огненных очей, казалось, стремившихся видеть ее насквозь, и потупила глаза при мысли, что, может быть, ему принадлежало произнесенное слово.

— Славная дивчина! — продолжал парубок в белой свитке, не сводя с нее глаз. — Я бы отдал все свое хозяйство, чтобы поцеловать ее. А вот впереди и дьявол сидит!

Хохот поднялся со всех сторон; но разряженной сожительнице медленно выступавшего супруга не слишком показалось такое приветствие: красные щеки ее превратились в огненные, и треск отборных слов посыпался дождем на голову разгульного парубка:

— Чтоб ты подавился, негодный бурлак! Чтоб твоего отца горшком в голову стукнуло! Чтоб он подскользнулся на льду, антихрист проклятый! Чтоб ему на том свете черт бороду обжег!

— Вишь, как ругается! — сказал парубок, вытаращив на нее глаза, как будто озадаченный таким сильным залпом неожиданных приветствий, — и язык у нее, у столетней ведьмы, не заболит выговорить эти слова.

— Столетней! — подхватила пожилая красавица. — Нечестивец! поди умойся наперед! Сорванец негодный! Я не видала твоей матери, но знаю, что дрянь! и отец дрянь! и тетка дрянь! Столетней! что у него молоко еще на губах...

Тут воз начал спускаться с мосту, и последних слов уже невозможно было расслушать; но парубок не хотел, кажется, кончить этим: не думая долго, схватил он комок грязи и швырнул вслед за нею. Удар был удачный, нежели можно было предполагать: весь новый ситцевый очипок забрызган был грязью, и хохот разгульных повес удвоился с новою силой. Дородная щеголиха вскипела гневом; но воз отъехал в это время довольно далеко, и месть ее обратилась на безвинную падчерицу и медленного сожителя, который, привыкнув издавна к подобным явлениям, сохранял упорное молчание и хладнокровно принимал мятежные речи разгневанной супруги. Однако ж, несмотря на это, неутомимый язык ее трещал и болтался во рту до тех пор, пока не приехали они в пригороде к старому знакомому и куму, козаку Цыбуле. Встреча с кумовьями, давно не видавшими, выгнала на время из головы это неприятное происшествие, заставив наших путешественников поговорить об ярмарке и отдохнуть немного после дальнего пути.

## II

Що, боже ти мій, госпode! чого нема на тій ярмарці! Колеса, скло, дьоготь, тю-тун, ремінь, цибуля, крамарі всякі... так, що хоч би в кишені було рублів і а тридцять, то й тоді б не закупив усієї ярмарки.

*Из малороссийской комедии.*

Вам, верно, случалось слышать где-то валящийся отдаленный водопад, когда встревоженная окрестность полна гула и хаос чудных неясных звуков вихрем носится перед вами. Не правда ли, не те ли самые чувства мгновенно обхватят вас в вихре сельской ярмар-

ки, когда весь народ срастается в одно огромное чудовище и шевелится всем своим туловищем на площади и по тесным улицам, кричит, гогочет, гремит? Шум, брань, мычание, блеяние, рев — все сливается в один нестройный говор. Волы, мешки, сено, цыганы, горшки, бабы, пряники, шапки — все ярко, пестро, нестройно; мечется кучами и снуется перед глазами. Разноголосные речи потопляют друг друга, и ни одно слово не выхватится, не спасется от этого потопа; ни один крик не выговорится ясно. Только хлопанье по рукам торгашей слышится со всех сторон ярмарки. Ломается воз, звенит железо, гремят сбрасываемые на землю доски, и закружившаяся голова недоумевает, куда обратиться. Приезжий мужик наш с чернобровою дочкой давно уже толкался в народе. Подходил к одному возу, щупал другой, применялся к ценам; а между тем мысли его ворочались безостановочно около десяти мешков пшеницы и старой кобылы, привезенных им на продажу. По лицу его дочки заметно было, что ей не слишком приятно тереться около возов с мукою и пшеницею. Ей бы хотелось туда, где под полотняными ятками нарядно развешаны красные ленты, серьги, оловянные, медные кресты и дукаты. Но и тут, однако ж, она находила себе много предметов для наблюдения: ее смешило до крайности, как цыган и мужик били один другого по рукам, вскрикивая сами от боли; как пьяный жид давал бабе киселя; как поссорившиеся перекупки перекидывались бранью и раками; как москаль, поглаживая одною рукою свою козлиную бороду, другою... Но вот почувствовала она, кто-то дернул ее за шитый рукав сорочки. Оглянулась — и парубок в белой свитке, с яркими очами стоял перед нею. Жплкп ее вздрогнули и сердце забилося так, как еще никогда, ни при какой радости, ни при каком горе: и чудно и любо ей показалось, и сама не могла растолковать, что делалось с нею.

— Не бойся, серденько, не бойся! — говорил он ей вполголоса, взявши ее руку, — я ничего не скажу тебе худого!

«Может быть, это и правда, что ты ничего не скажешь худого, — подумала про себя красавица, — только мне

чудно... верно, это лукавый! Сама, кажется, знаешь, что не годится так... а силы недостает взять от него руку».

Мужик оглянулся и хотел что-то промолвить дочери, но в стороне послышалось слово «пшеница». Это магическое слово заставило его в ту же минуту присоединиться к двум громко разговаривавшим негоциантам, и приковавшегося к ним внимания уже ничто не в состоянии было развлечь. Вот что говорили негоцианты о пшенице.

### III

Чи бачиш, він який парнище?  
На світі трохи єсть таких.  
Сивуху так, мов брагу, хлице!

*Котляревский, «Энеида».*

— Так ты думаешь, земляк, что плохо пойдет наша пшеница?— говорил человек, с вида похожий на заезжего мещанина, обитателя какого-нибудь местечка, в пестрядевых, запачканных дегтем и засаленных шароварах, другому, в синей, местами уже с заплатами, свитке и с огромною шишкою на лбу.

— Да думать нечего тут; я готов вскинуть на себя петлю и болтаться на этом дереве, как колбаса перед рождеством на хате, если мы продадим хоть одну мерку.

— Кого ты, земляк, морочишь? Привозу ведь, кроме нашего, нет вовсе,— возразил человек в пестрядевых шароварах.

«Да, говорите себе что хотите,— думал про себя отец нашей красавицы, не пропускавший ни одного слова из разговора двух негоциантов,— а у меня десять мешков есть в запасе».

— То-то и есть, что если где замешалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько от голодного москаля,— значительно сказал человек с шишкою на лбу.

— Какая чертовщина?— подхватил человек в пестрядевых шароварах.



— Слышал ли ты, что поговаривают в народе?— продолжал с шишкою на лбу, наводя на него искоса свои угрюмые очи.

— Ну!

— Ну, то-то ну! Заседатель, чтоб ему не довелось обтирать губ после панской сливянки, отвел для ярмарки проклятое место, на котором, хоть тресни, ни зерна не спустишь. Видишь ли ты тот старый, развалившийся сарай, что вон-вон стоит под горою? (Тут любопытный отец нашей красавицы подвинулся еще ближе и весь превратился, казалось, во внимание.) В том сарае то и дело что водятся чертовские шашни; и ни одна ярмарка на этом месте не проходила без беды. Вчера волостной писарь проходил поздно вечером, только глядь — в слуховое окно выставилось свиное рыло и хрюкнуло так, что у него мороз подрал по коже; того и жди, что опять покажется *красная свитка!*

— Что ж это за *красная свитка?*

Тут у нашего внимательного слушателя волосы поднялись дыбом; со страхом оборотился он назад и увидел, что дочка его и парубок спокойно стояли, обнявшись и напевая друг другу какие-то любовные сказки, позабыв про все находящиеся на свете свитки. Это разогнало его страх и заставило обратиться к прежней беспечности.

— Эге-ге-ге, земляк! да ты мастер, как вижу, обниматься! А я на четвертый только день после свадьбы выучился обнимать покойную свою Хвеську, да и то спасибо куму: бывши *дружкою*, уже надоумил.

Парубок заметил тот же час, что отец его любезной не слишком далек, и в мыслях принялся строить план, как бы склонить его в свою пользу.

— Ты, верно, человек добрый, не знаешь меня, а я тебя тотчас узнал.

— Может, и узнал.

— Если хочешь, и имя, и прозвище, и всякую всячину расскажу: тебя зовут Солопий Черевик.

— Так, Солопий Черевик.

— А взглядишь-ко хорошенько: не узнаешь ли меня?

— Нет, не познаю. Не во гнев будь сказано, на веку столько довелось наглядеться рожа всяких, что черт их и припомнит всех!

— Жаль же, что ты не припомнишь Голопушенкова сына!

— А ты будто Охримов сын?

— А кто ж? Разве один только *лысый дидько*, если не он.

Тут приятели побрались за шапки, и пошло лобызание; наш Голопушенков сын, однако ж, не теряя времени, решился в ту же минуту осадить нового своего знакомого.

— Ну, Солопий, вот, как видишь, я и дочка твоя полюбили друг друга так, что хоть бы и навеки жить вместе.

— Что ж, Параска,— сказал Черевик, оборотившись и смеясь к своей дочери,— может, и в самом деле, чтобы уже, как говорят, вместе и того... чтобы и паслись на одной траве! Что? по рукам? А ну-ка, новобранный зять, давай магарычу!

И все трое очутились в известной ярмарочной ресторации — под яткою у жидовки, усеянную многочисленной флотилией сулей, бутылей, фляжек всех родов и возрастов.

— Эх, хват! за это люблю!— говорил Черевик, немного подгулявши и видя, как нареченный зять его налил кружку величиною с полкварти и, нимало не поморщившись, выпил до дна, хватив потом ее вдребезги.— Что скажешь, Параска? Какого я жениха тебе достал? Смотри, смотри, как он молодецки тянет пенную!..

И, посмеиваясь и покачиваясь, побрел он с нею к своему возу, а наш парубок отправился по рядам с красными товарами, в которых находились купцы даже из Гадяча и Миргорода — двух знаменитых городов Полтавской губернии,—выглядывать получшую деревянную люльку в медной щегольской оправе, цветистый по красному полю платок и шапку для свадебных подарков тестю и всем, кому следует.

Хоть чоловікам не оное,  
Та коли жінці, бачиш, тее,  
Так треба угодити...

Котляревский.

— Ну, жинка! а я нашел жениха дочке!

— Вот как раз до того теперь, чтобы женихов отыскивать! Дурень, дурень! тебе, верно, и на роду написано остаться таким! Где ж таки ты видел, где ж таки ты слышал, чтобы добрый человек бегал теперь за женихами? Ты подумал бы лучше, как пшеницу с рук сбыть; хорош должен быть и жених там! Думаю, оборваннейший из всех голодрабцев.

— Э, как бы не так! Посмотрела бы ты, что там за парубок! Одна свитка больше стоит, чем твоя зеленая кофта и красные сапоги. А как сивуху *важно* дует!.. Черт меня возьми вместе с тобою, если я видел на веку своем, чтобы парубок духом вытянул полкварты не поморщившись.

— Ну, так: ему если пьяница до бродяга, так и его масти. Бьюсь об заклад, если это не тот самый сорванец, который увязался за нами на мосту. Жаль, что до сих пор он не попадется мне: я бы дала ему знать.

— Что ж, Хивря, хоть бы и тот самый; чем же он сорванец?

— Э! чем же он сорванец! Ах ты, безмозглая башка! слышишь! чем же он сорванец! Куда же ты запрятал дурацкие глаза свои, когда проезжали мы мельницы; ему хоть бы тут же, перед его запачканным в табачище носом, нанесли жинке его бесчестье, ему бы и нуждочки не было.

— Все, однако же, я не вижу в нем ничего худого; парень хоть куда! Только разве что заклеил на миг образину твою навозом.

— Эге! да ты, как я вижу, слова не дашь мне говорить! А что это значит? Когда это бывало с тобою? Верно, успел уже хлебнуть, не продавши ничего...

Тут Черевик наш заметил и сам, что разговорился чересчур, и закрыл в одно мгновение голову свою руками, предполагая, без сомнения, что разгневанная сожительница не замедлит вцепиться в его волосы своими супружескими когтями.

«Туда к черту! Вот тебе и свадьба! — думал он про себя, уклоняясь от сильно наступавшей супруги. — Придется отказать доброму человеку ни за что ни про что. Господи боже мой, за что такая напасть на нас грешных! И так много всякой дряни на свете, а ты еще и жинок наплодил!»

## V

Не хилися явороньку,  
Ще ти зелененький;  
Не журися козаченьку,  
Ще ти молоденький!

*Малоросс. песня.*

Рассеяннo глядел парубок в белой свитке, сидя у своего воза, на глухо шумевший вокруг него народ. Усталое солнце уходило от мира, спокойно пропылав свой полдень и утро; и угасающий день пленительно и ярко румянился. Ослепительно блистали верхи белых шатров и яток, осененные каким-то едва приметным огненно-розовым светом. Стекла наваленных кучами оконниц горели; зеленые фляжки и чарки на столах у шинкарок превратились в огненные; горы дынь, арбузов и тыкв казались вылитыми из золота и темной меди. Говор приметно становился реже и глуше, и усталые языки перекупок, мужиков и цыган ленивее и медленнее поворачивались. Где-где начинал сверкать огонек, и благовонный пар от варившихся галушек разносился по утихавшим улицам.

— О чем загорюнился, Грицько? — вскричал высокий загоревший цыган, ударив по плечу нашего парубка. — Что ж, отдавай волы за двадцать!

— Тебе бы всё волы да волы. Вашему племени все бы корысть только. Поддеть да обмануть доброго человека.

— Тыфу, дьявол! да тебя не на шутку забрало. Уж не с досады ли, что сам навязал себе невесту?

— Нет, это не по-моему: я держу свое слово; что раз сделал, тому и навеки быть. А вот у хрыча Черевика нет совести, видно, и на полшеляга: сказал, да и назад... Ну, его и винить нечего, он пень, да и полно. Все это штуки старой ведьмы, которую мы сегодня с хлопцами на мосту ругнули на все бока! Эх, если бы я был царем или паном великим, я бы первый перевешал всех тех дурней, которые позволяют себя седлать бабам...

— А спустишь волов за двадцать, если мы заставим Черевика отдать нам Параску?

В недоумении посмотрел на него Грицько. В смуглых чертах цыгана было что-то злобное, язвительное, низкое и вместе высокомерное: человек, взглянувший на него, уже готов был сознаться, что в этой чудной душе кипят достоинства великие, но которым одна только награда есть на земле — виселица. Совершенно провалившийся между носом и острым подбородком рот, вечно осененный язвительною улыбкой, небольшие, но живые, как огонь, глаза и беспрестанно меняющиеся на лице молнии предприятий и умыслов — все это как будто требовало особенного, такого же странного для себя костюма, какой именно был тогда на нем. Этот темно-коричневый кафтан, прикосновение к которому, казалось, превратило бы его в пыль; длинные, валившиеся по плечам охлопьями черные волосы, башмаки, надетые на босые загорелые ноги, — все это, казалось, приросло к нему и составляло его природу.

— Не за двадцать, а за пятнадцать отдам, если не солжешь только! — отвечал парубок, не сводя с него испытующих очей.

— За пятнадцать? ладно! Смотри же, не забывай: за пятнадцать! Вот тебе и синица в задаток!

— Ну, а если солжешь?

— Солгу — задаток твой!

— Ладно! Ну, давай же по рукам!

— Давай!

От біда, Роман іде, от  
тепер як раз насадить мені  
бебехів, та й вам, пане Хомо,  
не без лиха буде.

*Из малоросс. комедии.*

— Сюда, Афанасий Иванович! Вот тут плетень пониже, поднимайте ногу, да не бойтесь: дурень мой отправился на всю ночь с кумом под возы, чтоб москали на случай не подцепили чего.

Так грозная сожительница Черевика ласково ободряла трусливо лепившегося около забора попovichа, который поднялся скоро на плетень и долго стоял в недоумении на нем, будто длинное страшное привидение, измеривая оком, куда бы лучше спрыгнуть, и, наконец, с шумом обрушился в бурьян.

— Вот беда! Не ушиблись ли вы, не сломили ли еще, боже оборони, шеи? — лепетала заботливая Хивря.

— Тс! ничего, ничего, любезнейшая Хавронья Никифоровна! — болезненно и шепотно произнес попovich, подымаясь на ноги, — выключая только уязвления со стороны крапивы, сего змиеподобного злака, по выражению покойного отца протопопа.

— Пойдемте же теперь в хату; там никого нет. А я думала было уже, Афанасий Иванович, что к вам *болячка* или *соняшница* пристала: нет, да и нет. Каково же вы поживаете? Я слышала, что пан-отцу перепало теперь немало всякой всячины!

— Сушая безделица, Хавронья Никифоровна; батюшка всего получил за весь пост мешков пятнадцать ярового, проса мешка четыре, книшей с сотню, а кур, если сосчитать, то не будет и пятидесяти штук, яйца же большею частию протухлые. Но воистину сладостные приношения, сказать примерно, единственно от вас предстоит получить, Хавронья Никифоровна! — продолжал попovich, умильно поглядывая на нее и подсовываясь поближе.

— Вот вам и приношения, Афанасий Иванович! — проговорила она, ставя на стол миски и жеманно застегивая свою будто ненарочно расстегнувшуюся коф-

ту,— варенички, галушечки пшеничные, пампушечки, товченички!

— Бьюсь об заклад, если это сделано не хитрейшими руками из всего Евина рода!— сказал попович, принимаясь за товченички и подвигая другою рукою варенички.— Однако ж, Хавронья Никифоровна, сердце мое жаждет от вас кушанья послаще всех пампушечек и галушечек.

— Вот я уже и не знаю, какого вам еще кушанья хочется, Афанасий Иванович!— отвечала дородная красавица, притворяясь непонимающею.

— Разумеется, любви вашей, несравненная Хавронья Никифоровна!— шепотом произнес попович, держа в одной руке вареник, а другою обнимая широкий стан ее.

— Бог знает что вы выдумываете, Афанасий Иванович!— сказала Хивря, стыдливо потупив глаза свои.— Чего доброго! вы, пожалуй, затеете еще целоваться!

— Насчет этого я вам скажу хоть бы и про себя,— продолжал попович,— в бытность мою, примерно сказать, еще в бурсе, вот как теперь помню...

Тут послышался на дворе лай и стук в ворота. Хивря поспешно выбежала и возвратилась вся побледневшая.

— Ну, Афанасий Иванович! мы попались с вами; народу стучится куча, и мне почудился кумов голос...

Вареник остановился в горле поповича... Глаза его выпялились, как будто какой-нибудь выходец с того света только что сделал ему перед сим визит свой.

— Полежайте сюда!— кричала испуганная Хивря, указывая на положенные под самым потолком на двух перекладинах доски, на которых была навалена разная домашняя рухлядь.

Опасность придала духу нашему герою. Опамятовавшись немного, вскочил он на лежанку и полез оттуда осторожно на доски; а Хивря побежала без памяти к воротам, потому что стук повторялся в них с большею силою и нетерпением.

Та тут чудасія, мосьпане!

*Из малоросс. комедии.*

На ярмарке случилось странное происшествие: все наполнилось слухом, что где-то между товаром показалась *красная свитка*. Старухе, продававшей бублики, почудился сатана в образине свиньи, который беспрестанно наклонялся над возами, как будто искал чего. Это быстро разнеслось по всем углам уже утихнувшего табора; и все считали преступлением не верить, несмотря на то что продавица бубликов, которой подвижная лавка была рядом с яткою шинкарки, раскланивалась весь день без надобности и писала ногами совершенное подобие своего лакомого товара. К этому присоединились еще увеличенные вести о чуде, виденном волостным писарем в развалившемся сарае, так что к ночи все теснее жались друг к другу; спокойствие разрушилось, и страх мешал всякому сомкнуть глаза свои; а те, которые были не совсем храброго десятка и запаслись ночлегами в избах, убрались домой. К числу последних принадлежал и Черевик с кумом и дочкою, которые вместе с напросившимися к ним в хату гостями произвели сильный стук, так перепугавший нашу Хиврю. Кума уже немного поразобрало. Это можно было видеть из того, что он два раза проехал с своим возом по двору, покамест нашел хату. Гости тоже были в веселом расположении духа и без церемонии вошли прежде самого хозяина. Супруга нашего Черевика сидела как на иголках, когда принялись они шарить по всем углам хаты.

— Что, кума, — вскричал вошедший кум, — тебя все еще трясет лихорадка?

— Да, нездоровится, — отвечала Хивря, беспокойно поглядывая на наложенные под потолком доски.

— А ну, жена, достань-ка там в возу баклажку! — говорил кум приехавшей с ним жене, — мы черпнем ее с добрыми людьми; проклятые бабы понапугали нас так, что и сказать стыдно. Ведь мы, ей-богу, братцы, по пустякам приехали сюда! — продолжал он, прихле-



бывая из глиняной кружки. — Я тут же ставлю новую шапку, если бабам не вздумалось посмеяться над нами. Да хоть бы и в самом деле сатана: что сатана? Плюйте ему на голову! Хоть бы сию же минуту вздумалось ему стать вот здесь, например, передо мною: будь я собачий сын, если не поднес бы ему дулю под самый нос!

— Отчего же ты вдруг побледнел весь? — закричал один из гостей, превышавший всех головою и старавшийся всегда выказывать себя храбрецом.

— Я?.. Господь с вами! приснилось?

Гости усмехнулись. Довольная улыбка показалась на лице речистого храбреца.

— Куда теперь ему бледнеть! — подхватил другой, — щеки у него расцвели, как мак; теперь он не Цыбуля, а буряк — или, лучше, сама *красная свитка*, которая так напугала людей.

Баклажка прокатилась по столу и сделала гостей еще веселее прежнего. Тут Черевик наш, которого давно мучила *красная свитка* и не давала ни на минуту покою любопытному его духу, приступил к куму:

— Скажи, будь ласков, кум! вот прошусь, да и не допрошусь истории про эту проклятую *свитку*.

— Э, кум! оно бы не годилось рассказывать на ночь; да разве уже для того, чтобы угодить тебе и добрым людям (при сем обратился он к гостям), которым, я примечаю, столько же, как и тебе, хочется узнать про эту диковину. Ну, быть так. Слушайте ж!

Тут он почесал плеча, утерся полою, положил обе руки на стол и начал:

— Раз, за какую вину, ей-богу, уже и не знаю, только выгнали одного черта из пекла.

— Как же, кум? — прервал Черевик, — как же могло это стать, чтобы черта выгнали из пекла?

— Что ж делать, кум? выгнали, да и выгнали, как собаку мужик выгоняет из хаты. Может быть, на него нашла блажь сделать какое-нибудь доброе дело, ну и указали двери. Вот черту бедному так стало скучно, так скучно по пекле, что хоть до петли. Что делать? Давай с горя пьянствовать. Угнездили в том самом сарае, который, ты видел, развалился под горою и мимо которого ни один добрый человек не пройдет

теперь, не оградив наперед себя крестом святым, и стал черт такой гуляка, какого не сыщешь между парубками. С утра до вечера то и дело, что сидит в шинке!..

Тут опять строгий Черевик прервал нашего рассказчика:

— Бог знает что говоришь ты, кум! Как можно, чтобы черта впустил кто-нибудь в шинок? Ведь у него же есть, слава богу, и когти на лапах, и рожки на голове.

— Вот то-то и штука, что на нем была шапка и рукавицы. Кто его распознает? Гулял, гулял — наконец пришлось до того, что пропил все, что имел с собою. Шинкарь долго верил, потом и перестал. Пришлось черту заложить красную свитку свою, чуть ли не в треть цены, жиду, шинковавшему тогда на Сорочинской ярмарке; заложил и говорит ему: «Смотри, жид, я приду к тебе за свиткой ровно через год: береги ее!» — и пропал, как будто в воду. Жид рассмотрел хорошенько свитку: сукно такое, что и в Миргороде не достанешь! а красный цвет горит, как огонь, так что не нагладелся бы! Вот жиду показалось скучно дожидаться срока. Почесал себе пейсики, да и содрал с какого-то приезжего пана мало не пять червонцев. О сроке жид и позабыл было совсем. Как вот раз, под вечерок, приходит какой-то человек: «Ну, жид, отдавай свитку мою!» Жид сначала было и не познал, а после, как разглядел, так и прикинулся, будто в глаза не видал. «Какую свитку? у меня нет никакой свитки! я знать не знаю твоей свитки!» Тот, глядь, и ушел; только к вечеру, когда жид, заперши свою конуру и пересчитавши по сундукам деньги, накинул на себя простыню и начал по-жидовски молиться богу, — слышит шорох... глядь — во всех окнах повывставлялись свиные рыла...

Тут в самом деле послышался какой-то неясный звук, весьма похожий на хрюканье свиньи; все побледнели... Пот выступил на лице рассказчика.

— Что? — произнес в испуге Черевик.

— Ничего!.. — отвечал кум, трясаясь всем телом.

— Ась! — отозвался один из гостей.

— Ты сказал?..

— Нет!

— Кто ж это хрюкнул?

— Бог знает, чего мы переполошились! Никого нет!

Все боязливо стали осматриваться вокруг и начали шарить по углам. Хивря была ни жива ни мертва.

— Эх вы, бабы! бабы! — произнесла она громко. — Вам ли козаковать и быть мужьями! Вам бы веретено в руки, да и посадить за гребень! Один кто-нибудь, может, прости господи... Под кем-нибудь скамейка заскрипела, а все и метнулись как полоумные!

Это привело в стыд наших храбрецов и заставило их ободриться; кум хлебнул из кружки и начал рассказывать далее:

— Жид обмер; однако ж свиньи, на ногах, длинных, как ходули, повлезали в окна и мигом оживили жиды плетеными тройчатками, заставя его плясать повыше вот этого сволока. Жид — в ноги, признался во всем... Только свитки нельзя уже было воротить скоро. Пана обокрал на дороге какой-то цыган и продал свитку перекупке; та привезла ее снова на Сорочинскую ярмарку, но с тех пор уже никто ничего не стал покупать у ней. Перекупка дивилась, дивилась и, наконец, смекнула: верно, виною всему красная свитка. Недаром, надевая ее, чувствовала, что ее все давит что-то. Не думая, не гадая долго, бросила в огонь — не горит бесовская одежда! «Э, да это чертов подарок!» Перекупка умудрилась и подсунула в воз одному мужику, вывезшему продавать масло. Дурень и обрадовался; только масла никто и спрашивать не хочет. «Эх, недобрые руки подкинули свитку!» Схватил топор и изрубил ее в куски; глядь — и лезет один кусок к другому, и опять целая свитка. Перекрестившись, хватил топором в другой раз, куски разбросал по всему месту и уехал. Только с тех пор каждый год, и как раз во время ярмарки, черт с свиною личиною ходит по всей площади, хрюкает и подбирает куски своей свитки. Теперь, говорят, одного только левого рукава недостает ему. Люди с тех пор открещиваются от того места, и вот уже будет лет с десятков, как не было на нем ярмарки. Да нелегкая дернула теперь заседателя от...

Другая половина слова замерла на устах рассказчика...

Окно брякнуло с шумом; стекла, звеня, вылетели вон, и страшная свиная рожа выставилась, поводя очами, как будто спрашивая: «А что вы тут делаете, добрые люди?»

### VIII

...Піджав хвіст, мов собака,  
Мов Каїн, затрусивсь увесь;  
Із носа потекла табана.

*Котляревский, «Энеида».*

Ужас оковал всех находившихся в хате. Кум с разинутым ртом превратился в камень. Глаза его выпучились, как будто хотели выстрелить; разверстые пальцы остались неподвижными на воздухе. Высокий храбрец в непобедимом страхе подскочил под потолок и ударился головою об перекладину; доски посунулись, и попович с громом и треском полетел на землю. «Ай! ай! ай!»— отчаянно закричал один, повалившись на лавку в ужасе и болтая на ней руками и ногами. «Спасайте!»— горланил другой, закрывшись тулупом. Кум, выведенный из своего окаменения вторичным испугом, пополз в судорогах под подол своей супруги. Высокий храбрец полез в печь, несмотря на узкое отверстие, и сам задвинул себя заслонкою. А Черевик, как будто облитый горячим кипятком, схвативши на голову горшок вместо шапки, бросился к дверям и как полоумный бежал по улицам, не видя земли под собою; одна усталость только заставила его уменьшить немного скорость бега. Сердце его колотилось, как мельничная ступа, пот лил градом. В изнеможении готов уже был он упасть на землю, как вдруг послышалось ему, что сзади кто-то гонится за ним... Дух у него занялся... «Черт! черт!»— кричал он без памяти, утворя силы, и чрез минуту без чувств повалился на землю. «Черт! черт!»— кричало вслед за ним, и он слышал только, как что-то с шумом ринулось на него. Тут память от него улетела, и он, как страшный жилец тесного гроба, остался нем и недвижим посреди дороги.



Сорочинская ярмарка  
Рисунок Р. Маковского. 1875



Ще спереду і так, і так;  
А ззаду, ей же ей, на черта!

*Из простонародной сказки.*

— Слышишь, Влас,— говорил, приподнявшись ночью, один из толпы, спавшего на улице народа,— возле нас кто-то помянул черта!

— Мне какое дело?— проворчал, потягиваясь, лежавший возле него цыган,— хоть бы и всех своих родичей помянул.

— Но ведь так закричал, как будто давят его!

— Мало ли чего человек не соврет спросонья!

— Воля твоя, хоть посмотреть нужно; а выруби-ка огня!

Другой цыган, ворча про себя, поднялся на ноги, два раза осветил себя искрами, будто молниями, раздул губами трут и, с каганцом в руках, обыкновенною малороссийскою свечильнею, состоящею из разбитого черепка, налитого бараньим жиром, отправился, освещая дорогу.

— Стой! здесь лежит что-то; свети сюда!

Тут пристало к ним еще несколько человек.

— Что лежит, Влас?

— Так, как будто бы два человека: один наверху, другой нанизу; который из них черт, уже и не распознаю!

— А кто наверху?

— Баба!

— Ну вот, это ж то и есть черт!

Всеобщий хохот разбудил почти всю улицу.

— Баба взлезла на человека; ну, верно, баба эта знает, как ездить!— говорил один из окружавшей толпы.

— Смотрите, братцы!— говорил другой, поднимая черепок из горшка, которого одна только уцелевшая половина держалась на голове Черевика,— какую шапку надел на себя этот добрый молодец!

Увеличившийся шум и хохот заставили очнуться наших мертвецов, Солопия и его супругу, которые, полные прошедшего испуга, долго глядели в ужасе

неподвижными глазами на смуглые лица цыган: озярясь светом, неверно и трепетно горевшим, они казались диким сонмищем гномов, окруженных тяжелым подземным паром, в мраке непробудной ночи.

## Х

Цур тобі, пек тобі, сатанинське навождіні!

*Из малоросс. комедии.*

Свежесть утра веяла над пробудившимися Сорочинцами. Клубы дыму со всех труб понеслись навстречу показавшемуся солнцу. Ярмарка зашумела. Овцы заблеяли, лошади заржали; крик гусей и торговок понесся снова по всему табору — и страшные толки про *красную свитку*, наведшие такую робость на народ в таинственные часы сумерек, исчезли с появлением утра.

Зевая и потягиваясь, дремал Черевик у кума, под крытым соломою сараем, между волов, мешков муки и пшеницы, и, кажется, вовсе не имел желания расстаться с своими грезами, как вдруг услышал голос, так же знакомый, как убежище лени — благословенная печь его хаты или шинок дальней родственницы, находившийся не далее десяти шагов от его порога.

— Вставай, вставай! — дребезжала на ухо нежная супруга, дергая его изо всей силы за руку.

Черевик вместо ответа надул щеки и начал болтать руками, подражая барабанному бою.

— Сумасшедший! — закричала она, уклоняясь от взмаха руки его, которою он чуть было не задел ее по лицу.

Черевик поднялся, протер немного глаза и посмотрел вокруг.

— Враг меня возьми, если мне, голубко, не представилась твоя рожа барабаном, на котором меня заставили выбивать зорю, словно москаля, те самые свиные рожи, от которых, как говорит кум...

— Полно, полно тебе чепуху молоть! Ступай ве-ди скорей кобылу на продажу. Смех, право, людям:



приехали на ярмарку и хоть бы горсть пеньки продали...

— Как же, жинка, — подхватил Солопий, — с нас ведь теперь смеяться будут.

— Ступай! ступай! с тебя и без того смеются!

— Ты видишь, что я еще не умывался, — продолжал Черевик, зевая и почесывая спину и стараясь, между прочим, выиграть время для своей лени.

— Вот некстати пришла блажь быть чистоплотным! Когда это за тобою водилось? Вот рушник, оботри свою маску...

Тут схватила она что-то свернутое в комок — и с ужасом отбросила от себя: это был *красный обшлаг свитки!*

— Ступай делай свое дело, — повторила она, собравшись с духом, своему супругу, видя, что у него страх отнял ноги и зубы колотились один об другой.

— Будет продажа теперь! — ворчал он сам себе, отвязывая кобылу и ведя ее на площадь. — Недаром, когда я сбирался на эту проклятую ярмарку, на душе было так тяжело, как будто кто взвалил на тебя дохлую корову; и волы два раза сами поворачивали домой. Да чуть ли еще, как вспомнил я теперь, не в понедельник мы выехали. Ну, вот и зло все!.. Неугомонен и черт проклятый: носил бы уже свитку без одного рукава; так нет, нужно же добрым людям не давать покою. Будь, примерно, я черт, — чего оборони боже, — стал ли бы я таскаться ночью за проклятыми лоскутьями?

Тут философствование нашего Черевика прервано было толстым и резким голосом. Пред ним стоял высокий цыган.

— Что продаешь, добрый человек?

Продавец помолчал, посмотрел на него с ног до головы и сказал с спокойным видом, не останавливаясь и не выпуская из рук узды:

— Сам видишь, что продаю!

— Ремешки? — спросил цыган, поглядывая на находившуюся в руках его узду.

— Да, ремешки, если только кобыла похожа на ремешки.

— Однако ж, черт возьми, земляк, ты, видно, ее соломою кормил!

— Соломою?

Тут Черевик хотел было потянуть узду, чтобы провести свою кобылу и обличить во лжи бесстыдного поносителя, но рука его с необыкновенною легкостью ударилась в подбородок. Глянул — в ней перерезанная узда и к узде привязанный — о ужас! волосы его поднялись горою! — *кусок красного рукава свитки!..* Плюнув, крестясь и болтая руками, побежал он от неожиданного подарка и, быстрее молодого парубка, пропал в толпе,

## ХІ

За мое ж жито та мене й побито.

*Пословица.*

— Лови! лови его! — кричало несколько хлопцев в тесном конце улицы, и Черевик почувствовал, что схвачен вдруг дюжими руками.

— Вязать его! это тот самый, который украл у доброго человека кобылу!

— Господь с вами! за что вы меня вяжете?

— Он же и спрашивает! А за что ты украл кобылу у приезжего мужика, Черевика?

— С ума спятили вы, хлопцы! Где видано, чтобы человек сам у себя крал что-нибудь?

— Старые штуки! старые штуки! Зачем бежал ты во весь дух, как будто бы сам сатана за тобою по пятам гнался?

— Поневоле побежишь, когда сатанинская одежда...

— Э, голубчик! обманывай других этим; будет еще тебе от заседателя за то, чтобы не пугал чертовщиною людей.

— Лови! лови его! — слышался крик на другом конце улицы. — Вот он, вот беглец!

И глазам нашего Черевика представился кум, в самом жалком положении, с заложенными назад руками, ведомый несколькими хлопцами,

— Чудеса завелись! — говорил один из них. — Послушали бы вы, что рассказывает этот мошенник, которому стоит только заглянуть в лицо, чтобы увидеть вора; когда стали спрашивать, отчего бежал он как полоумный, — полез, говорит, в карман понюхать табак и вместо тавлинки вытащил кусок чертовой свитки, от которой вспыхнул красный огонь, а он давай бог ноги!

— Эге-ге-ге! да это из одного гнезда обе птицы! Вязать их обоих вместе!

## ХП

«Чим, люди добрі, так оце я провипився?  
За що глузуете? — сказав наш неборак. —  
За що знущаетесь ви надо мною так?  
За що, за що?» — сказав, та й попустив патьоки,  
Патьоки гірких сліз, увявшиися за боки.

Артемовский-Гулак, «Пан та ссбака».

— Может, и в самом деле, кум, ты подделал что-нибудь? — спросил Черевик, лежа связанный, вместе с кумом, под соломенную яткой.

— И ты туда же, кум! Чтобы мне отсохнули руки и ноги, если что-нибудь когда-либо крал, выключая разве вареники с сметаной у матери, да и то еще когда мне было лет десять от роду.

— За что же это, кум, на нас напасть такая? Тебе еще ничего; тебя винят по крайней мере за то, что у другого украл; но за что мне, несчастливцу, недобрый поклеп такой: будто у самого себя стянул кобылу? Видно, нам, кум, на роду уже написано не иметь счастья!

— Горе нам, сиротам бедным!

Тут оба кума принялись всхлипывать навзрыд.

— Что с тобою, Солопий? — сказал вошедший в это время Грицько. — Кто это связал тебя?

— А! Голопупенко, Голопупенко! — закричал, обрадовавшись, Солопий. — Вот, кум, это тот самый, о котором я говорил тебе. Эх, хват! вот бог убей меня на этом месте, если не высуслил при мне кухоль мало не с твою голову, и хоть бы раз поморщился,

— Что ж ты, кум, так не уважил такого славного парубка?

— Вот, как видишь,— продолжал Черевик, оборотясь к Грицьку,— наказал бог, видно, за то, что провинился перед тобою. Прости, добрый человек! Ей-богу, рад бы был сделать все для тебя... Но что прикажешь? В старухе дьявол сидит!

— Я не злопамятен, Солопий. Если хочешь, я освобожу тебя!— Тут он мигнул хлопцам, и те же самые, которые сторожили его, кинулись развязывать.— За то и ты делай, как нужно: свадьбу!— да и попируем так, чтобы целый год болели ноги от гопака.

— *Добре! от добре!*— сказал Солопий, хлопнув руками.— Да мне так теперь сделалось весело, как будто мою старуху москали увезли. Да что думать: годится или не годится так — сегодня свадьбу, да и концы в воду!

— Смотри ж, Солопий, через час я буду к тебе; а теперь ступай домой: там ожидают тебя покупщики твоей кобылы и пшеницы!

— Как! разве кобыла нашлась?

— Нашлась!

Черевик от радости стал неподвижен, глядя вслед уходившему Грицьку.

— Что, Грицько, худо мы сделали свое дело?— сказал высокий цыган спешившему парубку.— Волы ведь мои теперь?

— Твои! твои!

### ХІІІ

Не бійся, матінко, не бійся,  
В червоні чобітки обуйся.  
Топчи вороги  
Під ноги;  
Щоб твої підківки  
Бряжчали!  
Щоб твої вороги  
Мовчали!

*Свадебная песня.*

Подперши локтем хорошенький подбородок свой, задумалась Параска, одна, сидя в хате. Много грез обвивалось около русой головы, Иногда вдруг легкая

усмешка трогала ее алые губки и какое-то радостное чувство подымало темные ее брови, а иногда снова облако задумчивости опускало их на карие светлые очи. «Ну что, если не сбудется то, что говорил он? — шептала она с каким-то выражением сомнения. — Ну что, если меня не выдадут? если... Нет, нет; этого не будет! Мачеха делает все, что ей ни вздумается; разве и я не могу делать того, что мне вздумается? Упрямства-то и у меня достанет. Какой же он хороший! как чудно горят его черные очи! как любо говорит он: *Парасю, голубко!* как пристала к нему белая свитка! еще бы пояс поярче!.. пускай уже, правда, я ему вытку, как перейдем жить в новую хату. Не подумаю без радости, — продолжала она, вынимая из пазухи маленькое зеркало, обклеенное красною бумагою, купленное ею на ярмарке, и глядясь в него с тайным удовольствием, — как я встречусь тогда где-нибудь с нею, — я ей ни за что не поклонюсь, хоть она себе тресни. Нет, мачеха, полно колотить тебе свою падчерицу! Скорее песок взойдет на камне и дуб погнется в воду, как верба, нежели я нагнусь перед тобою! Да я и позабыла... дай примерить очипок, хоть мачехин, как-то он мне придется!» Тут встала она, держа в руках зеркальце, и, наклонясь к нему головою, трепетно шла по хате, как будто бы опасаясь упасть, видя под собою вместо полу потолок с наложенными под ним досками, с которых низринулся недавно попович, и полки, уставленные горшками. «Что я, в самом деле, будто дитя, — вскричала она смеясь, — боюсь ступить ногою». И начала притопывать ногами, все чем далее, смелее; наконец левая рука ее опустилась и уперлась в бок, и она пошла танцевать, побрякивая подковами, держа перед собою зеркало и напевая любимую свою песню:

Зелененький барвіночку,  
Стелися низенько!  
А ти, милий, чорнобривий,  
Присунься близенько!

Зелененький барвіночку,  
Стелися ще нижче!  
А ти, милий, чорнобривий,  
Присунься ще ближче!

Черевик заглянул в это время в дверь и, увидя дочь свою танцующую перед зеркалом, остановился. Долго глядел он, смеясь невиданному капризу девушки, которая, задумавшись, не примечала, казалось, ничего; но когда же услышал знакомые звуки песни — жилки в нем зашевелились; гордо подбоченившись, выступил он вперед и пустился вприсядку, позабыв про все дела свои. Громкий хохот кума заставил обоих вздрогнуть.

— Вот хорошо, батька с дочкой затеяли здесь сами свадьбу! Ступайте же скорее: жених пришел!

При последнем слове Параска вспыхнула ярче алой ленты, повязывавшей ее голову, а беспечный отец ее вспомнил, зачем пришел он.

— Ну, дочка! пойдем скорее! Хивря с радости, что я продал кобылу, побежала, — говорил он, боязливо оглядываясь по сторонам, — побежала закупать себе плахт и дерюг всяких, так нужно до приходу ее все кончить!

Не успела Параска переступить за порог хаты, как почувствовала себя на руках парубка в белой свитке, который с кучею народа выжидал ее на улице.

— Боже, благослови! — сказал Черевик, складывая им руки. — Пусть их живут, как венки вяют!

Тут послышался шум в народе:

— Я скорее тресну, чем допущу до этого! — кричала сожительница Солопия, которую, однако ж, с хохотом отталкивала толпа народа.

— Не бесись, не бесись, жинка! — говорил хладнокровно Черевик, видя, что пара дюжих цыган овладела ее руками, — что сделано, то сделано; я перемывать не люблю!

— Нет! нет! этого-то не будет! — кричала Хивря, но никто не слушал ее; несколько пар обступило новую пару и составили около нее непроницаемую танцующую стену.

Странное, неизъяснимое чувство овладело бы зрителем при виде, как от одного удара смычком музыканта, в сермяжной свитке, с длинными закрученными усами, все обратилось, волею и неволею, к единству и перешло в согласие. Люди, на угрюмых лицах кото-



Сорочинская ярмарка  
*Рисунок В. Маковского. 1875*





рых, кажется, век не проскальзывала улыбка, притопывали ногами и вздрагивали плечами. Все несло. Все танцевало. Но еще страннее, еще неразгаданнее чувство пробудилось бы в глубине души при взгляде на старушек, на ветхих лицах которых веяло равнодушием могилы, толкавшихся между новым, смеющимся, живым человеком. Беспечные! даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только, как механик своего безжизненного автомата, заставляет делать что-то подобное человеческому, они тихо покачивали охмелевшими головами, подплясывая за веселящимся народом, не обращая даже глаз на молодую чету.

Гром, хохот, песни слышались тише и тише. Смычок умирал, слабея и теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря, и скоро все стало пусто и глухо.

Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье? В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню и дико внемлет ему. Не так ли резвые друзья бурной и вольной юности, поодиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их? Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему.

## ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВАНА КУПАЛА

*Быль, рассказанная дьячком \*\*\*ской церкви*

За Фомою Григорьевичем водилась особенного рода странность: он до смерти не любил пересказывать одно и то же. Бывало, иногда если упросишь его рассказать что сызнава, то, смотри, что-нибудь да вкинет новое или переиначит так, что узнать нельзя. Раз один из тех господ — нам, простым людям, мудрено и назвать их — писаки они не писаки, а вот то самое, что барышники на наших ярмарках. Нахватают, напросят, накрадут всякой всячины, да и выпускают книжечки не толще букваря каждый месяц или неделю, — один из этих господ и выманил у Фомы Григорьевича эту самую историю, а он вовсе и позабыл о ней. Только приезжает из Полтавы тот самый панич в гороховом кафтане, про которого говорил я и которого одну повесть вы, думаю, уже прочли, — привозит с собою небольшую книжечку и, развернувши посередине, показывает нам. Фома Григорьевич готов уже был оседлать нос свой очками, но, вспомнив, что он забыл их подмотать нитками и облепить воском, передал мне. Я, так как грамоту кое-как разумею и не ношу очков, принялся читать. Не успел перевернуть двух страниц, как он вдруг остановил меня за руку.

— Пойдите! наперед скажите мне, что это вы читаете?

Признаюсь, я немного пришел в тупик от такого вопроса.

— Как что читаю, Фома Григорьевич? вашу быль, ваши собственные слова.

— Кто вам сказал, что это мои слова?

— Да чего лучше, тут и напечатано: *рассказанная таким-то дьячком*.

— Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал! *бреше, сучий москаль*. Так ли я говорил? *Що то вже, як у кого черт-ма клепки в голови!* Слушайте, я вам расскажу ее сейчас.

Мы придвинулись к столу, и он начал.

Дед мой (царство ему небесное! чтоб ему на том свете елись одни только буханцы пшеничные да маковники в меду!) умел чудно рассказывать. Бывало, поведет речь — целый день не подвинулся бы с места и все бы слушал. Уж не чета какому-нибудь нынешнему балагуру, который как начнет *москаля везть*<sup>1</sup>, да еще и языком таким, будто ему три дня есть не давали, то хоть берись за шапку да из хаты. Как теперь помню — покойная старуха, мать моя, была еще жива, — как в долгий зимний вечер, когда на дворе трещал мороз и замуровывал наглухо узенькое стекло нашей хаты, сидела она перед гребнем, выводя рукою длинную нитку, колыша ногою люльку и напевая песню, которая как будто теперь слышится мне. Каганец, дрожа и вспыхивая, как бы пугаясь чего, светил нам в хате. Веретено жужжало; а мы все, дети, собравшись в кучку, слушали деда, не слезавшего от старости более пяти лет с своей печки. Но ни дивные речи про давнюю старину, про наезды запорожцев, про ляхов, про молодецкие дела Подковы, Полтора Кожуха и Сагайдачного не занимали нас так, как рассказы про какое-нибудь старинное чудное дело, от которых всегда дрожь проходила по телу и волосы ерошились на голове. Иной раз страх, бывало, такой заберет от них, что все с вечера показывается бог знает каким чудищем. Случится, ночью выйдешь за чем-нибудь из хаты, вот так и думаешь, что на постеле твоей уклался спать выходец

---

<sup>1</sup> То есть лгать. (Прим. Н. В. Гоголя.)

с того света. И чтобы мне не довелось рассказывать этого в другой раз, если не принимал часто издали собственную положенную в головах свитку за свернувшегося дьявола. Но главное в рассказах деда было то, что в жизнь свою он никогда не лгал, и что, бывало, ни скажет, то именно так и было. Одну из его чудных историй перескажу теперь вам. Знаю, что много наберется таких умников, пописывающих по судам и читающих даже гражданскую грамоту, которые, если дать им в руки простой часослов, не разобрали бы ни аза в нем, а показывать на позор свои зубы — есть уменье. Им все, что ни расскажешь, в смех. Эдакое неверье разошлось по свету! Да чего, — вот не люби бог меня и пречистая дева! вы, может, даже не поверите: раз как-то заикнулся про ведьм — что ж? нашелся сорвиголова, ведьмам не верит! Да, слава богу, вот я сколько живу уже на свете, видел таких иноверцев, которым *провозить попа в решете*<sup>1</sup> было легче, нежели нашему брату понюхать табаку; а и те отрекивались от ведьм. Но приснись им... не хочется только выговорить, что такое, нечего и толковать об них.

Лет — куды! — более чем за сто, говорил покойник дед мой, нашего села и не узнал бы никто: хутор, самый бедный хутор! Избенок десять, не обмазанных, не укрытых, торчало то сям, то там, посередине поля. Ни плетня, ни сарая порядочного, где бы поставить скотину или воз. Это ж еще богачи так жили; а посмотрели бы на нашу братью, на голь: вырытая в земле яма — вот вам и хата! Только по дыму и можно было узнать, что живет там человек божий. Вы спросите, отчего они жили так? Бедность не бедность: потому что тогда козаковал почти всякий и набирал в чужих землях немало добра; а больше оттого, что незачем было заводиться порядочною хатою. Какого народу тогда не шаталось по всем местам: крымцы, ляхи, литвинство! Бывало то, что и свои наедут кучами и обдирают своих же. Всего бывало.

В этом-то хуторе показывался часто человек, или, лучше, дьявол в человеческом образе. Откуда он,

---

<sup>1</sup> То есть солгать на исповеди. (Прим. Н. В. Гоголя.)

зачем приходил, никто не знал. Гуляет, пьянствует и вдруг пропадет, как в воду, и слуху нет. Там, глядь — снова будто с неба упал, рыскает по улицам села, которого теперь и следу нет и которое было, может, не дальше ста шагов от Диканьки. Понаберет встречаемых козаков: хохот, песни, деньги сыплются, водка — как вода... Пристанет, бывало, к красным девушкам: надарит лент, серег, монист — девать некуда! Правда, что красные девушки немного призадумывались, принимая подарки: бог знает, может, в самом деле перешли они через нечистые руки. Родная тетка моего деда, содержавшая в то время шинок по нынешней Опошнянской дороге, в котором часто разгульничал Басаврюк, — так называли этого бесовского человека, — именно говорила, что ни за какие благополучия в свете не согласилась бы принять от него подарков. Опять, как же и не взять: всякого проберет страх, когда нахмурит он, бывало, свои щетинистые брови и пустит исподлобья такой взгляд, что, кажется, унес бы ноги бог знает куда; а возьмешь — так на другую же ночь и тащится в гости какой-нибудь приятель из болота, с рогами на голове, и давай душить за шею, когда на шее монисто, кусать за палец, когда на нем перстень, или тянуть за косу, когда вплетена в нее лента. Бог с ними тогда, с этими подарками! Но вот беда — и отвязаться нельзя: бросишь в воду — плывет чертовский перстень или монисто поверх воды, и к тебе же в руки.

В селе была церковь, чуть ли еще, как вспомню, не святого Пантелея. Жил тогда при ней иерей, блаженной памяти отец Афанасий. Заметив, что Басаврюк и на светлое воскресенье не бывал в церкви, задумал было пожурить его — наложить церковное покаяние. Куды! насилу ноги унес. «Слушай, *паночка!* — загремел он ему в ответ, — знай лучше свое дело, чем мешаться в чужие, если не хочешь, чтобы козлиное горло твое было залеплено горячею кутьею!» Что делать с окаян-ным? Отец Афанасий объявил только, что всякого, кто спознается с Басаврюком, станет считать за католика, врага Христовой церкви и всего человеческого рода.

В том селе был у одного козака, прозвищем Коржа, работник, которого люди звали Петром Безродным;

может, оттого, что никто не помнил ни отца его, ни матери. Староста церкви говорил, правда, что они на другой же год померли от чумы; но тетка моего деда знать этого не хотела и всеми силами старалась надеть его родней, хотя бедному Петру было в ней столько нужды, сколько нам в прошлогоднем снеге. Она говорила, что отец его и теперь на Запорожье, был в плену у турок, натерпелся мук бог знает каких и каким-то чудом, переодевшись евнухом, дал тягу. Чернобровым дивчатам и молодежи мало было нужды до родни его. Они говорили только, что если бы одеть его в новый жупан, затянуть красным поясом, надеть на голову шапку из черных смушек с щегольским синим верхом, привесить к боку турецкую саблю, дать в одну руку малахай, в другую люльку в красивой оправе, то заткнул бы он за пояс всех парубков тогдашних. Но то беда, что у бедного Петруся всего-навсего была одна серая свитка, в которой было больше дыр, чем у иного жида в кармане злотых. И это бы еще не большая беда, а вот беда: у старого Коржа была дочка-красавица, какую, я думаю, вряд ли доставалось вам видеть. Тетка покойного деда рассказывала, — а женщине, сами знаете, легче поцеловаться с чертом, не во гнев будь сказано, нежели назвать кого красавицею, — что полненькие щеки козачки были свежи и яркие, как мак самого тонкого розового цвета, когда, умывшись божьею росой, горит он, распрямляет листики и охорашивается перед только что поднявшимся солнышком; что брови словно черные шнурочки, какие покупают теперь для крестов и дукатов девушки наши у проходящих по селам с коробками москалей, ровно нагнувшись, как будто гляделись в ясные очи; что ротик, на который глядя облизывалась тогдашняя молодежь, кажись на то и создан был, чтобы выводить соловьиные песни; что волосы ее, черные, как крылья ворона, и мягкие, как молодой лен (тогда еще девушки наши не заплетали их в дрибушки, перевивая красивыми, ярких цветов синдячками), падали курчавыми кудрями нашитый золотом кунтуш. Эх, не доведи господь возглашать мне больше на крылосе аллилуйя, если бы, вот тут же, не расцеловал ее, несмотря на то что седь про-

бирается по всему старому лесу, покрывающему мою макушку, и под боком моя старуха, как бельмо в глазу. Ну, если где парубок и девка живут близко один от другого... сами знаете, что выходит. Бывало, ни свет ни заря, подковы красных сапогов и приметны на том месте, где раздобаривала Пидорка с своим Петрусем. Но все бы Коржу и в ум не пришло что-нибудь недоброе, да раз — ну, это уже и видно, что никто другой, как лукавый дернул, — вздумалось Петрусью, не обсмотревшись хорошенько в сених, влепить поцелуй, как говорят, от всей души, в розовые губки козачки, и тот же самый лукавый, — чтоб ему, собачьему сыну, приснился крест святой! — настроил сдуру старого хрена отворить дверь хаты. Одеревенел Корж, разинув рот и ухватясь рукою за двери. Проклятый поцелуй, казалось, оглушил его совершенно. Ему почудился он громче, чем удар макогона об стену, которым обыкновенно в наше время мужик прогоняет кутю, за неимением фузей и пороха.

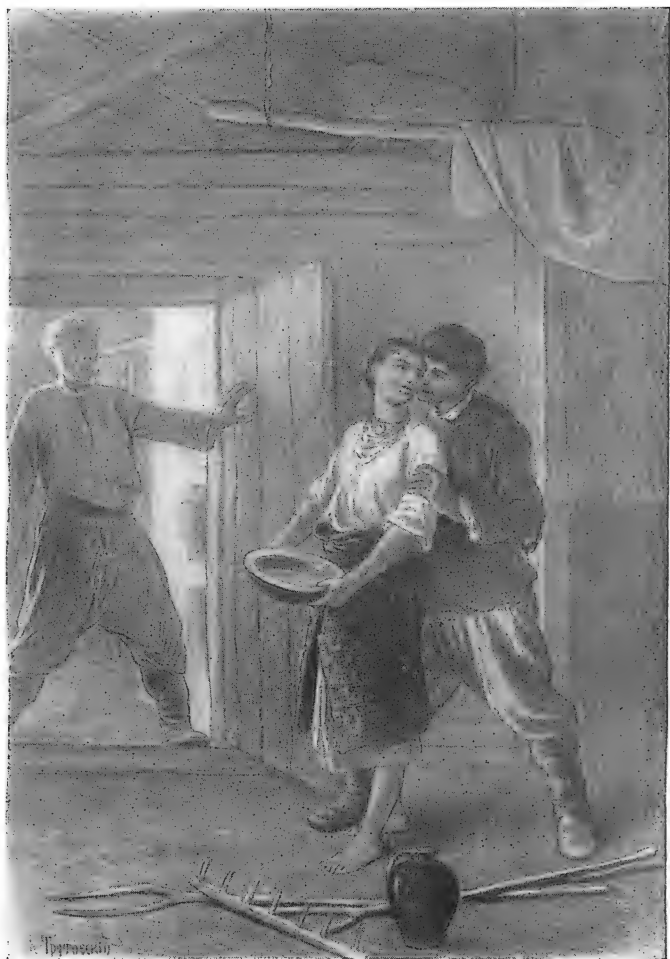
Очнувшись, снял он со стены дедовскую нагайку и уже хотел было покропить ею спину бедного Петра, как откуда ни возмись шестилетний брат Пидоркин, Ивась, прибежал и в испуге схватил ручонками его за ноги, закричав: «Тятя, тятя! не бей Петрусья!» Что прикажешь делать? у отца сердце не каменное: повесивши нагайку на стену, вывел он его потихоньку из хаты: «Если ты мне когда-нибудь покажешься в хате или хоть только под окнами, то слушай, Петро: ей-богу, пропадут черные усы, да и оселедец твой, вот уже он два раза обматывается около уха, не будь я Терентий Корж, если не распрощается с твоею макушкой!» Сказавши это, дал он ему легонькою рукою стусана в затылок, так что Петрусь, невзвидя земли, полетел стремглав. Вот тебе и доцеловались! Взяла кручина наших голубков; а тут и слух по селу, что к Коржу повадился ходить какой-то лях, обшитый золотом, с усами, с саблею, со шпорами, с карманами, бренчавшими как звонок от мешочка, с которым пономарь наш, Тарас, отправляется каждый день по церкви. Ну, известно, зачем ходят к отцу, когда у него водится чернобровая дочка. Вот один раз Пидорка схватила,

заливаясь слезами, на руки Ивася своего: «Ивасю мой милый, Ивасю мой любимый! беги к Петрусью, мое золотое дитя, как стрела из лука; Расскажи ему все: любила б его карие очи, целовала бы его белое личико, да не велит судьба моя. Не один рушник вымочила горячими слезами. Тошно мне. Тяжело на сердце. И родной отец — враг мне: неволит идти за нелюбого ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовят, только не будет музыки на нашей свадьбе: будут дьяки петь вместо кобз и сопилок. Не пойду я танцевать с женихом своим: понесут меня. Темная, темная моя будет хата: из кленового дерева, и вместо трубы крест будет стоять на крыше!»

Как будто окаменев, не сдвинувшись с места, слушал Петро, когда невинное дитя лепетало ему Пидоркины речи. «А я думал, несчастный, идти в Крым и Туречину, навоевать золота и с добром приехать к тебе, моя красавица. Да не быть тому. Недобрый глаз поглядел на нас. Будет же, моя дорогая рыбка, будет и у меня свадьба: только и дьяков не будет на той свадьбе; ворон черный прокрячет вместо попа надо мною; гладкое поле будет моя хата; сизая туча — моя крыша; орел выклюет мои карие очи; вымоют дожди козацкие косточки, и вихорь высушит их. Но что я? на кого? кому жаловаться? Так уже, видно, бог велел, — пропадать так пропадать!» Да прямехонько и побрел в шинок.

Тетка покойного деда немного изумилась, увидевши Петруся в шинке, да еще в такую пору, когда добрый человек идет к заутрене, и выпучила на него глаза, как будто спросонья, когда потребовал он кухоль сивухи мало не с полведра. Только напрасно думал бедняжка залить свое горе. Водка щипала его за язык, словно крапива, и казалась ему горше полыни. Кинул от себя кухоль на землю. «Полно горевать тебе, козак!» — загремело что-то басом над ним. Оглянулся: Басаврюк! у! какая образина! Волосы — щетина, очи — как у вола! «Знаю, чего недостает тебе: вот чего!» Тут брякнул он с бесовскою усмешкою кожаным, висевшим у него возле пояса, кошельком. Вздрогнул Петро. «Ге-ге-ге! да как горит! — заревел он, пересыпая на





Вечер накануне Ивана Купала  
*Рисунок К. Трутовского. 1876*



руку червонцы. — Ге-ге-ге! да как звенит! А ведь и дела только одного потребую за целую гору таких цапек». — «Дьявол! — закричал Петро. — Давай его! на все готов!» Хлопнули по рукам. «Смотри, Петро, ты попал как раз в пору: завтра Ивана Купала. Одну только эту ночь в году и цветет папоротник. Не прозевай! Я тебя буду ждать о полночи в Медвежьем овраге».

Я думаю, куры так не дожидаются той поры, когда баба вынесет им хлебных зерен, как дожидался Петрусь вечера. То и дело что смотрел, не становится ли тень от дерева длиннее, не румянится ли понизившееся солнышко, — и что далее, тем нетерпеливей. Экая долгота! видно, день божий потерял где-нибудь конец свой. Вот уже и солнца нет. Небо только краснеет на одной стороне. И оно уже тускнет. В поле становится холодной. Примеркает, примеркает и — смерклось. Насилу! С сердцем, только что не хотевшим выскочить из груди, собрался он в дорогу и бережно спустился густым лесом в глубокий яр, называемый Медвежьим оврагом. Басаврюк уже поджидал там. Темно, хоть в глаза выстрели. Рука об руку пробирались они по топким болотам, цепляясь за густо разросшийся терновник и спотыкаясь почти на каждом шагу. Вот и ровное место. Огляделся Петро: никогда еще не случалось ему заходить сюда. Тут остановился и Басаврюк.

— Видишь ли ты, стоят перед тобою три пригорка? Много будет на них цветов разных; но сохрани тебя нездешняя сила вырвать хоть один. Только же зацветет папоротник, хватай его и не оглядывайся, что бы тебе позади ни чудилось.

Петро хотел было спросить... глядь — и нет уже его. Подошел к трем пригоркам; где же цветы? Ничего не видать. Дикий бурьян чернел кругом и глушил все своею густотою. Но вот блеснула на небе зарница, и перед ним показалась целая гряда цветов, все чудных, все невиданных; тут же и простые листья папоротника. Поусомнился Петро и в раздумье стал перед ними, подпершись обеими руками в боки.

— Что тут за невидальщина? десять раз на день, случается, видишь это зелье; какое ж тут диво? Не вздумала ли дьявольская рожа посмеяться?

Глядь, краснеет маленькая цветочная почка и, как будто живая, движется. В самом деле, чудно! Двигается и становится все больше, больше и краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звездочка, что-то тихо затрещало, и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и другие около себя.

«Теперь пора!» — подумал Петро и протянул руку. Смотрит, тянутся из-за него сотни мохнатых рук также к цветку, а позади его что-то перебегаёт с места на место. Зажмурив глаза, дернул он за стебелек, и цветок остался в его руках. Все утихло. На пне показался сидящим Басаврюк, весь синий, как мертвец. Хоть бы пошевелился одним пальцем. Очи недвижно уставлены на что-то, видимое ему одному только; рот вполтину разинут, и ни ответа. Вокруг не шелохнет. Ух, страшно!.. Но вот послышался свист, от которого захолонуло у Петра внутри, и почудилось ему, будто трава зашумела, цветы начали между собою разговаривать голосом тоненьким, будто серебряные колокольчики; деревья загремели сыпучею бранью... Лицо Басаврюка вдруг ожило; очи сверкнули. «Насилуворотилась, яга! — проворчал он сквозь зубы. — Гляди, Петро, станет перед тобою сейчас красавица: делай все, что ни прикажет, не то пропал навеки!» Тут разделил он суковатою палкою куст терновника, и перед ними показалась избушка, как говорится, на курьих ножках. Басаврюк ударил кулаком, и стена зашаталась. Большая черная собака выбежала навстречу и с визгом, оборотившись в кошку, кинулась в глаза им. «Не бесись, не бесись, старая чертовка!» — проговорил Басаврюк, приправив таким словцом, что добрый человек и уши бы заткнул. Глядь, вместо кошки старуха, с лицом, сморщившимся, как печеное яблоко, вся согнутая в дугу; нос с подбородком словно щипцы, которыми щелкают орехи. «Славная красавица!» — подумал Петро, и мурашки пошли по спине его. Ведьма вырвала у него цветок из рук, наклонилась и что-то долго шептала над ним, вспрыскивая какою-то водою. Искры посыпались у ней изо рта; пена показалась на губах. «Бросай!» — сказала она, отдавая цветок ему. Петро подбросил, и, что за чудо? — цветок не упал прямо,

но долго казался огненным шариком посреди мрака и, словно лодка, плавал по воздуху; наконец потихоньку начал спускаться ниже и упал так далеко, что едва приметна была звездочка, не больше макового зерна. «Здесь!» — глухо прохрипела старуха; а Басаврюк, подавая ему заступ, примолвил: «Копай здесь, Петро. Тут увидишь ты столько золота, сколько ни тебе, ни Коржу не снилось». Петро, поплевав на руки, схватил заступ, надавил ногою и выворотил землю, в другой, в третий, еще раз... Что-то твердое!.. Заступ звенит и нейдет далее. Тут глаза его ясно начали различать небольшой, окованный железом сундук. Уже хотел он было достать его рукою, но сундук стал уходить в землю, и все, чем далее, глубже, глубже; а позади его слышался хохот, более схожий с змеиным шипеньем. «Нет, не видать тебе золота, покамест не достанешь крови человеческой!» — сказала ведьма и подвела к нему дитя лет шести, накрытое белою простынею, показывая знаком, чтобы он отсек ему голову. Остолбенел Петро. Малость, отрезать ни за что ни про что человеку голову, да еще и безвинному ребенку! В сердцах сдернул он простыню, накрывавшую его голову, и что же? Перед ним стоял Ивась. И ручонки сложило бедное дитя накрест, и головку повесило... Как бешеный подскочил с ножом к ведьме Петро и уже занес было руку...

— А что ты обещал за девушку?.. — грянул Басаврюк и словно пулю посадил ему в спину. Ведьма топнула ногою: синее пламя выхватилося из земли; середина ее вся осветилась и стала как будто из хрусталя вылита; и все, что ни было под землею, сделалось видимо как на ладони. Червонцы, дорогие камни, в сундуках, в котлах, грудями были навалены под тем самым местом, где они стояли. Глаза его загорелись... ум помутился... Как безумный, ухватился он за нож, и безвинная кровь брызнула ему в очи... Дьявольский хохот загремел со всех сторон. Безобразные чудища стаями скакали перед ним. Ведьма, вцепившись руками в обезглавленный труп, как волк, пила из него кровь... Все пошло кругом в голове его! Собравши все силы, бросился бежать он. Все покрылось перед ним красным цветом. Деревья, все в крови, казалось горели и

стонали. Небо, раскалившись, дрожало... Огненные пятна, что молнии, мерещились в его глазах. Выбившись из сил, вбежал он в свою лачужку и, как сноп, повалился на землю. Мертвый сон охватил его.

Два дни и две ночи спал Петро без просыпу. Очнувшись на третий день, долго осматривал он углы своей хаты; но напрасно старался что-нибудь припомнить: память его была как карман старого скряги, из которого полушки не выманишь. Потянувшись немного, услышал он, что в ногах брякнуло. Смотрит: два мешка с золотом. Тут только, будто сквозь сон, вспомнил он, что искал какого-то клада, что было ему одному страшно в лесу... Но за какую цену, как достался он, этого никаким образом не мог понять.

Увидел Корж мешки и — разнежился: «Сякой, такой Петрусь, немазанный! да я ли не любил его? да не был ли у меня он как сын родной?» — и понес хрыч небывальщину, так что того до слез разобрало. Пидорка стала рассказывать ему, как проходившие мимо цыгане украли Ивася. Но Петро не мог даже вспомнить лица его: так обморочила проклятая бесовщина! Мешкать было незачем. Поляку дали под нос дулю, да и заварили свадьбу: напекли пишек, нашили рушников и хусток, выкатили бочку горелки; посадили за стол молодых; разрезали коровай; брякнули в бандуры, цимбалы, сопилки, кобзы — и пошла потеха...

В старину свадьба водилась не в сравнение с нашей. Тетка моего деда, бывало, расскажет — люли только! Как дивчата, в нарядном головном уборе из желтых, синих и розовых стричек, на верх которых навязывался золотой галун, в тонких рубашках, вышитых по всему шву красным шелком и унизанных мелкими серебряными цветочками, в сафьянных сапогах на высоких железных подковах, плавно, словно павы, и с шумом, что вихорь, скакали в горлице. Как молодичи, с корабликом на голове, которого верх сделан был весь из сутозолотой парчи, с небольшим вырезом на затылке, откуда выглядывал золотой очипок, с двумя выдавшимися, один наперед, другой назад, рожками самого мелкого черного смушка; в синих, из лучшего полута-

бенеку, с красными клапанами кунтушах, важно подбоченившись, выступали поодиночке и мерно выбивали гопака. Как парубки, в высоких козацких шапках, в тонких суконных свитках, затянутых шитыми серебром поясами, с люльками в зубах, рассыпались перед ними мелким бесом и подпускали турысы. Сам Корж не утерпел, глядя на молодых, чтобы не тряхнуть стариною. С бандурою в руках, потягивая люльку и вместе припевая, с чаркою на голове, пустился старичина, при громком крике гуляк, вприсядку. Чего не выдумают навеселе! Начнут, бывало, наряжаться в хари — боже ты мой, на человека не похожи! Уж не чета нынешним переодеваньям, что бывают на свадьбах наших. Что теперь? — только что корчат цыганок да москалей. Нет, вот, бывало, один оденется жидом, а другой чертом, начнут сперва целоваться, а после ухватятся за чубы... Бог с вами! смех нападет такой, что за живот хватаешься. Пооденутся в турецкие и татарские платья: все горит на них, как жар... А как начнут дуреть да строить штуки... ну, тогда хоть святых выноси. С теткой покойного деда, которая сама была на этой свадьбе, случилась забавная история: была она одета тогда в татарское широкое платье и с чаркою в руках угощала собрание. Вот одного дернул лукавый окатить ее сзади водкою; другой, тоже, видно, не промах, высек в ту же минуту огня, да и поджег... пламя вспыхнуло, бедная тетка, перепугавшись, давай сбрасывать с себя, при всех, платье... Шум, хохот, ералаш поднялся, как на ярмарке. Словом, старики не запомнили никогда еще такой веселой свадьбы.

Начали жить Пидорка да Петрусь, словно пан с панею. Всего вдоволь, все блестит... Однако же добрые люди качали слегка головами, глядя на житие их. «От черта не будет добра, — поговаривали все в один голос. — Откуда, как не от искусителя люда православного, пришло к нему богатство? Где ему было взять такую кучу золота? Отчего вдруг, в самый тот день, когда разбогател он, Басаврюк пропал, как в воду?» Говорите же, что люди выдумывают! Ведь в самом деле, не прошло месяца, Петруся никто узнать не мог. Отчего, что с ним сделалось, бог знает. Сидит на одном

месте, и хоть бы слово с кем. Все думает и как будто бы хочет что-то припомнить. Когда Пидорке удастся заставить его о чем-нибудь заговорить, как будто и забудется, и поведет речь, и развеселится даже; но ненароком посмотрит на мешки — «постой, постой, позабыл!» — кричит, и снова задумается, и снова силится про что-то вспомнить. Иной раз, когда долго сидит на одном месте, чудится ему, что вот-вот все сызнова приходит на ум... и опять все ушло. Кажется: сидит в шинке; несут ему водку; жжет его водка; противна ему водка; кто-то подходит, бьет по плечу его... но далее все как будто туманом покрывается перед ним. Пот валит градом по лицу его, и он в изнеможении садится на свое место.

Чего ни делала Пидорка: и совещалась с знахарями, и переполох выливали, и соняшницу заваривали <sup>1</sup> — ничто не помогало. Так прошло и лето. Много козачков обкосилось и обжалось; много козачков, поразгульнее других, и в поход потянулось. Стаи уток еще толпились на болотах наших, но крапивянок уже и в помине не было. В степях покраснело. Скирды хлеба то сям, то там, словно козацкие шапки, пестрели по полю. Попадались по дороге и возы, наваленные хворостом и дровами. Земля сделалась крепче и местами стала прохватываться морозом. Уже и снег начал сеяться с неба, и ветви дерев убралась инеем, будто заячьим мехом. Вот уже в ясный морозный день красногрудый снегирь, словно щеголеватый польский шляхтич, прогуливался по снеговым кучам, вытаскивая зерно, и дети огромными киями гоняли по льду деревянные кубари, между тем как отцы их спокойно вылеживались на печке, выходя по временам, с зажженной люлькой в зубах, ругнуть добрым порядком православный морозец или проветрить

---

<sup>1</sup> Выливают переполох у нас в случае испуга, когда хотят узнать, отчего приключился он; бросают расплавленное олово или воск в воду, и чье примут они подобие, то самое перепугало больного; после чего и весь испуг проходит. Заваривают соняшницу от дурноты и боли в животе. Для этого зажигают кусок пеньки, бросают в кружку и опрокидывают ее вверх дном в миску, наполненную водою и поставленную на животе больного; потом, после зашептываний, дают ему выпить ложку этой самой воды. (Прим. Н. В. Гоголя.)



ся и промолотить в сених залежалый хлеб. Наконец снега стали таять, и *щука хвостом лед расколотила*; а Петро все тот же, и чем далее, тем еще суровее. Как будто прикованный, сидит посередине хаты, поставив себе в ноги мешки с золотом. Одичал, оброс волосами, стал страшен; и все думает об одном, все силится припомнить что-то; и сердится и злится, что не может вспомнить. Часто дико подымается с своего места, поводит руками, вперяет во что-то глаза свои, как будто хочет уловить его; губы шевелятся, будто хотят произнести какое-то давно забытое слово,— и неподвижно останавливаются... Бешенство овладевает им; как полоумный, грызет и кусает себе руки и в досаде рвет клоками волоса, покамест, утихнув, не упадет, будто в забытии, и после снова принимается припоминать, и снова бешенство, и снова мука... Что это за напасть божия? Жизнь не в жизнь стала Пидорке. Страшно ей было оставаться сперва одной в хате, да после свыклась бедняжка с своим горем. Но прежней Пидорки уже узнать нельзя было. Ни румянца, ни усмешки: изныла, исчахла, выплакались ясные очи. Раз кто-то уже, видно, сжалился над ней, посоветовал идти к колдунье, жившей в Медвежьем овраге, про которую ходила слава, что умеет лечить все на свете болезни. Решилась попробовать последнее средство; слово за слово, уговорила старуху идти с собою. Это было ввечеру, как раз накануне Купала. Петро в беспамятстве лежал на лавке и не примечал вовсе новой гостии. Как вот мало-помалу стал приподниматься и всматриваться. Вдруг весь задрожал, как на плахе; волосы поднялись горою... и он засмеялся таким хохотом, что страх врезался в сердце Пидорки. «Вспомнил, вспомнил!»— закричал он в страшном веселье и, размахнувши топор, пустил им со всей силы в старуху. Топор на два вершка вбежал в дубовую дверь. Старуха пропала, и дитя лет семи, в белой рубашке, с накрытою головою, стало посреди хаты... Простыня слетела. «Ивась!»— закричала Пидорка и бросилась к нему; но привидение все с ног до головы покрылось кровью и осветило всю хату красным светом... В испуге выбежала она в сени; но, опомнившись немного, хотела было помочь ему;

напрасно! дверь захлопнулась за нею так крепко, что не под силу было отпереть. Сбежались люди; принялись стучать; высадили дверь: хоть бы душа одна. Вся хата полна дыма, и посередине только, где стоял Петрусь, куча пеплу, от которого местами подымался еще пар. Кинулись к мешкам: одни битые черепки лежали вместо червонцев. Выпуча глаза и разинув рты, не смея пошевелинуть усом, стояли козаки, будто вкопанные в землю. Такой страх навело на них это диво.

Что было далее, не вспомню. Пидорка дала обет идти на богомолье; собрала оставшееся после отца имущество, и через несколько дней ее точно уже не было на селе. Куда ушла она, никто не мог сказать. Услужливые старухи отправили ее было уже туда, куда и Петро потащился; но приехавший из Киева козак рассказал, что видел в лавре монахиню, всю высохшую, как скелет, и беспрестанно молящуюся, в которой земляки, по всем приметам, узнали Пидорку; что будто еще никто не слышал от нее ни одного слова; что пришла она пешком и принесла оклад к иконе божьей матери, исцвеченный такими яркими камнями, что все зажмуривались, на него глядя.

Позвольте, этим еще не все кончилось. В тот самый день, когда лукавый припрятал к себе Петруся, показался снова Басаврюк; только все бегом от него. Узнали, что это за птица: никто другой, как сатана, принявший человеческий образ для того, чтобы отрывать клады; а как клады не даются нечистым рукам, так вот он и приманивает к себе молодцов. Того же году все побросали землянки свои и перебрались в село; но и там, однако ж, не было покою от проклятого Басаврюка. Тетка покойного деда говорила, что именно злился он более всего на нее за то, что оставила прежний шинок по Опошнянской дороге, и всеми силами старался выместить все на ней. Раз старшины села собрались в шинок и, как говорится, беседовали по чинам за столом, посередине которого поставлен был, грех сказать чтобы малый, жареный баран. Калякали о сем и о том, было и про диковинки разные, и про чуда. Вот и померещилось,— еще бы ничего, если бы

одному, а то именно всем, — что баран поднял голову, блудящие глаза его ожили и засветились, и вмиг появившиеся черные щетинистые усы значительно заморгали на присутствующих. Все тотчас узнали на бараньей голове рожу Басаврюка; тетка деда моего даже думала уже, что вот-вот попросит водки... Честные старшины за шапки да скорей восвояси. В другой раз сам церковный староста, любивший по временам раздобаривать глаз на глаз с дедовскою чаркою, не успел еще раза два достать дна, как видит, что чарка кланяется ему в пояс. Черт с тобою! давай креститься!.. А тут с половиною его тоже диво: только что начала она замешивать тесто в огромной диже, вдруг дижа выпрыгнула. «Стой, стой!» — куды! подбоченившись важно, пустилась вприсядку по всей хате... Смейтесь; однако ж не до смеха было нашим дедам. И даром, что отец Афанасий ходил по всему селу со святою водою и гонял черта кропилом по всем улицам, а все еще тетка покойного деда долго жаловалась, что кто-то, как только вечер, стучит в крышу и царапается по стене.

Да чего! Вот теперь на этом самом месте, где стоит село наше, кажись, все спокойно; а ведь еще не так давно, еще покойный отец мой и я запомню, как мимо развалившегося шинка, который нечистое племя долго после того поправляло на свой счет, доброму человеку пройти нельзя было. Из закоптевшей трубы столбом валил дым и, поднявшись высоко, так, что посмотреть — шапка валилась, рассыпался горячими угольями по всей степи, и черт, — нечего бы и вспоминать его, собачьего сына, — так всхлипывал жалобно в своей конуре, что испуганные гайвороны стаями подымались из ближнего дубового леса и с диким криком метались по небу.

## МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА

Ворог його батька знає!  
почнуть що-небудь робить  
люди хрещені, то мурдують-  
ця, мурдуютьця, мов хорти  
за зайцем, а все щось не до  
шмигу; тільки ж куди чорт  
уплетецця, то верть хвостиком — так де воно й віз-  
мецця, неначе з неба.

### I

#### ГАННА

Звонкая песня лилась рекою по улицам села \*\*\*.  
Было то время, когда утомленные дневными трудами и заботами парубки и девушки шумно собирались в кружок, в блеске чистого вечера, выливать свое веселье в звуки, всегда неразлучные с уныньем. И задумавшийся вечер мечтательно обнимал синее небо, превращая все в неопределенность и даль. Уже и сумерки; а песни все не утихали. С бандурою в руках пробирался ускользнувший от песельников молодой козак Левко, сын сельского головы. На козаке решетиловская шапка. Козак идет по улице, бренчит рукою по струнам и подплясывает. Вот он тихо остановился перед дверью хаты, уставленной невысокими вишневыми деревьями. Чья же это хата? Чья это дверь? Немного помолчавши, запграл он и запел:

Сонце низенько, вечір близенько,  
Вийди до мене, мое серденько!

— Нет, видно, крепко заснула моя ясноокая красавица! — сказал козак, окончивши песню и приближаясь к окну. — Галю! Галю! ты спишь или не хочешь ко мне выйти? Ты боишься, верно, чтобы нас кто не увидел, или не хочешь, может быть, показать белое личико на холод! Не бойся: никого нет. Вечер тепел. Но если бы и показался кто, я прикрою тебя свиткою, обмотаю своим поясом, закрою руками тебя — и никто нас не увидит. Но если бы и повеяло холодом, я прижму тебя поближе к сердцу, согрею поцелуями, надену шапку свою на твои беленькие ножки. Сердце мое, рыбка моя, ожерелье! выгляни на миг. Просунь сквозь окошечко хоть белую ручку свою... Нет, ты не спишь, гордая дивчина! — проговорил он громче и таким голосом, каким выражает себя устыдившийся мгновенного унижения. — Тебе любо издеваться надо мною, прощай!

Тут он отворотился, насунул набекрень свою шапку и гордо отошел от окошка, тихо перебирая струны бандуры. Деревянная ручка у двери в это время завертелась: дверь распахнулась со скрипом, и девушка на пороге семнадцатой весны, обвитая сумерками, робко оглядываясь и не выпуская деревянной ручки, переступила через порог. В полуясном мраке горели приветно, будто звездочки, ясные очи; блистало красное коралловое монисто, и от орлиных очей парубка не могла укрыться даже краска, стыдливо вспыхнувшая на щеках ее.

— Какой же ты нетерпеливый, — говорила она ему вполголоса. — Уже и рассердился! Зачем выбрал ты такое время: толпа народу шатается то и дело по улицам... Я вся дрожу...

— О, не дрожи, моя красная калиночка! Прижмись ко мне покрепче! — говорил парубок, обнимая ее, отбросив бандуру, висевшую на длинном ремне у него на шее, и садясь вместе с нею у дверей хаты. — Ты знаешь, что мне и часу не видать тебя горько.

— Знаешь ли, что я думаю? — прервала девушка, задумчиво уставив в него свои очи. — Мне все что-то будто на ухо шепчет, что вперед нам не видаться так часто. Недобрые у вас люди: девушки все глядят так завистливо, а парубки... Я примечаю даже, что мать

моя с недавней поры стала суровее приглядывать за мною. Признаюсь, мне веселее у чужих было.

Какое-то движение тоски выразилось на лице ее при последних словах.

— Два месяца только в стороне родной, и уже соскучилась! Может, и я надоел тебе?

— О, ты мне не надоел,— молвила она, усмехнувшись.— Я тебя люблю, чернобровый козак! За то люблю, что у тебя карие очи, и как поглядишь ты ими — у меня как будто на душе усмежается: и весело и хорошо ей; что приветливо моргаешь ты черным усом своим; что ты идешь по улице, поешь и играешь на бандуре, и люблю слушать тебя.

— О моя Галя!— вскрикнул парубок, целуя и прижимая ее сильнее к груди своей.

— Постой! полно, Левко! Скажи наперед, говорил ли ты с отцом своим?

— Что?— сказал он, будто проснувшись.— Что я хочу жениться, а ты выйти за меня замуж — говорил.

Но как-то унывно зазвучало в устах его это слово «говорил».

— Что же?

— Что станешь делать с ним? Притворился старый хрен, по своему обыкновению, глухим: ничего не слышит и еще бранит, что шатаюсь бог знает где, повесничаю и шалю с хлопцами по улицам. Но не тужи, моя Галя! Вот тебе слово козацкое, что уломаю его.

— Да тебе только стоит, Левко, слово сказать — и все будет по-твоему. Я знаю это по себе: иной раз не послушала бы тебя, а скажешь слово — и невольно делаю, что тебе хочется. Посмотри, посмотри! — продолжала она, положив голову на плечо ему и подняв глаза вверх, где необъятно синело теплое украинское небо, завешенное снизу кудрявыми ветвями стоявших перед ними вишен.— Посмотри, вон-вон далеко мелькнули звездочки: одна, другая, третья, четвертая, пятая... Не правда ли, ведь это ангелы божии поотворяли окошечки своих светлых домиков на небе и глядят на нас? Да, Левко? Ведь это они глядят на нашу землю? Что, если бы у людей были крылья, как у птиц, — туда бы полететь, высоко, высоко... Ух, страшно! Ни один дуб у

нас не достанет до неба. А говорят, однако же, есть где-то, в какой-то далекой земле, такое дерево, которое шумит вершиною в самом небе, и бог сходит по нем на землю ночью перед светлым праздником.

— Нет, Галю; у бога есть длинная лестница от неба до самой земли. Ее ставят перед светлым воскресением святые архангелы; и как только бог ступит на первую ступень, все нечистые духи полетят стремглав и кучами попадают в пекло, и оттого на Христов праздник ни одного злого духа не бывает на земле.

— Как тихо колыхнется вода, будто дитя в люльке! — продолжала Ганна, указывая на пруд, угрюмо обставленный темным кленовым лесом и оплакиваемый вербами, потопившими в нем жалобные свои ветви. Как бессильный старец, держал он в холодных объятиях своих далекое, темное небо, обсыпая ледяными поцелуями огненные звезды, которые тускло реяли среди теплого ночного воздуха, как бы предчувствуя скорое появление блистательного царя ночи. Возле леса, на горе, дремал с закрытыми ставнями старый деревянный дом; мох и дикая трава покрывали его крышу; кудрявые яблони разрослись перед его окнами; лес, обнимая свою тень, бросал на него дикую мрачность; ореховая роща стлалась у подножия его и скатывалась к пруду.

— Я помню будто сквозь сон, — сказала Ганна, не спуская глаз с него, — давно, давно, когда я еще была маленькою и жила у матери, что-то страшное рассказывали про дом этот. Левко, ты, верно, знаешь, расскажи!..

— Бог с ним, моя красавица! Мало ли чего не расскажут бабы и народ глупый. Ты себя только потревожишь, станешь бояться, и не заснетя тебе покойно.

— Расскажи, Расскажи, милый, чернобровый парубок! — говорила она, прижимаясь лицом своим к щеке его и обнимая его. — Нет! ты, видно, не любишь меня, у тебя есть другая девушка. Я не буду бояться; я буду спокойно спать ночь. Теперь-то не засну, если не расскажешь. Я стану мучиться да думать... Расскажи, Левко!..

— Видно, правду говорят люди, что у девушек сидит черт, подстрекающий их любопытство. Ну, слушай. Давно, мое серденько, жил в этом доме сотник. У сотника была дочка, ясная панночка, белая, как снег, как твое личико. Сотникова жена давно уже умерла; задумал сотник жениться на другой. «Будешь ли ты меня нежить по-старому, батьку, когда возьмешь другую жену?» — «Буду, моя дочка; еще крепче прежнего стану прижимать тебя к сердцу! Буду, моя дочка; еще ярче стану дарить серьги и монисты!» Привез сотник молодую жену в новый дом свой. Хороша была молодая жена. Румяна и бела собою была молодая жена; только так страшно взглянула на свою падчерицу, что та вскрикнула, ее увидевши; и хоть бы слово во весь день сказала суровая мачеха. Настала ночь; ушел сотник с молодою женою в свою опочивальню; заперлась и белая панночка в своей светлице. Горько сделалось ей; стала плакать. Глядит: страшная черная кошка крадется к ней; шерсть на ней горит, и железные когти стучат по полу. В испуге вскочила она на лавку, — кошка за нею. Перепрыгнула на лежанку, — кошка и туда, и вдруг бросилась к ней на шею и душит ее. С криком оторвавши от себя, кинула ее на пол; опять крадется страшная кошка. Тоска ее взяла. На стене висела отцовская сабля. Схватила ее и бряк по полу — лапа с железными когтями отскочила, и кошка с визгом пропала в темном углу. Целый день не выходила из светлицы своей молодая жена; на третий день вышла с перевязанною рукой. Угадала бедная панночка, что мачеха ее ведьма и что она ей перерубила руку. На четвертый день приказал сотник своей дочке носить воду, мести хату, как простой мужичке, и не показываться в панские покои. Тяжело было бедняжке, да нечего делать: стала выполнять отцовскую волю. На пятый день выгнал сотник свою дочку босую из дому и куска хлеба не дал на дорогу. Тогда только зарыдала панночка, закрывши руками белое лицо свое: «Погубил ты, батьку, родную дочку свою! Погубила ведьма грешную душу твою! Прости тебя бог; а мне, несчастной, видно, не велит он жить на белом свете!..» И вон, видишь ли ты... — Тут оборотился Левко к Ганне, указывая пальцем на дом. —



Гляди сюда: вон, подалее от дома, самый высокий берег! С этого берега кинулась панночка в воду, и с той поры не стало ее на свете...

— А ведьма? — боязливо прервала Ганна, устремив на него прослезившиеся очи.

— Ведьма? Старухи выдумали, что с той поры все утопленницы выходили в лунную ночь в панский сад греться на месяце; и сотникова дочка сделалась над ними главною. В одну ночь увидела она мачеху свою возле пруда, напала на нее и с криком утащила в воду. Но ведьма и тут нашлась: оборотилась под водою в одну из утопленниц и через то ушла от плети из зеленого тростника, которою хотели ее бить утопленницы. Верь бабам! Рассказывают еще, что панночка собирает всякую ночь утопленниц и заглядывает поодиночке каждой в лицо, стараясь узнать, которая из них ведьма; но до сих пор не узнала. И если попадется из людей кто, тотчас заставляет его угадывать, не то грозит утопить в воде. Вот, моя Галю, как рассказывают старые люди!.. Теперешний пан хочет строить на том месте винницу и прислал нарочно для того сюда винокура... Но я слышу говор. Это наши возвращаются с песен. Прощай, Галю! Спи спокойно; да не думай об этих бабьих выдумках!

Сказавши это, он обнял ее крепче, поцеловал и ушел.

— Прощай, Левко! — говорила Ганна, задумчиво вперив очи на темный лес.

Огромный огненный месяц величественно стал в это время вырезываться из земли. Еще половина его была под землею, а уже весь мир исполнился какого-то торжественного света. Пруд тронулся искрами. Тень от деревьев ясно стала отделяться на темной зелени.

— Прощай, Ганна! — раздалось позади ее слова, сопровождаемые поцелуем.

— Ты воротился! — сказала она, оглянувшись; но, увидев перед собою незнакомого парубка, отвернулась в сторону.

— Прощай, Ганна! — раздалось снова, и снова поцеловал ее кто-то в щеку.

— Вот принесла нелегкая и другого! — проговорила она с сердцем.

— Прощай, милая Ганна!

— Еще и третий!

— Прощай! прощай! прощай, Ганна!— и поцелуй засыпали ее со всех сторон.

— Да тут их целая ватага!— кричала Ганна, вырываясь из толпы парубков, наперерыв спешивших обнимать ее.—Как им не надоест беспрестанно целоваться! Скоро, ей-богу, нельзя будет показаться на улице!

Вслед за сими словами дверь захлопнулась, и только слышно было, как с визгом задвинулся железный засов.

## II Г О Л О В А

Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь! Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную тень от себя. Тихи и покойны эти пруды; холод и мрак вод их угрюмо заключен в темно-зеленые стены садов. Девственные чащи черемух и черешен пугливо протянули свои корни в ключевой холод и изредка лепечут листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный ветреник — ночной ветер, подкравшись мгновенно, целует их. Весь ландшафт спит. А вверху все дышит, все дивно, все торжественно. А на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине. Божественная ночь! Очаровательная ночь! И вдруг все ожило: и леса, и пруды, и степи. Сыплется величественный гром украинского соловья, и чудится, что и месяц заслушался его посереде неба... Как очарованное, дремлет на возвышении село. Еще белее, еще лучше блестят при месяце толпы хат; еще ослепительнее вырезаются из мрака низкие их стены. Песни умолкли. Все тихо. Благочестивые люди уже



Майская ночь, или Утопленница  
Картина И. Крамского. 1871



спят. Где-где только светятся узенькие окна. Перед порогами нных только хат запоздалая семья совершает свой поздний ужин.

— Да, гопак не так танцуется! То-то я гляжу, не клеится все. Что ж это рассказывает кум?.. А ну: гоп трала! гоп трала! гоп, гоп, гоп!— Так разговаривал сам с собою подгулявший мужик средних лет, танцуя по улице.— Ей-богу, не так танцуется гопак! Что мне лгать! ей-богу, не так! А ну: гоп трала! гоп трала! гоп, гоп, гоп!

— Вот одурел человек! добро бы еще хлопец какой, а то старый кабан, детям на смех, танцует ночью по улице!— вскричала проходящая пожилая женщина, неся в руке солому.— Ступай в хату свою! Пора спать давно!

— Я пойду!— сказал, остановившись, мужик.— Я пойду. Я не посмотрю на какого-нибудь голову. Что он думает, *дидько б утысся его батькови!* что он голова, что он обливает людей на морозе холодною водою, так и нос поднял! Ну, голова, голова. Я сам себе голова. Вот убей меня бог! Бог меня убей! Я сам себе голова. Вот что, а не то что...— продолжал он, подходя к первой попавшейся хате, и остановился перед окошком, скользя пальцами по стеклу и стараясь найти деревянную ручку.— Баба, отворяй! Баба, живей, говорят тебе, отворяй! Козаку спать пора!

— Куда ты, Каленик? Ты в чужую хату попал!— закричали, смеясь, позади его девушки, ворочавшиеся с веселых песней.— Показать тебе твою хату?

— Покажите, любезные молодушки!

— Молодушки? слышите ли,— подхватила одна,— какой учтивый Каленик! За это ему пужно показать хату... но нет, наперед потанцуй!

— Потанцевать?.. эх вы, замысловатые девушки!— протяжно произнес Каленик, смеясь и грозя пальцем и оступаясь, потому что ноги его не могли держаться на одном месте.— А дадите перецеловать себя? Всех перецелую, всех!..— И косвенными шагами пустился бежать за ними.

Девушки подняли крик, перемешались; но после, ободрившись, перебежали на другую сторону, увидя, что Каленик не слишком был скор на ноги.

— Вон твоя хата! — закричали они ему, уходя и показывая на избу, гораздо поболее прочих, принадлежавшую сельскому голове. Каленик послушно побрел в ту сторону, принимаясь снова бранить голову.

Но кто же этот голова, возбудивший такие невыгодные о себе толки и речи? О, этот голова важное лицо на селе. Покамест Каленик достигнет конца пути своего, мы, без сомнения, успеем кое-что сказать о нем. Все село, завидевши его, берется за шапки; а девушки, самые молоденькие, отдают *добридень*. Кто бы из парубков не захотел быть головою! Голове открыт свободный вход во все тавлинки; и дюжий мужик почтительно стоит, снявши шапку, во все продолжение, когда голова запускает свои толстые и грубые пальцы в его лубочную табакерку. В мирской сходке, или громаде, несмотря на то что власть его ограничена несколькими голосами, голова всегда берет верх и почти по своей воле высылает, кого ему угодно, ровнять и гладить дорогу или копать рвы. Голова угрюм, суров с виду и не любит много говорить. Давно еще, очень давно, когда блаженной памяти великая царица Екатерина ездила в Крым, был выбран он в провожатые; целые два дни находился он в этой должности и даже удостоился сидеть на козлах с царицыным кучером. И с той самой поры еще голова выучился раздумно и важно потуплять голову, гладить длинные, закрутившиеся вниз усы и кидать соколиный взгляд исподлобья. И с той поры голова, об чем бы ни заговорили с ним, всегда умеет поворотить речь на то, как он вез царицу и сидел на козлах царской кареты. Голова любит иногда прикинуться глухим, особливо если услышит то, чего не хотелось бы ему слышать. Голова терпеть не может щегольства: носит всегда свитку черного домашнего сукна, перепоясывается шерстяным цветным поясом, и никто никогда не видал его в другом костюме, выключая разве только времени проезда царицы в Крым, когда на нем был синий козацкий жупан. Но это время вряд ли кто мог запомнить из целого села; а жупан держит он в сундуке под замком. Голова вдов; но у него живет в доме свояченица, которая варит обедать и ужинать, моет лавки,

белит хату, прядет ему на рубашки и заведывает всем домом. На селе поговаривают, будто она совсем ему не родственница; но мы уже видели, что у головы много недоброжелателей, которые рады распускать всякую клевету. Впрочем, может быть, к этому подало повод и то, что свояченице всегда не правилось, если голова заходил в поле, усеянное жницами, или к козаку, у которого была молодая дочка. Голова крив; но зато одинокий глаз его злодей и далеко может увидеть хорошенькую поселянку. Не прежде, однако ж, он наведет его на смазливое личико, пока не обсмотрится хорошенько, не глядит ли откуда свояченица. Но мы почти все уже рассказали, что нужно, о голове; а пьяный Каленик не добрался еще и до половины дороги и долго еще угощал голову всеми отборными словами, какие могли только впасть на лениво и несвязно поворачивавшийся язык его.

### III

#### НЕОЖИДАННЫЙ СОПЕРНИК. ЗАГОВОР

— Нет, хлопцы, нет, не хочу! Что за разгулье такое! Как вам не надоест повесничать? И без того уже прослыли мы бог знает какими буянами. Ложитесь лучше спать!— Так говорил Левко разгульным товарищам своим, подговаривавшим его на новые проказы.— Прощайте, братцы! покойная вам ночь!— и быстрыми шагами шел от них по улице.

«Спит ли моя ясноокая Ганна?»— думал он, подходя к знакомой нам хате с вишневыми деревьями. Среди тишины слышался тихий говор. Левко остановился. Между деревьями забелела рубашка... «Что это значит?»— подумал он и, подкравшись поближе, спрятался за дерево. При свете месяца блистало лицо стоявшей перед ним девушки... Это Ганна! Но кто же этот высокий человек, стоявший к нему спиною? Напрасно обсматривал он: тень покрывала его с ног до головы. Спереди только он был освещен немного; но малейший шаг вперед Левка уже подвергал его неприятности быть открытым. Тихо прислонившись к дереву, решил

он остаться на месте. Девушка ясно выговорила его имя.

— Левко? Левко еще молокосос!— говорил хрипло и вполголоса высокий человек.— Если я встречу его когда-нибудь у тебя, я его выдеру за чуб...

— Хотелось бы мне знать, какая это шельма похвастается выдрать меня за чуб!— тихо проговорил Левко и протянул шею, стараясь не проронить ни одного слова. Но незнакомец продолжал так тихо, что нельзя было ничего расслушать.

— Как тебе не стыдно!— сказала Ганна по окончании его речи.— Ты лжешь; ты обманываешь меня; ты меня не любишь; я никогда не поверю, чтобы ты меня любил!

— Знаю,— продолжал высокий человек,— Левко много наговорил тебе пустяков и вскружил твою голову (тут показалось парубку, что голос незнакомца не совсем незнаком и как будто он когда-то его слышал). Но я дам себя знать Левку!— продолжал все так же незнакомец.— Он думает, что я не вижу всех его пашней. Попробует он, собачий сын, каковы у меня кулаки.

При сем слове Левко не мог уже более удержать своего гнева. Подошедши на три шага к нему, замахнулся он со всей силы, чтобы дать трюха, от которого незнакомец, несмотря на свою видимую крепость, не устоял бы, может быть, на месте; но в это время свет пал на лицо его, и Левко остолбенел, увидевши, что перед ним стоял отец его. Невольное покачивание головою и легкий сквозь зубы свист одни только выразили его изумление. В стороне послышался шорох; Ганна ниспешно влетела в хату, захлопнув за собою дверь.

— Прощай, Ганна!— закричал в это время один из парубков, подкравшись и обнявши голову; и с ужасом отскочил назад, встретивши жесткие усы.

— Прощай, красавица!— вскричал другой; но на сей раз полетел стремглав от тяжелого толчка головы.

— Прощай, прощай, Ганна!— закричало несколько парубков, повиснув ему на шею.

— Провалитесь, проклятые сорванцы!— кричал голова, отбиваясь и притопывая на них ногами.— Что я вам за Ганна! Убирайтесь вслед за отцами на виселицу,



чертовы дети! Поприставали, как мухи к меду! Дам я вам Ганны!..

— Голова! Голова! это голова!— закричали хлопцы и разбежались во все стороны.

— Ай да батя!— говорил Левко, очнувшись от своего изумления и глядя вслед уходившему с ругательствами голове.— Вот какие за тобою водятся проказы! славно! А я дивлюсь да передумываю, что б это значило, что он все притворяется глухим, когда станешь говорить о деле. Постой же, старый хрен, ты у меня будешь знать, как шататься под окнами молодых девушек, будешь знать, как отбивать чужих невест! Гей, хлопцы! сюда! сюда!— кричал он, махая рукою к парубкам, которые снова собирались в кучу.— Ступайте сюда! Я увещевал вас идти спать, но теперь раздумал и готов хоть целую ночь сам гулять с вами.

— Вот это дело!— сказал плечистый и дородный парубок, считавшийся первым гулякой и повесой на селе.— Мне все кажется тошно, когда не удастся погулять порядком и настроить штук. Все как будто недостает чего-то. Как будто потерял шапку или люльку; словом, не козак, да и только.

— Согласны ли вы побесить хорошенько сегодня голову?

— Голову?

— Да, голову. Что он, в самом деле, задумал! Он управляется у нас, как будто гетьман какой. Мало того что помыкает, как своими холопьями, еще и подъезжает к дивчатам нашим. Ведь, я думаю, на всем селе нет смазливой девки, за которою бы не волочился голова.

— Это так, это так,— закричали в один голос все хлопцы.

— Что ж мы, ребята, за холопья? Разве мы не такого роду, как и он? Мы, слава богу, вольные козаки! Покажем ему, хлопцы, что мы вольные козаки!

— Покажем!— закричали парубки.— Да если голове, то и писаря не минут!

— Не минем и писаря! А у меня, как нарочно, сложилась в уме славная песня про голову. Пойдемте, я вас выучу,— продолжал Левко, ударив рукою по

струнам бандуры.— Да слушайте: попереодевайтесь, кто во что ни попало!

— Гуляй, козацкая голова!— говорил дюжий по-веса, ударив ногою в ногу и хлопнув руками.— Что за роскошь! Что за воля! Как начнешь беситься — чудится, будто поминаешь давние годы. Любо, вольно на сердце; а душа как будто в раю. Гей, хлопцы! Гей, гуляй!..

И толпа шумно понеслась по улицам. И благочестивые старушки, пробужденные криком, подымали окошки и крестились сонными руками, говоря: «Ну, теперь гуляют парубки!»

#### IV

#### П А Р У Б К И Г У Л Я Ю Т

Одна только хата светилась еще в конце улицы. Это жилище головы. Голова уже давно окончил свой ужин и, без сомнения, давно бы уже заснул; но у него был в это время гость, винокур, присланный строить винокурню помещиком, имевшим небольшой участок земли между вольными козаками. Под самым покутом, на почетном месте, сидел гость — низенький, толстенький человечек с маленькими вечно смеющимися глазками, в которых, кажется, написано было то удовольствие, с каким курил он свою коротенькую люльку, поминутно сплевывая и придавливая пальцем вылезавший из нее превращенный в золу табак. Облака дыма быстро разрастались над ним, одевая его в сизый туман. Казалось, будто широкая труба с какой-нибудь винокурни, наскуча сидеть на своей крыше, задумала прогуляться и чинно уселась за столом в хате головы. Под носом торчали у него коротенькие и густые усы; но они так неясно мелькали сквозь табачную атмосферу, что казались мышью, которую винокур поймал и держал во рту своем, подрывая монополию амбарного кота. Голова, как хозяин, сидел в одной только рубашке и полотняных шароварах. Орлиный глаз его, как вечерее солнце, начинал мало-помалу жмуриться и меркнуть. На конце стола курил люльку один из сельских десят-

ских, составлявших команду головы, сидевший из почтения к хозяину в свитке.

— Скоро же вы думаете, — сказал голова, оборотившись к винокуру и кладя крест на зевнувший рот свой, — поставить вашу винокурню?

— Когда бог поможет, то сею осенью, может, и закурим. На покров, бьюсь об заклад, что пан голова будет писать ногами немецкие крендели по дороге.

По произнесении сих слов глазки винокура пропали; вместо их протянулись лучи до самых ушей; все туловище стало колебаться от смеха, и веселые губы оставили на мгновение дымившуюся люльку.

— Дай бог, — сказал голова, выразив на лице своем что-то подобное улыбке. — Теперь еще, слава богу, винниц развелось немного. А вот в старое время, когда провожал я царицу по Переяславской дороге, еще покойный Безбородько...

— Ну, сват, вспомнил время! Тогда от Кременчуга до самых Ромен не насчитывали и двух винниц. А теперь... Слышал ли ты, что повыдумали проклятые немцы? Скоро, говорят, будут курить не дровами, как все честные христиане, а каким-то чертовским паром. — Говоря эти слова, винокур в размышлении глядел на стол и на расставленные на нем руки свои. — Как это паром — ей-богу, не знаю!

— Что за дурни, прости господи, эти немцы! — сказал голова. — Я бы батогом их, собачьих детей! Слыханное ли дело, чтобы паром можно было кипятить что! Поэтому ложку борщу нельзя поднести ко рту, не изжаривши губ, вместо молодого поросенка...

— И ты, сват, — отозвалась сидевшая на лежанке, поджавши под себя ноги, свояченица, — будешь все это время жить у нас без жены?

— А для чего она мне? Другое дело, если бы что доброе было.

— Будто не хороша? — спросил голова, устремив на него глаз свой.

— Куды тебе хороша! *Стара як бис*. Харя вся в морщинах, будто выпороженный кошелёк. — И низенькое строение винокура распаталось снова от громкого смеха.

В это время что-то стало парить за дверью; дверь растворилась, и мужик, не снимая шапки, ступил за порог и стал, как будто в раздумье, посреди хаты, разинувши рот и оглядывая потолок. Это был знакомец наш, Каленик.

— Вот я и домой пришел! — говорил он, садясь на лавку у дверей и не обращая никакого внимания на присутствующих. — Вишь, как растянул вражий сын, сатана, дорогу! Идешь, идешь, и конца нет! Ноги как будто переломал кто-нибудь. Достань-ка там, баба, тулуп, подостлать мне. На печь к тебе не приду, ей-богу не приду: ноги болят! Достань его, там он лежит, близ покута; гляди только, не опрокинь горшка с тертым табаком. Или нет, не тронь, не тронь! Ты, может быть, пьяна сегодня... Пусть, уже я сам достану.

Каленик приподнялся немного, но неодолимая сила приковала его к скамейке.

— За это люблю, — сказал голова, — пришел в чужую хату и распоряжается, как дома! Выпроводить его подобру-поздорову!..

— Оставь, сват, отдохнуть! — сказал винокур, удерживая его за руку. — Это полезный человек; побольше такого народу — и винница наша славно бы пошла...

Однако ж не добродушие вынудило эти слова. Винокур верил всем приметам, и тотчас прогнать человека, уже севшего на лавку, значило у него накликать беду.

— Что-то как старость придет!.. — ворчал Каленик, ложась на лавку. — Добро бы, еще сказать, пьян; так нет же, не пьян. Ей-богу, не пьян! Что мне лгать! Я готов объявить это хоть самому голове. Что мне голова? Чтоб он издохнул, собачий сын! Я плюю на него! Чтоб его, одноглазого черта, возом переехало! Что он обливает людей на морозе...

— Эге! влезла свинья в хату, да и лапы сует на стол, — сказал голова, гневно подымаясь с своего места; но в это время увесистый камень, разбивши окно вдребезги, полетел ему под ноги. Голова остановился. — Если бы я знал, — говорил он, подымая камень, — какой это висельник швырнул, я бы выучил его, как кидаться! Экие проказы! — продолжал он, рассматривая

его на руке пылающим взглядом. — Чтоб он подавился этим камнем...

— Стой, стой! Боже тебя сохрани, сват! — подхватил, побледневши, винокур. — Боже сохрани тебя, и на том и на этом свете, поблагословить кого-нибудь такую побранкою!

— Вот нашелся заступник! Пусть он пропадет!..

— И не думай, сват! Ты не знаешь, верно, что случилось с покойною тещею моею?

— С тещей?

— Да, с тещей. Вечером, немного, может, раньше теперешнего, уселись вечером: покойная теща, покойный тесть, да наймыт, да наймычка, да детей штук с пятеро. Теща отсыпала немного галушек из большого казана в миску, чтобы не так были горячи. После работ все проголодались и не хотели ждать, пока простынут. Вздвигая на длинные деревянные спички галушки, начали есть. Вдруг откуда ни возьмись человек, — какого он роду, бог его знает, — просит и его допустить к трапезе. Как не накормить голодного человека! Дали и ему спичку. Только гость упрятывает галушки, как корова сено. Покамест те съели по одной и опустили спички за другими, дно было гладко, как панский помост. Теща насыпала еще; думает, гость наелся и будет убирать меньше. Ничего не бывало. Еще лучше стал уплетать! и другую выпорожнил! «А чтоб ты подавился этими галушками!» — подумала голодная теща; как вдруг тот поперхнулся и упал. Кинулись к нему — и дух вон. Удавился.

— Так ему, обжоре проклятому, и нужно! — сказал голова.

— Так бы, да не так вышло: с того времени покою не было теще. Чуть только ночь, мертвец и тащится. Сядет верхом на трубу, проклятый, и галушку держит в зубах. Днем все покойно, и слуху нет про него; а только станет примеркать — погляди на крышу, уже и оседлал, собачий сын, трубу.

— И галушка в зубах?

— И галушка в зубах.

— Чудно, сват! Я слышал что-то похожее еще за покойницу царицу...

Тут голова остановился. Под окном слышался шум и топание танцующих. Сперва тихо звукнули струны бандуры, к ним присоединился голос. Струны загрели сильнее; несколько голосов стали подтягивать; и песня зашумела вихрем:

Хлопцы, слышали ли вы?  
Наши ль головы не крепки!  
У кривого головы  
В голове расселись клепки.  
Набей, бондарь, голову  
Ты стальными обручами!  
Вспрысни, бондарь, голову  
Батогами! батогами!

Голова наш сед и крив;  
Стар, как бес, а что за дурень!  
Прихотлив и похотлив:  
Жметя к девкам... Дурень, дурень!  
И тебе лезть к парубкам!  
Тебя б нужно в домовину,  
По усам да по шеям!  
За чуприну! за чуприну!

— Славная песня, сват! — сказал винокур, наклоня немного набок голову и оборотившись к голове, остолбеневшему от удивления при виде такой дерзости. — Славная! Скверно только, что голову поминают не совсем благопристойными словами... — И опять положил руки на стол с каким-то сладким умилением в глазах, приготовляясь слушать еще, потому что под окном гремел хохот и крики: «Снова! снова!» Однако ж проникающий глаз увидел бы тотчас, что не изумление удерживало долго голову на одном месте. Так только старый, опытный кот допускает иногда неопытной мыши бегать около своего хвоста; а между тем быстро созидает план, как перерезать ей путь в свою нору. Еще одинокий глаз головы был устремлен на окно, а уже рука, давши знак десятскому, держалась за деревянную ручку двери, и вдруг на улице поднялся крик... Винокур, к числу многих достоинств своих присоединявший и любопытство, быстро набивши табаком свою люльку, выбежал на улицу; но шалуны уже разбежались.

«Нет, ты не ускользнешь от меня!» — кричал голова, таща за руку человека в вывороченном шерстью

вверх овчинном черном тулупе. Винокур, пользуясь временем, подбежал, чтобы посмотреть в лицо этому нарушителю спокойствия, но с робостию попятился назад, увидевши длинную бороду и страшно размалеванную рожу. «Нет, ты не ускользнешь от меня!»— кричал голова, продолжая тащить своего пленника прямо в сени, который, не оказывая никакого сопротивления, спокойно следовал за ним, как будто в свою хату.

— Карпо, отворяй комору!— сказал голова десятскому.— Мы его в темную комору! А там разбудим писаря, соберем десятских, переловим всех этих буянов и сегодня же и резолюцию всем им учиним!

Десятский забренчал небольшим висячим замком в сенях и отворил комору. В это самое время пленник, пользуясь темнотою сеней, вдруг вырвался с необыкновенною силою из рук его.

— Куда?— закричал голова, ухватив его еще крепче за ворот.

— Пусти, это я!— слышался тоненький голос.

— Не поможет! не поможет, брат! Визжи себе хоть чертом, не только бабою, меня не проведешь!— и толкнул его в темную комору так, что бедный пленник застонал, упавши на пол, а сам в сопровождении десятского отправился в хату писаря, и вслед за ними, как пароход, задымился винокур.

В размышлении шли они все трое, потупив головы, и вдруг, на повороте в темный переулок, разом вскрикнули от сильного удара по лбам, и такой же крик отгрянул в ответ им. Голова, прищуривши глаз свой, с изумлением увидел писаря с двумя десятскими.

— А я к тебе иду, пан писарь.

— А я к твоей милости, пан голова.

— Чудеса завелися, пан писарь.

— Чудные дела, пан голова.

— А что?

— Хлопцы бесятся! бесчинствуют целыми кучами по улицам. Твою милость величают такими словами... словом, сказать стыдно; пьяный москаль побоится вымолвить их нечестивым своим языком. (Все это худощавый писарь, в пестрядевых шароварах и жилете цвету винных дрожжей, сопровождал протягиванием шеи впе-

ред и приведением ее тот же час в прежнее состояние.) Вздremнул было немного, подняли с постели проклятые сорванцы своими срамными песнями и стуком! Хотел было хорошенько приструнить их, да, покамест надел шаровары и жилет, все разбежались куда ни попало. Самый главный, однако же, не увернулся от нас. Распевает он теперь в той хате, где держат колодников. Душа горела у меня узнать эту птицу, да рожа замазана сажею, как у черта, что кует гвозди для грешников.

— А как он одет, пан писарь?

— В черном вывороченном тулупе, собачий сын, пан голова.

— А не лжешь ли ты, пан писарь? Что, если этот сорванец сидит теперь у меня в коморе?

— Нет, пан голова. Ты сам, не во гнев будь сказано, погрешил немного.

— Давайте огня! мы посмотрим его!

Огонь принесли, дверь отперли, и голова ахнул от удивления, увидев пред собою свояченицу.

— Скажи, пожалуйста,— с такими словами она приступила к нему,— ты не свихнул еще с последнего ума? Была ли в одноглазой башке твоей хоть капля мозгу, когда толкнул ты меня в темную комору? счастье, что не ударилась головою об железный крюк. Разве я не кричала тебе, что это я? Схватил, проклятый медведь, своими железными лапами, да и толкает! Чтoб тебя на том свете толкали черти!..

Последние слова вынесла она за дверь на улицу, куда отправилась для каких-нибудь своих причин.

— Да, я вижу, что это ты!— сказал голова, очнувшись.— Чтo скажешь, пан писарь, не шельма этот проклятый сорвиголова?

— Шельма, пан голова.

— Не пора ли нам всех этих повес прошколить хорошепко и заставить их заниматься делом?

— Давно пора, давно пора, пан голова.

— Они, дурни, забрали себе... Кой черт? мне почудился крик свояченицы на улице; они, дурни, забрали себе в голову, что я им ровня. Они думают, что я какой-нибудь их брат, простой козак!— Небольшой последовавший за сим кашель и устремление глаза



исподлобья вокруг давало догадываться, что голова готовился говорить о чем-то важном. — В тысячу... этих проклятых названий годов, хоть убей, не выговорю; ну, году, комиссару тогдашнему *Ледачему* дан был приказ выбрать из козаков такого, который бы был посмышленнее всех. О! — это «о!» голова произнес, поднявши палец вверх, — посмышленнее всех! в проводники к царице. Я тогда...

— Что и говорить! это всякий уже знает, пан голова. Все знают, как ты выслужил царскую ласку. Признайся теперь, моя правда вышла: хватил немного на душу греха, сказавши, что поймал этого сорванца в вывороченном тулупе?

— А что до этого дьявола в вывороченном тулупе, то его, в пример другим, заковать в кандалы и наказать примерно. Пусть знают, что значит власть! От кого же и голова поставлен, как не от царя? Потом доберемся и до других хлопцев: я не забыл, как проклятые сорванцы вогнали в огород стадо свиней, переевших мою капусту и огурцы; я не забыл, как чертовы дети отказались вымолотить мое жито; я не забыл... Но провались они, мне нужно непременно узнать, какая это шельма в вывороченном тулупе.

— Это проворная, видно, птица! — сказал винокур, которого щеки в продолжение всего этого разговора беспрерывно заряжались дымом, как осадная пушка, и губы, оставив коротенькую люльку, выбросили целый облачный фонтан. — Эдакого человека не худо, на всякий случай, и при виннице держать; а еще лучше повесить на верхушке дуба вместо паникадила.

Такая острота показалась не совсем глупою винокуру, и он тот же час решился, не дожидаясь одобрения других, наградить себя хриплым смехом.

В это время стали приближаться они к небольшой, почти повалившейся на землю хате; любопытство наших путников увеличилось. Все столпились у дверей. Писарь вынул ключ, загремел им около замка; но этот ключ был от сундука его. Нетерпение увеличилось. Засунув руку, начал он шарить и сыпать побранки, не отыскивая его. «Здесь!» — сказал он наконец, нагнувшись и вынимая его из глубины обширного кармана,

которым снабжены были его пестрядевые шаровары. При этом слове сердца наших героев, казалось, слились в одно, и это огромное сердце забилося так сильно, что неровный стук его не был заглушен даже брякнувшим замком. Двери отворились, и... Голова стал бледен как полотно; винокур почувствовал холод, и волосы его, казалось, хотели улететь на небо; ужас изобразился в лице писаря; десятские приросли к земле и не в состоянии были сомкнуть дружно разинутых ртов своих: перед ними стояла свояченица.

Изумленная не менее их, она, однако ж, немного очнулась и сделала движение, чтобы подойти к ним.

— Стой! — закричал диким голосом голова и захлопнул за нею дверь. — Господа! это сатана! — продолжал он. — Огня! живее огня! Не пожалею казенной хаты! Зажигай ее, зажигай, чтобы и костей чертовых не осталось на земле.

Свояченица в ужасе кричала, слыша за дверью грозное определение.

— Что вы, братцы! — говорил винокур. — Слава богу, волосы у вас чуть не в снегу, а до сих пор ума не нажили: от простого огня ведьма не загорится! Только огонь из люльки может зажечь оборотня. Пойдите, я сейчас все улажу!

Сказавши это, высыпал он горячую золу из трубки в пук соломы и начал раздувать ее. Отчаяние придало в это время духу бедной свояченице, громко стала она умолять и разувирать их.

— Пойдите, братцы! Зачем напрасно греха набираться; может быть, это и не сатана, — сказал писарь. — Если оно, то есть то самое, которое сидит там, согласится положить на себя крестное знамение, то это верный знак, что не черт.

Предложение одобрено.

— Чур меня, сатана! — продолжал писарь, приложась губами к скважине в дверях. — Если не пошевелишься с места, мы отворим дверь.

Дверь отворили.

— Перекрестись! — сказал голова, оглядываясь назад, как будто выбирая безопасное место в случае ретирады.

Свояченица перекрестилась.

— Кой черт! Точно, это свояченица!

— Какая нечистая сила затащила тебя, кума, в эту конуру?

И свояченица, всхлипывая, рассказала, как схватили ее хлопцы в охапку на улице и, несмотря на сопротивление, опустили в широкое окно хаты и заколотили ставнем. Писарь взглянул: петли у широкого ставня оторваны, и он приколотен только сверху деревянным брусом.

— Добро ты, одноглазый сатана! — вскричала она, приступив к голове, который попятился назад и все еще продолжал ее мерять своим глазом. — Я знаю твой умысел: ты хотел, ты рад был случаю сжечь меня, чтобы свободнее было волочиться за дивчатами, чтобы некому было видеть, как дурачится седой дед. Ты думаешь, я не знаю, о чем говорил ты сего вечера с Ганною? О! я знаю все. Меня трудно провести и не твоей бестолковой башке. Я долго терплю, но после не погневайся...

Сказавши это, она показала кулак и быстро ушла, оставив в ошолоблении голову. «Нет, тут не на шутку сатана вмешался», — думал он, сильно почесывая свою макушу.

— Поймали! — вскрикнули вошедшие в это время десятские.

— Кого поймали? — спросил голова.

— Дьявола в вывороченном тулупе.

— Подавайте его! — закричал голова, схватив за руки приведенного пленника. — Вы с ума сошли: да это пьяный Каленик!

— Что за пропасть! в руках наших был, пап голова! — отвечали десятские. — В переулке окружили проклятые хлопцы, стали танцевать, дергать, высывать языки, вырывать из рук... черт с вами!.. И как мы попали на эту ворону вместо его, бог один знает!

— Властью моею и всех мирян дается повеление, — сказал голова, — изловить сей же миг сего разбойника; а оным образом и всех, кого найдете на улице, и привести на расправу ко мне!..

— Помилуй, пан голова!— закричали некоторые, кланяясь в ноги.— Увидел бы ты, какие хари: убей бог нас, и родились и крестились — не видали таких мерзких рож. Долго ли до греха, пан голова, перепугают доброго человека так, что после ни одна баба не возьмется вылить переполоху.

— Дам я вам переполоху! Что вы? не хотите слушаться? Вы, верно, держите их руку! Вы бунтовщики? Что это?.. Да, что это?.. Вы заводите разбои!.. Вы... Я донесу комиссару! Сей же час! слышите, сей же час. Бегите, летите птицею! Чтоб я вас... Чтоб вы мне... Все разбежались.

## V

### УТОПЛЕННИЦА

Не беспокоясь ни о чем, не заботясь о разосланных погонях, виновник всей этой кутерьмы медленно подходил к старому дому и пруду. Не нужно, думаю, рассказывать, что это был Левко. Черный тулуп его был расстегнут. Шапку держал он в руке. Пот валил с него градом. Величественно и мрачно чернел кленовый лес, стоявший лицом к месяцу. Неподвижный пруд подул свежестью на усталого пешехода и заставил его отдохнуть на берегу. Все было тихо; в глубокой чаще леса слышались только раскаты соловья. Непреодолимый сон быстро стал смыкать ему зеницы; усталые члены готовы были забыться и онеметь; голова клонилась... «Нет, эдак я засну еще здесь!»— говорил он, подымаясь на ноги и протирая глаза. Оглянулся: ночь казалась перед ним еще блистательнее. Какое-то странное, упоительное сияние примешалось к блеску месяца. Никогда еще не случалось ему видеть подобного. Серебряный туман пал на окрестность. Запах от цветущих яблонь и ночных цветов лился по всей земле. С изумлением глядел он в неподвижные воды пруда: старинный господский дом, опрокинувшись вниз, виден был в нем чист и в каком-то ясном величии. Вместо мрачных ставней глядели веселые стеклянные окна и двери. Сквозь чистые стекла мелькала позолота. И вот почудилось,

будто окно отворилось. Притаивши дух, не дрогнув и не спуская глаз с пруда, он, казалось, переселился в глубину его и видит: наперед белый локоть выставился в окно, потом выглянула приветливая головка с блестящими очами, тихо светившими сквозь темно-русые волны волос, и оперлась на локоть. И видит: она качает слегка головою, она машет, она усмехается... Сердце его разом забилося... Вода задрожала, и окно закрылось снова. Тихо отошел он от пруда и взглянул на дом: мрачные ставни были открыты; стекла сияли при месяце. «Вот как мало нужно полагаться на людские толки, — подумал он про себя. — Дом новехонький; краски живы, как будто сегодня он выкрашен. Тут живет кто-нибудь», — и молча подошел он ближе, но все было в нем тихо. Сильно и звучно перекликались блистательные песни соловьев, и когда они, казалось, умирали в томлении и неге, слышался шелест и трещание кузнечиков или гудение болотной птицы, ударявшей скользким носом своим в широкое водное зеркало. Какую-то сладкую тишину и раздолье ощутил Левко в своем сердце. Настроив бандуру, заиграл он и запел:

Ой, ти, місяцю, мій місячську!  
І ти, зоре ясна!  
Ой, світить там по подвір'ї,  
Де дівчина красна.

Окно тихо отворилось, и та же самая головка, которой отражение видел он в пруде, выглянула, внимательно прислушиваясь к песне. Длинные ресницы ее были полуопущены на глаза. Вся она была бледна как полотно, как блеск месяца; но как чудна, как прекрасна! Она засмеялась... Левко вздрогнул.

— Спой мне, молодой козак, какую-нибудь песню! — тихо молвила она, наклонив свою голову набок и опустив совсем густые ресницы.

— Какую же тебе песню спеть, моя ясная панночка? Слезы тихо покатались по бледному лицу ее.

— Парубок, — говорила она, и что-то неизъяснимо-трогательное слышалось в ее речи. — Парубок, найди мне мою мачеху! Я ничего не пожалею для тебя. Я награжу тебя. Я тебя богато и роскошно награжу! У меня

есть зарукавья, шитые шелком, кораллы, ожерелья. Я подарю тебе пояс, унизанный жемчугом. У меня золото есть... Парубок, найди мне мою мачеху! Она страшная ведьма: мне не было от нее покою на белом свете. Она мучила меня, заставляла работать, как простую мужичку. Посмотри на лицо: она вывела румянец своими печистыми чарами с щек моих. Погляди на белую шею мою: они не смываются! они не смываются! они ни за что не смоются, эти синие пятна от железных когтей ее. Погляди на белые ноги мои: они много ходили; не по козрам только, по песку горячему, по земле сырой, по колючему терновнику они ходили; а на очи мои, посмотри на очи: они не глядят от слез... Найди ее, парубок, найди мне мою мачеху!..

Голос ее, который вдруг было возвысился, остановился. Ручьи слез покатались по бледному лицу. Какое-то тяжелое, полное жалости и грусти чувство сперлось в груди парубка.

— Я готов на все для тебя, моя панночка! — сказал он в сердечном волнении, — но как мне, где ее найти?

— Посмотри, посмотри! — быстро говорила она, — она здесь! она на берегу играет в хороводе между моими девушками и греется на месяце. Но она лукава и хитра. Она приняла на себя вид утопленницы; но я знаю, но я слышу, что она здесь. Мне тяжело, мне душно от ней. Я не могу чрез нее плавать легко и вольно, как рыба. Я тону и падаю на дно, как ключ. Отыщи ее, парубок!

Левко посмотрел на берег: в тонком серебряном тумане мелькали легкие, как будто тени, девушки в белых, как луг, убранный ландышами, рубашках; золотые ожерелья, монисты, дукаты блистали на их шеях; но они были бледны; тело их было как будто сваяно из прозрачных облак и будто светилось насквозь при серебряном месяце. Хоровод, играя, придвинулся к нему ближе. Послышались голоса.

— Давайте в вóрона, давайте играть в ворона! — зашумели все, будто приречный тростник, тронутый в тихий час сумерек воздушными устами ветра.

— Кому же быть вороном?

Кинули жребий — и одна девушка вышла из толпы.

Левко принялся разглядывать ее. Лицо, платье — все на ней такое же, как и на других. Заметно только было, что она неохотно играла эту роль. Толпа вытянулась вереницею и быстро перебегала от нападений хищного врага.

— Нет, я не хочу быть вороном! — сказала девушка, изнемогая от усталости. — Мне жалко отнимать цыпленков у бедной матери!

«Ты не ведьма!» — подумал Левко,

— Кто же будет вороном?

Девушки снова собирались кинуть жребий,

— Я буду вороном! — вызвалась одна из середины.

Левко стал пристально вглядываться в лицо ей. Скоро и смело гналась она за вереницею и кидалась во все стороны, чтобы изловить свою жертву. Тут Левко стал замечать, что тело ее не так светилось, как у прочих: внутри его виделось что-то черное. Вдруг раздался крик: ворон бросился на одну из вереницы, схватил ее, и Левку почудилось, будто у ней выпустились когти и на лице ее сверкнула злобная радость.

— Ведьма! — сказал он, вдруг указав на нее пальцем и оборотившись к дому.

Панночка засмеялась, и девушки с криком увели за собою представлявшую ворона.

— Чем наградить тебя, парубок? Я знаю, тебе не золото нужно: ты любишь Ганну; но суровый отец мешает тебе жениться на ней. Он теперь не помешает; возьми, отдай ему эту записку...

Белая ручка протянулась, лицо ее как-то чудно засветилось и засияло... С непостижимым трепетом и томительным биением сердца схватил он записку и... проснулся.

## VI

### ПРОБУЖДЕНИЕ

— Неужели это я спал? — сказал про себя Левко, вставая с небольшого пригорка. — Так живо, как будто наяву!.. Чудно, чудно! — повторил он, оглядываясь.

Месяц, остановившийся над его головою, показывал полночь; везде тишина; от пруда веял холод; над ним печально стоял ветхий дом с закрытыми ставнями; мох и дикий бурьян показывали, что давно из него удалились люди. Тут он разогнул свою руку, которая судорожно была сжата во все время сна, и вскрикнул от изумления, почувствовавши в ней записку. «Эх, если бы я знал грамоте!» — подумал он, оборачивая ее перед собою на все стороны. В это мгновение послышался позади его шум.

— Не бойтесь, прямо хватайте его! Чего трусились? нас десяток. Я держу заклад, что это человек, а не черт! — так кричал голова своим спутникам, и Левко почувствовал себя схваченным несколькими руками, из которых иные дрожали от страха. — Скидывай-ка, приятель, свою страшную личину! Полно тебе дурачить людей! — проговорил голова, ухватив его за ворот, и оторопел, выпучив на него глаз свой. — Левко, сын! — вскричал он, отступая от удивления и опуская руки. — Это ты, собачий сын! Вишь, бесовское рождение! Я думаю, какая это шельма, какой это вывороченный дьявол строит штуки! А это, выходит, все ты, невареный кисель твоему батьке в горло, изволишь заводить по улице разбой, сочиняешь песни!.. Эге-ге-ге, Левко! А что это? Видно, чешется у тебя спина! Вязать его!

— Постой, батько! велено тебе отдать эту записочку, — проговорил Левко.

— Не до записок теперь, голубчик! Вязать его!

— Постой, пан голова! — сказал писарь, развернув записку, — комиссарова рука!

— Комиссара?

— Комиссара? — повторили машинально десятские.

«Комиссара? Чудно! еще непонятнее!» — подумал про себя Левко.

— Читай, читай! — сказал голова, — что там пишет комиссар?

— Послушаем, что пишет комиссар! — произнес винокур, держа в зубах люльку и высекая огонь.

Писарь откашлялся и начал читать:

— «Приказ голове, Евтуху Макогоненку. Дошло до нас, что ты, старый дурак, вместо того чтобы собрать



прежние недоимки и вести на селе порядок, одурел и строишь пакости...»

— Вот, ей-богу! — прервал голова, — ничего не слышу!

Писарь начал снова:

— «Приказ голове, Евтуху Макогоненку. Дошло до нас, что ты, старый ду...»

— Стой, стой! не нужно! — закричал голова, — я хоть и не слышал, однако ж знаю, что главного тут дела еще нет. Читай далее!

— «А вследствие того, приказываю тебе сей же час женить твоего сына, Левка Макогоненка, на козачке из вашего же села, Ганне Петрыченковой, а также починить мосты по столбовой дороге и не давать обывательских лошадей без моего ведома судовым паничам, хотя бы они ехали прямо из казенной палаты. Если же, по приезде моем, найду оное приказание мое не приведенным в исполнение, то тебя одного потребую к ответу. Комиссар, отставной поручик Козьма Деркач-Дришпановский».

— Вот что! — сказал голова, разинувши рот. — Слышите ли вы, слышите ли: за все с головы спросят, и потому слушаться! беспрекословно слушаться! не то, прошу извинить... А тебя, — продолжал он, оборотясь к Левку, — вследствие приказания комиссара, — хотя чудно мне, как это дошло до него, — я женю; только наперед попробуешь ты нагайки! Знаешь — ту, что висит у меня на стене возле покута? Я поновлю ее завтра... Где ты взял эту записку?

Левко, несмотря на изумление, происшедшее от такого неожиданного оборота его дела, имел благоразумие приготовить в уме своем другой ответ и утаить настоящую истину, каким образом досталась записка.

— Я отлучался, — сказал он, — вчера ввечеру еще в город и встретил комиссара, вылезавшего из брички. Узнавши, что я из нашего села, дал он мне эту записку и велел на словах тебе сказать, батько, что заедет на возвратном пути к нам пообедать.

— Он это говорил?

— Говорил.

— Слышите ли?— говорил голова с важною осанкою, оборотившись к своим спутникам,— комиссар сам своею особою приедет к нашему брату, то есть ко мне, на обед. О!— Тут голова поднял палец вверх и голову привел в такое положение, как будто бы она прислушивалась к чему-нибудь.— Комиссар, слышите ли, комиссар приедет ко мне обедать! Как думаешь, пан писарь, и ты, сват, это не совсем пустая честь! Не правда ли?

— Еще, сколько могу припомнить,— подхватил писарь,— ни один голова не угощал комиссара обедом.

— Не всякий голова голове чета!— произнес с самодовольным видом голова. Рот его покривился, и что-то вроде тяжелого, хриплого смеха, похожего более на гудение отдаленного грома, зазвучало в его устах.— Как думаешь, пан писарь, нужно бы для именитого гостя дать приказ, чтобы с каждой хаты принесли хоть по цыпленку, ну, полотна, еще кое-чего... А?

— Нужно бы, нужно, пан голова!

— А когда же свадьбу, батько?— спросил Левко.

— Свадьбу? Дал бы я тебе свадьбу!.. Ну, да для именитого гостя... завтра вас поп и обвенчает. Черт с вами! Пусть комиссар увидит, что значит исправность! Ну, ребята, теперь спать! Ступайте по домам!.. Сегодняшний случай припомнил мне то время, когда я...— При сих словах голова пустил обыкновенный свой важный и значительный взгляд исподлобья.

— Ну, теперь пойдет голова рассказывать, как вез царьцу!— сказал Левко и быстрыми шагами и радостно спешил к знакомой хате, окруженной низенькими вишнями. «Дай тебе бог небесное царство, добрая и прекрасная панночка,— думал он про себя.— Пусть тебе на том свете вечно усмехается между ангелами святыми! Никому не расскажу про диво, случившееся в эту ночь; тебе одной только, Галю, передам его. Ты одна только поверишь мне и вместе со мною помолишься за упокой души несчастной утопленницы!»

Тут он приблизился к хате: окно было отперто; лучи месяца проходили чрез него и падали на спящую перед ним Ганну; голова ее оперлась на руку; щеки тихо го-

рели; губы шевелились, неясно произнося его имя. «Спи, моя красавица! Приснись тебе все, что есть лучшего на свете; но и то не будет лучше нашего пробуждения!» Перекрестив ее, закрыл он окошко и тихонько удалился. И чрез несколько минут все уже уснуло на селе; один только месяц так же блистательно и чудно плыл в необъятных пустынях роскошного украинского неба. Так же торжественно дышало в вышине, и ночь, божественная ночь, величественно догорала. Так же прекрасна была земля в дивном серебряном блеске; но уже никто не упивался ими: все погрузилось в сон. Изредка только перерывалось молчание лаем собак, и долго еще пьяный Каленик шатался по уснувшим улицам, отыскивая свою хату,

## ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА

*Быль, рассказанная дьячком \*\*\*ской церкви*

Так вы хотите, чтобы я вам еще рассказал про деда? Пожалуй, почему же не потешить прибауткой? Эх, старина, старина! Что за радость, что за разгулье падет на сердце, когда услышишь про то, что давно-давно, и года ему и месяца нет, деялось на свете! А как еще впутается какой-нибудь родич, дед или прадед, — ну, тогда и рукой махни: чтоб мне поперхнулось за акафистом великомученице Варваре, если не чудится, что вот-вот сам все это делаешь, как будто залез в прадедовскую душу или прадедовская душа шалит в тебе... Нет, мне пуще всего наши дивчата и молодницы; покажись только на глаза им: «Фома Григорьевич! Фома Григорьевич! *а нуте яку-небудь страховинну казочку! а нуте, нуте!..*» — тара-та-та, та-та-та, и пойдут, и пойдут... Рассказать-то, конечно, не жаль, да загляните-ка, что делается с ними в постеле. Ведь я знаю, что каждая дрожит под одеялом, как будто бьет ее лихорадка, и рада бы с головою влезть в тулуп свой. Царапин горшком крыса, сама как-нибудь задень ногою кочергу — и боже упаси! и душа в пятках. А на другой день ничего не бывало, навязывается сызнова: расскажи ей страшную сказку, да и только. Что ж бы такое рассказать вам? Вдруг не взбредет на ум... Да, расскажу я вам, как ведьмы играли с покойным дедом *в дурня*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> То ссть в дурачки. (Прим. Н. В. Гоголя.)

Только заране прошу вас, господа, не сбивайте с толку; а то такой кисель выйдет, что совестно будет и в рот взять. Покойный дед, надобно вам сказать, был не из простых в свое время козаков. Знал и твердо-он-то, и словотитлу поставить. В праздник отхватает апостола, бывало, так, что теперь и попович иной спрячется. Ну, сами знаете, что в тогдашние времена если собрать со всего Батурина грамотеев, то нечего и шапки подставлять,— в одну горсть можно было всех уложить. Стало быть, и дивиться нечего, когда всякий встречный кланялся ему мало не в пояс.

Один раз задумалось вельможному гетьману послать за чем-то к царице грамоту. Тогдашний полковой писарь,— вот нелегкая его возьми, и прозвища не вспомню... *Вискряк не Вискряк, Мотузочка не Мотузочка, Голопуцек не Голопуцек...* знаю только, что как-то чудно начинается мудреное прозвище,— позвал к себе деда и сказал ему, что, вот, наряжает его сам гетьман гонцом с грамотою к царице. Дед не любил долго собираться: грамоту зашил в шапку; вывел коня; чмокнул жену и двух своих, как сам он называл, поросенков, из которых один был родной отец хоть бы и нашего брата; и поднял такую за собою пыль, как будто бы пятнадцать хлопцев задумали посередине улицы играть в кашу. На другой день, еще петух не кричал в четвертый раз, дед уже был в Конотопе. На ту пору была там ярмарка: народу высыпало по улицам столько, что в глазах рябело. Но так как было рано, то все еще дремало, протянувшись на земле. Возле коровы лежал гуляка парубок с покрасневшим, как снегирь, носом; подале храпела, сидя, перекупка, с кремнями, синькою, дробью и бубликами; под телегою лежал цыган; на возу с рыбой — чумак; на самой дороге раскинул ноги бородач москаль с поясами и рукавицами... ну, всякого сброду, как водится по ярмаркам. Дед приостановился, чтобы разглядеть хорошенько. Между тем в ятках начало мало-помалу шевелиться: жидашки стали побрякивать фляжками; дым покатило то там, то сям кольцами, и запах горячих сластен понесся по всему табору. Деду вспало на ум, что у него нет ни огнива, ни табаку наготове: вот и пошел таскаться по ярмарке. Не успел

пройти двадцати шагов — навстречу запорожец. Гуляка, и по лицу видно! Красные, как жар, шаровары, синий жупан, яркий цветной пояс, при боку сабля и люлька с медною цепочкою по самые пяты — запорожец, да и только! Эх, народец! станет, вытянется, поведет рукою молодецкие усы, брякнет подковами и — пустится! Да ведь как пустится: ноги отплясывают, словно веретено в бабьих руках; что вихорь, дернет рукою по всем струнам бандуры и тут же, подпершись в боки, несется впрысядку; зальется песней — душа гуляет!.. Нет, прошло времечко: не увидеть больше запорожцев! Да, так встретились. Слово за слово, долго ли до знакомства? Пошли калякать, калякать так, что дед совсем уже было позабыл про путь свой. Попойка завелась, как на свадьбе перед постом великим. Только, видно, наконец, прискучило бить горшки и швырять в народ деньгами, да и ярмарке не век же стоять! Вот сговорились новые приятели, чтоб не разлучаться и путь держать вместе. Было давно под вечер, когда выехали они в поле. Солнце убралось на отдых; где-где горели вместо него красноватые полосы; по полю пестрели нивы, что праздничные плахты чернобровых молодиц. Нашего запорожца раздобар взял страшный. Дед и еще другой приплюснутый к ним гуляка подумали уже, не бес ли засел в него. Откуда что набиралось. Истории и при- сказки такие диговинные, что дед несколько раз хватался за бока и чуть не надсадил своего живота со смеху. Но в поле становилось, чем далее, тем сумрачнее; и вместе с тем становилась несвязнее и молодецкая молвь. Наконец рассказчик наш притих совсем и вздрагивал при малейшем шорохе.

— Ге-ге, земляк! да ты не на шутку принялся считать сов. Уж думаешь, как бы домой да на печь!

— Перед вами нечего таиться, — сказал он, вдруг оборотившись и неподвижно уставив на них глаза свои. — Знаете ли, что душа моя давно продана нечистому.

— Экая незидальщина! Кто на веку своем не знал с нечистым? Тут-то и нужно гулять, как говорится, на прах.

— Эх, хлопцы! гулял бы, да в ночь эту срок молод-

цу! Эй, братцы! — сказал он, хлопнув по рукам их, — эй, не выдайте! не поспите одной ночи, век не забуду вашей дружбы!

Почему ж не пособить человеку в таком горе? Дед объявил напрямик, что скорее даст он отрезать оселедец с собственной головы, чем допустит черта понюхать собачьей мордой своей христианской души.

Козаки наши ехали бы, может, и далее, если бы не обволокло всего неба ночью, словно черным рядном, и в поле не стало так же темно, как под овчинным тулупом. Издали только мерещился огонек, и кони, чуя близкое стойло, торопились, насторожа уши и вжавши очи во мрак. Огонек, казалось, несясь навстречу, и перед козаками показался шинок, повалившийся на одну сторону, словно баба на пути с веселых крестин. В те поры шинки были не то, что теперь. Доброму человеку не только развернуться, приударить горлицы или гопака, прилечь даже негде было, когда в голову заберется хмель и ноги начнут писать покой-он-по. Двор был уставлен весь чумацкими возами; под поветками, в яслях, в сенях, иной свернувшись, другой развернувшись, храпели, как коты. Шинкарь один перед каганцом нарезывал рубцами на палочке, сколько кварт и осьмух высушили чумацкие головы. Дед, спросивши треть ведра на троих, отправился в сарай. Все трое легли рядом. Только не успел он повернуться, как видит, что его земляки спят уже мертвецким сном. Разбудивши приставшего к ним третьего козака, дед напомнил ему про данное товарищу обещание. Тот привстал, протер глаза и снова уснул. Нечего делать, пришлось одному караулить. Чтобы чем-нибудь разогнать сон, осмотрел он возы все, проведаль коней, закурил люльку, пришел назад и сел опять около своих. Все было тихо, так что, кажись, ни одна муха не пролетела. Вот и чудится ему, что из-за соседнего воза что-то серое выказывает роги... Тут глаза его начали смыкаться так, что принужден он был ежеминутно протирать кулаком и промывать оставшиеся водкой. Но как скоро немного прояснились они, все пропадало. Наконец, мало погодя, опять показывается из-под воза чудище... Дед вытаращил глаза сколько мог; но проклятая дремота все туманила перед ним; ру-

ки его окостенели; голова скатилась, и крепкий сон схватил его так, что он повалился словно убитый. Долго спал дед, и как припекло порядочно уже солнце его выбритую макушу, тогда только схватился он на ноги. Потянувшись раза два и почесав спину, заметил он, что возов стояло уже не так много, как с вечера. Чумаки, видно, потянулись еще до света. К своим — козак спит, а запорожца нет. Выспрашивать — никто знать не знает; одна только верхняя свитка лежала на том месте. Страх и раздумье взяло деда. Пошел посмотреть коней — ни своего, ни запорожского! Что бы это значило? Положим, запорожца взяла нечистая сила; кто же коней? Сообразя все, дед заключил, что, верно, черт приходил пешком, а как до пекла не близко, то и стянул его коня. Больно ему было крепко, что не сдержал козацкого слова. «Ну, думает, нечего делать, пойду пешком: авось попадется на дороге какой-нибудь барышник, едущий с ярмарки, как-нибудь уже куплю коня». Только хватился за шапку — и шапки нет. Всплеснул руками покойный дед, как вспомнил, что вчера еще поменялись они на время с запорожцем. Кому больше утащить, как не нечистому. Вот тебе и гетьманский гонец! Вот тебе и привез грамоту к царице! Тут дед принялся угощать черта такими прозвищами, что, думаю, ему не один раз чихалось тогда в пекле. Но бранью мало пособишь; а затылка сколько ни чесал дед, никак не мог ничего придумать. Что делать? Кинулся достать чужого ума: собрал всех бывших тогда в шинке добрых людей, чумаков и просто заезжих, и рассказал, что так и так, такое-то приключилось горе. Чумаки долго думали, подперши батогами подбородки свои, крутили головами и сказали, что не слышали такого дива на крещеном свете, чтобы гетьманскую грамоту утащил черт. Другие же прибавили, что когда черт да москаль украдут что-нибудь, то поминай как и звали. Один только шинкарь сидел молча в углу. Дед и подступил к нему. Уж когда молчит человек, то, верно, зашиб много умом. Только шинкарь не так-то был щедр на слова; и если бы дед не полез в карман за пятью злотыми, то простоял бы перед ним даром.

— Я научу тебя, как найти грамоту, — сказал он,



отводя его в сторону. У деда и на сердце отлегло.— Я вижу уже по глазам, что ты козак — не баба. Смотри же! близко шинка будет поворот направо в лес. Только станет в поле примеркать, чтобы ты был уже наготове. В лесу живут цыганы и выходят из нор своих ковать железо в такую ночь, в какую одни ведьмы ездят на кочергах своих. Чем они промышляют на самом деле, знать тебе нечего. Много будет стуку по лесу, только ты не иди в те стороны, откуда заслышишь стук; а будет перед тобою малая дорожка, мимо обожженного дерева, дорожкой этою иди, иди, иди... Станет тебя терновник царапать, густой орешник заслонять дорогу — ты все иди; и как придешь к небольшой речке, тогда только можешь остановиться. Там и увидишь кого нужно; да не позабудь набрать в карманы того, для чего и карманы сделаны... Ты понимаешь, это добро и дьяволы и люди любят.— Сказавши это, шинкарь ушел в свою конуру и не хотел больше говорить ни слова.

Покойный дед был человек не то чтобы из трусливого десятка; бывало, встретит волка, так и хватает прямо за хвост; пройдет с кулаками промеж козаками — все, как груши, повалятся на землю. Однако ж что-то подирало его по коже, когда вступил он в такую глухую ночь в лес. Хоть бы звездочка на небе. Темно и глухо, как в винном подвале; только слышно было, что далеко-далеко вверх, над головою, холодный ветер гулял по верхушкам дерев, и деревья, что охмелевшие козацкие головы, разгульно покачивались, шепоча листьями пьяную молвь. Как вот завеяло таким холодом, что дед вспомнил и про овчинный тулуп свой, и вдруг словно сто молотов застучало по лесу таким стуком, что у него зазвенело в голове. И, будто зарницею, осветило на минуту весь лес. Дед тотчас увидел дорожку, пробирающуюся промеж мелкого кустарника. Вот и обожженное дерево, и кусты терновника! Так, все так, как было ему говорено; нет, не обманул шинкарь. Однако ж не совсем весело было продираться через колючие кусты; еще отроду не видывал он, чтобы проклятые шипы и сучья так больно царапались: почти на каждом шагу забирало его вскрикнуть. Мало-помалу выбрался он на простор-

ное место, и, сколько мог заметить, деревья редели и становились, чем далее, такие широкие, каких дед не видывал и по ту сторону Польши. Глядь, между деревьями мелькнула и речка, черная, словно вороненая сталь. Долго стоял дед у берега, посматривая на все стороны. На другом берегу горит огонь и, кажется, вот-вот готовится погаснуть, и снова отсвечивается в речке, вздрагивавшей, как польский шляхтич в козачьих лапах. Вот и мостик! «Ну, тут одна только чертовская таратайка разве проедет». Дед, однако ж, ступил смело и, скорее, чем бы иной успел достать рожок попухать табаку, был уже на другом берегу. Теперь только разглядел он, что возле огня сидели люди, и такие смазливые рожи, что в другое время бог знает чего бы не дал, лишь бы ускользнуть от этого знакомства. Но теперь, нечего делать, нужно было завязаться. Вот дед и отвесил им поклон мало не в пояс: «Помогай бог вам, добрые люди!» Хоть бы один кивнул головой; сидят да молчат, да что-то сыплют в огонь. Видя одно место незанятым, дед без всяких околичностей сел и сам. Смазливые рожи — ничего; ничего и дед. Долго сидели молча. Деду уже и прискучило; давай шарить в кармане, вынул люльку, посмотрел вокруг — ни один не глядит на него. «Уже, добродейство, будьте ласковы: как бы так, чтобы, примерно сказать, того... (дед жила в свете немало, знал уже, как подпускать турусы, и при случае, пожалуй, и пред царем не ударил бы лицом в грязь), чтобы, примерно сказать, и себя не забыть, да и вас не обидеть, — люлька-то у меня есть, да того, чем бы зажечь ее, *черт-ма*»<sup>1</sup>. И на эту речь хоть бы слово; только одна рожа сунула горячую головню прямехонько деду в лоб так, что если бы он немного не посторонился, то, статья может, распрощался бы навеки с одним глазом. Видя, наконец, что время даром проходит, решился — будет ли слушать нечистое племя, или нет — рассказать дело. Рожи и уши наставили и лапы протянули. Дед догадался: забрал в горсть все бывшие с ним деньги и кинул, словно собакам, им в

---

<sup>1</sup> Не имеется. (Прим. Н. В. Гоголя.)

середину. Как только кинул он деньги, все перед ним перемешалось, земля задрожала, и, как уже, оп и сам рассказать не умел, — попал чуть ли не в самое пекло. «Батюшки мои!» — ахнул дед, разглядевши хорошенько: что за чудища! рожи на роже, как говорится, не видно. Ведьм такая гибель, как случается иногда на рождество выпадет снегу: разряжены, размазаны, словно панночки на ярмарке. И все, сколько ни было их там, как хмельные, отплясывали какого-то чертовского тропака. Пыль подняли боже упаси какую! Дрожь бы проняла крещеного человека при одном виде, как высоко скакало бесовское племя. На деда, несмотря на весь страх, смех напал, когда увидел, как черти с собачьими мордами, на немецких ножках, вертя хвостами, увивались около ведьм, будто парни около красных девушек; а музыканты тузили себя в щеки кулаками, словно в бубны, и свистали носамп, как в валторны. Только завидели деда — и турнули к нему ордою. Свиные, собачьи, козлиные, дрофиные, лошадиные рыла — все повилягивались и вот так и лезут целоваться. Плюнул дед, такая мерзость напала! Наконец схватили его и посадили за стол длиною, может, с дорогу от Конотопа до Батурина. «Ну, это еще не совсем худо, — подумал дед, завидевши на столе свинину, колбасы, крошеный с капустой лук и много всяких сластей, — видно, дьявольская сволочь не держит постов». Дед-таки, не мешает вам знать, не упустил при случае перехватить того-сего на зубы. Едал, покойник, аппетитно; и потому, не пускаясь в рассказы, придвинул к себе миску с нарезанным салом и окорок ветчины, взял вилку, мало чем поменьше тех вил, которыми мужик берет сено, захватил ею самый увесистый кусок, поставил корку хлеба и — глядь, и отправил в чужой рот. Вот-вот, возле самых ушей, и слышно даже, как чья-то морда жует и щелкает зубами на весь стол. Дед ничего; схватил другой кусок и вот, кажись, и по губам зацепил, только опять не в свое горло. В третий раз — снова мимо. Взбеленился дед; позабыл и страх, и в чьих лапах находится он. Прискочил к ведьмам:

— Что вы, Иродово племя, задумали смеяться, что ли, надо мною? Если не отдадите сей же час

моей козацкой шапки, то будь я католик, когда не переверочу свиных рыл ваших на затылок!

Не успел он докончить последних слов, как все чудища выскалили зубы и подняли такой смех, что у деда на душе захолонуло.

— Ладно! — провизжала одна из ведьм, которую дед почел за старшую над всеми потому, что личина у ней была чуть ли не красивее всех. — Шапку отдадим тебе, только не прежде, пока сыграешь с нами три раза в *дурня!*

Что прикажешь делать? Козаку сесть с бабами в дурня! Дед отпираться, отпираться, наконец сел. Принесли карты, замасленные, какими только у нас поповны гадают про женихов.

— Слушай же! — залаяла ведьма в другой раз, — если хоть раз выиграешь — твоя шапка; когда же все три раза останешься дурнем, то не прогневайся — не только шапки, может и света более не увидишь!

— Сдавай, сдавай, хрычовка! что будет, то будет.

Вот и карты розданы. Взял дед свои в руки — смотреть не хочется, такая дрянь: хоть бы на смех один козырь. Из масти десятка самая старшая, пар даже нет; а ведьма все подваливает пятериками. Пришлось остаться дурнем! Только что дед успел остаться дурнем, как со всех сторон заржали, залаяли, захрюкали морды: «Дурень! дурень! дурень!»

— Чтоб вы перелопались, дьявольское племя! — закричал дед, затыкая пальцами себе уши.

«Ну, думает, ведьма подтасовала; теперь я сам буду сдавать». Сдал. Засветил козыря. Поглядел на карты: масть хоть куда, козыри есть. И сначала дело шло как нельзя лучше; только ведьма — пятерик с королями! У деда на руках одни козыри; не думая, не гадая долго, хватить королей по усам всех козырями.

— Ге-ге! да это не по-козацки! А чем ты кроешь, земляк?

— Как чем? козырями!

— Может быть, по-вашему, это и козыри, только, по-нашему, нет!

Глядь — в самом деле простая масть. Что за дьявольщина! Пришлось в другой раз быть дурнем, и

чертанье пошло снова драть горло: «Дурень, дурень!» — так, что стол дрожал и карты прыгали по столу. Дед разгорячился; сдал в последний. Опять идет ладно. Ведьма опять пятерик; дед покрыл и набрал из колоды полную руку козырей.

— Козырь! — вскричал он, ударив по столу картою так, что ее свернуло коробом; та, не говоря ни слова, покрыла восьмеркою масти.

— А чем ты, старый дьявол, бьешь!

Ведьма подняла карту: под нею была простая шестерка.

— Вишь, бесовское обморочиванье! — сказал дед и с досады хватил кулаком что силы по столу.

К счастью еще, что у ведьмы была плохая масть; у деда, как нарочно, на ту пору пары. Стал набирать карты из колоды, только мочи нет: дрянь такая лезет, что дед и руки опустил. В колоде ни одной карты. Пошел уже так, не глядя, простою шестеркою; ведьма приняла. «Вот тебе на! это что? Э-э, верно, что-нибудь да не так!» Вот дед карты потихоньку под стол — и перекрестил; глядь — у него на руках туз, король, валет козырей; а он вместо шестерки спустил кралою.

— Ну, дурень же я был! Король козырей! Что! приняла? а? Кошачье отродье!.. А туза не хочешь? Туз! валет!..

Гром пошел по пеклу, на ведьму напали корчи, и откуда ни возмись шапка — бух деду прямехонько в лицо.

— Нет, этого мало! — закричал дед, прихрабвившись и надев шапку. — Если сейчас не станет передо мною молодецкий конь мой, то вот убей меня гром на этом самом нечистом месте, когда я не перекрещу святым крестом всех вас! — и уже было и руку поднял, как вдруг загремели перед ним конские кости.

— Вот тебе конь твой!

Заплакал бедняга, глядя на них, как дитя неразумное. Жаль старого товарища!

— Дайте ж мне какого-нибудь коня, выбратся из гнезда вашего!

Черт хлопнул арапником — конь, как огонь, взвился под ним, и дед, что птица, вынесся наверх.

Страх, однако ж, напал на него посередине дороги, когда конь, не слушаясь ни крику, ни поводов, скакал через провалы и болота. В каких местах он не был, так дрожь забирала при одних рассказах. Глянул как-то себе под ноги — и пуще перепугался: пропасть! крутизна страшная! А сатанинскому животному и нужды нет: прямо через нее. Дед держаться: не тут-то было. Через пни, через кочки полетел стремглав в провал и так хватился на дне его о землю, что, кажись, и дух вышибло. По крайней мере, что дейлось с ним в то время, ничего не помнил; и как очнулся немного и осмотрелся, то уже рассвело совсем; перед ним мелькали знакомые места, и он лежал на крыше своей же хаты.

Перекрестился дед, когда слез долой. Экая чертовщина! что за пропасть, какие с человеком чудеса делаются! Глядь на руки — все в крови; посмотрел в стоявшую торчмя бочку с водою — и лицо также. Обмылись хорошенько, чтобы не испугать детей, входит он потихоньку в хату; смотрит: дети пятятся к нему задом и в испуге указывают ему пальцами, говоря: «Дывись, дывись, маты, мов дурна, скаче!»<sup>1</sup> И в самом деле, баба сидит, заснувши перед гребнем, держит в руках веретено и, сонная, подпрыгивает на лавке. Дед, взявши за руку потихоньку, разбудил ее: «Здравствуй, жена! здорова ли ты?» Та долго смотрела, выпуча глаза, и, наконец, уже узнала деда и рассказала, как ей снилось, что печь ездил по хате, выгоняя вон лопатою горшки, лоханки, и черт знает что еще такое. «Ну,— говорит дед,— тебе во сне, мне наяву. Нужно, вижу, будет освятить нашу хату; мне же теперь мешкать нечего». Сказавши это и отдохнувши немного, дед достал коня и уже не останавливался ни днем, ни ночью, пока не доехал до места и не отдал грамоты самой царице. Там нагляделся дед таких див, что стало ему надолго после того рассказывать: как повели его в палаты, такие высокие, что если бы хат десять поставить одну на другую, и тогда, может быть, не достало бы. Как заглянул он в одну комнату — нет; в другую — нет; в третью —

---

<sup>1</sup> Смотри, смотри, мать, как сумасшедшая, скачет! (Прим. Н. В. Гоголя.)

еще нет; в четвертой даже нет; да в пятой уже, глядь — сидит сама, в золотой короне, в серой новехонькой свитке, в красных сапогах, и золотые галушки ест. Как велела ему насыпать целую шапку *синицами*, как... всего и вспомнить нельзя. Об возне своей с чертями дед и думать позабыл, и если случалось, что кто-нибудь и напоминал об этом, то дед молчал, как будто не до него и дело шло, и великого стоило труда упросить его пересказать все, как было. И, видно, уже в наказание, что не спохватился тотчас после того освятить хату, бабе ровно через каждый год, и именно в то самое время, делалось такое диво, что танцуется, бывало, да и только. За что ни примется, ноги затевают свое, и вот так и дергает пуститься вприсядку.

# Часть вторая

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Вот вам и другая книжка, а лучше сказать, последняя! Не хотелось, крепко не хотелось выдавать и этой. Право, пора знать честь. Я вам скажу, что на хуторе уже начинают смеяться надо мною: «Вот, говорят, одурел старый дед: на старости лет тешится ребяческими игрушками!» И точно, давно пора на покой. Вы, любезные читатели, верно, думаете, что я прикидываюсь только стариком. Куда тут прикидываться, когда во рту совсем зубов нет! Теперь если что мягкое попадется, то буду как-нибудь жевать, а твердое — то ни за что не откушу. Так вот вам опять книжка! Не бранитесь только! Нехорошо браниться на прощанье, особенно с тем, с кем, бог знает, скоро ли увидите. В этой книжке услышите рассказчиков все почти для вас неизвестных, исключая только разве Фомы Григорьевича. А того горохового панича, что рассказывал таким вычурным языком, которого много остряков и из московского народу не могло понять, уже давно нет. После того, как рассорился со всеми, он и не заглядывал к нам. Да, я вам не рассказывал этого случая? Послушайте, тут прекомедия была! Прошлый год, так как-то около лета, да чуть ли не на самый день моего патрона, приехали ко мне в гости (нужно вам сказать, любезные читатели, что земляки мои, дай бог им здоровье, не забывают старика. Уже есть пятидесятый год, как я зачал помнить свои именины. Который же точно мне год, этого



ни я, ни старуха моя вам не скажем. Должно быть, близ семидесяти. Диканьский-то поп, отец Харлампий, знал, когда я родился; да жаль, что уже пятьдесят лет как его нет на свете). Вот приехали ко мне гости: Захар Кирилович Чухопупенко, Степан Иванович Курочка, Тарас Иванович Смачненький, заседатель Харлампий Кирилович Хлоста; приехал еще... вот позыбыл, право, имя и фамилию... Осип... Осип... Боже мой, его знает весь Миргород! он еще когда говорит, то всегда щелкнет наперед пальцем и подопрется в боки... Ну, бог с ним! в другое время вспомню. Приехал и знакомый вам панич из Полтавы. Фомы Григорьевича я не считаю: то уже свой человек. Разговорились все (опять нужно вам заметить, что у нас никогда о пустяках не бывает разговора. Я всегда люблю приличные разговоры; чтобы, как говорят, вместе и услаждение и назидательность была), разговорились об том, как нужно солить яблоки. Старуха моя начала было говорить, что нужно наперед хорошенько вымыть яблоки, потом намочить в квасу, а потом уже... «Ничего из этого не будет!—подхватил полтавец, заложивши руку в гороховый кафтан свой и прошедши важным шагом по комнате,—ничего не будет! Прежде всего нужно пересыпать канупером, а потом уже...» Ну, я на вас ссылаюсь, любезные читатели, скажите по совести, слышали ли вы когда-нибудь, чтобы яблоки пересыпали канупером? Правда, кладут смородинный лист, нечуй-ветер, трилистник; но чтобы клали канупер... нет, я не слыхивал об этом. Уже, кажется, лучше моей старухи никто не знает про эти дела. Ну, говорите же вы! Нарочно, как доброго человека, отвел я его потихоньку в сторону: «Слушай, Макар Назарович, эй, не смеси народ! Ты человек немаловажный: сам, как говоришь, обедал раз с губернатором за одним столом. Ну, скажешь что-нибудь подобное там, ведь тебя же осмеют все!» Что ж бы, вы думали, он сказал на это? Ничего! плюнул на пол, взял шапку и вышел. Хоть бы простился с кем, хоть бы кивнул кому головою; только слышали мы, как подъехала к воротам тележка с звонком; сел и уехал. И лучше! Не пужно нам таких гостей! Я вам скажу, любезные читатели, что хуже нет ничего на свете, как эта знать.

Что его дядя был когда-то комиссаром, так и нос несет вверх. Да будто комиссар такой уже чин, что выше нет его на свете? Слава богу, есть и больше комиссара. Нет, не люблю я этой знати. Вот вам в пример Фома Григорьевич; кажется, и не знатный человек, а посмотреть на него: в лице какая-то важность сияет, даже когда станет нюхать обыкновенный табак, и тогда чувствуешь невольное почтение. В церкви когда запоет на крылосе — умиление неизобразимое! растаял бы, казалось, весь!.. А тот... ну, бог с ним! он думает, что без его сказок и обойтись нельзя. Вот все же таки набралась книжка.

Я, помнится, обещал вам, что в этой книжке будет и моя сказка. И точно, хотел было это сделать, но увидел, что для сказки моей нужно по крайней мере три таких книжки. Думал было особо напечатать ее, но передумал. Ведь я знаю вас: станете смеяться над стариком. Нет, не хочу! Прощайте! Долго, а может быть совсем, не увидимся. Да что? ведь вам все равно, хоть бы и не было совсем меня на свете. Пройдет год, другой — и из вас никто после не вспомнит и не пожалеет о старом пасичнике Рудом Паньке.

В этой книжке есть много слов, не всякому понятных. Здесь они почти все означены:

Башта́н,	место, засеянное арбузами и дынями.
Бу́блик,	круглый крендель, баранчик.
Варе́нуха,	вареная водка с пряностями.
Видло́га,	откидная шапка из сукна, пришитая к кобеняку.
Выкрута́сы,	трудные па.
Галу́шки,	клецки.
Гама́н,	род бумажника, где держат огниво, кремь, губку, табак, а иногда и деньги.
Голодная кутя́,	сочельник.
Го́рлица,	танец.
Греча́ник,	хлеб из гречневой муки.
Дивчи́на,	девушка.
Дивча́та,	девушки.

Дукáт,	род медали, носимой на шее женщи- нами.
Жѣнка,	жена.
Запáска,	род шерстяного передника у женщин.
Каву́н,	арбуз.
Кагане́ц,	светильня, состоящая из разбитого че- репка, наполненного салом.
Кану́пер,	травá.
Каца́п,	русский человек с бородою.
Книш,	спеченный из пшеничной муки хлеб, обыкновенно едомый горячим с маслом.
Кобеня́к,	род суконного плаща с пришитою назади видлогою.
Кожу́х,	тулуп.
Комо́ра,	амбар.
Кора́блик,	старинный головной убор.
Корж,	сухая лепешка из пшеничной муки, часто с салом.
Куре́нь,	соломенный шалаш.
Ку́хва,	род кадки; похожая на опрокинутую дном кверху бочку.
Ку́холь,	глиняная кружка.
Лева́да,	усадьба.
Лю́лька,	трубка.
Нами́тка,	белое покрывало из жидкого полот- на, носимое на голове женщинами, с откинутыми назад концами.
Нечу́й-ветер,	травá.
Паляни́ца,	небольшой хлеб, несколько плоский.
Па́рубок,	парень.
Пейсики,	жидовские локоны.
Пе́кло,	ад.
Перепо́лох,	испуг. Выливать перепо́лох — лечить испуг.
Петровы бато́ги,	травá.
Пла́хта,	нижняя одежда женщин из шерстя- ной клетчатой материи.
Пѣвкопы,	двадцать пять копеек.
Пи́щик,	пищалка, дудка, небольшая свирель.
По́кут,	место под образами.
Полутабе́нек,	старинная шелковая материя.

Свѣтка,	род полукафтання.
Скрыня,	большой сундук.
Смалец,	бараний жир.
Сопѣлка,	свирель.
Сукня,	старинная одежда женщин из сукна.
Сыровѣц,	хлебный квас.
Тесная баба,	игра, в которую играют школьники в классе: жмутся тесно на скамье, покамест одна половина не вытеснит другую.
Хлѣпец,	мальчик.
Хустка,	платок носовой.
Цибѣля,	лук.
Черевѣки,	башмаки.
Чумаки,	малороссияне, едущие за солью и рыбою, обыкновенно в Крым.
Швец,	сапожник.
Шибеник,	висельник.

## НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

Последний день перед рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа <sup>1</sup>. Морозило сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат; месяц один только заглядывал в них украдкой, как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрипучий снег. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучею по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле.

Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей, в шапке с ба-

---

<sup>1</sup> Колядовать у нас называется петь под окнами накануне рождества песни, которые называются колядками. Тому, кто колядует, всегда кинет в мешок хозяйка, или хозяин, или кто остается дома колбасу, или хлеб, или медный грош, чем кто богат. Говорят, что был когда-то болван Коляда, которого принимали за бога, и что будто от того пошли и колядки. Кто его знает? Не нам, простым людям, об этом толковать. Прошлый год отец Осип запретил было колядовать по хуторам, говоря, что будто сим народ угрождает сатане. Однако ж если сказать правду, то в колядках и слова нет про Коляду. Поют часто про рождество Христа; а при конце желают здоровья хозяину, хозяйке, детям и всему дому.

*Замечание пасичника. (Прим. Н. В. Гоголя.)*

рашковым околышком, сделанной по манеру уланскому, в синем тулупе, подбитом черными смушками, с дьявольски сплетенною плетью, которою имеет он обыкновение подгонять своего ямщика, то он бы, верно, приметил ее, потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Он знает наперечет, сколько у каждой бабы свинья мечет поросят, и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный день в шинке. Но сорочинский заседатель не проезжал, да и какое ему дело до чужих, у него своя волость. А ведьма между тем поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверх. Но где ни показывалось пятнышко, там звезды, одна за другою, пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре еще блестили. Вдруг, с противной стороны, показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукий, хотя бы надел на нос вместо очков колеса с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди совершенно немец:<sup>1</sup> узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пяточком, ноги были так тонки, что если бы такие имел яресковский голова, то он переломал бы их в первом козачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды; только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто черт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же, с первыми колоколами к заутрене, побежит он без оглядки, поджавши хвост, в свою берлогу.

---

<sup>1</sup> Немцем называют у нас всякого, кто только из чужой земли, хоть будь он француз, или цесарец, или швед — все немец. (Прим. Н. В. Гоголя.).

Между тем черт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку, схватить его, но вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, и снова отскочил и отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки; наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывал, побежал далее.

В Диканьке никто не слышал, как черт украл месяц. Правда, волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего ни с того танцевал на небе, и уверял с божбою в том все село; но миряне качали головами и даже подымали его на смех. Но какая же была причина решиться черту на такое беззаконное дело? А вот какая: он знал, что богатый козак Чуб приглашен дьяком на кутю, где будут: голова; приехавший из архиерейской певческой родич дьяка в синем сюртуке, бравший самого низкого баса; козак Свербыгуз и еще кое-кто; где, кроме кутьи, будет варенуха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома, а к дочке, наверное, придет кузнец, силач и детина хоть куда, который черту был противнее проповедей отца Кондрата. В досужее от дел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Сам еще тогда здравствовавший сотник Л...ко вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. Все миски, из которых диканьские козаки хлебали борщ, были размалеваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых: и теперь еще можно найти в Т... церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на стене церковной в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день страшного суда, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа; испуганный черт метался во все стороны, предчувствуя свою гибель, а заключенные прежде грешники били и го-

няли его кнутами, поленами и всем чем ни попало. В то время, когда живописец трудился над этою картиною и писал ее на большой деревянной доске, черт всеми силами старался мешать ему: толкал невидимо под руку, подымал из горнила в кузнице золу и обсыпал ею картину; но, несмотря на все, работа была кончена, доска внесена в церковь и вделана в стену притвора, и с той поры черт поклялся мстить кузнецу.

Одна только ночь оставалась ему шататься на белом свете; но и в эту ночь он выискивал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И для этого решился украсть месяц, в той надежде, что старый Чуб ленив и не легок на подъем, к дьяку же от избы не так близко: дорога шла по-за селом, мимо мельниц, мимо кладбища, огибала овраг. Еще при месячной ночи варенуха и водка, настоящая на шафран, могла бы заманить Чуба, но в такую темноту вряд ли бы удалось кому стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважится идти к дочке, несмотря на свою силу.

Таким-то образом, как только черт спрятал в карман свой месяц, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашел дорогу к шишку, не только к дьяку. Ведьма, увидевши себя вдруг в темноте, вскрикнула. Тут черт, подъехавши мелким бесом, подхватил ее под руку и пустился нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно нашептывают всему женскому роду. Чудно устроено на нашем свете! Все, что ни живет в нем, все силится перенимать и передразнивать один другого. Прежде, бывало, в Миргороде один судья да городничий хаживали зимою в крытых сукном тулупах, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные; теперь же и заседатель и подкоморий отсмалили себе новые шубы из решетиловских смушек с суконною покрышкою. Канцелярист и волостной писарь третьего году взяли синей китайки по шести гривен аршин. Пономарь сделал себе нанковые на лето шаровары и жилет из полосатого гаруса. Словом, все лезет в люди! Когда эти люди не будут суетны! Можно побиться об заклад, что многим покажется удивительно видеть черта, пустившегося и себе туда же. Досаднее всего то,



что он, верно, воображает себя красавцем, между тем как фигура — взглянуть совестно. Рожа, как говорит Фома Григорьевич, мерзость мерзостью, однако ж и он строит любовные куры! Но на небе и под небом так сделалось темно, что ничего нельзя уже было видеть, что происходило далее между ними.

— Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой хате? — говорил козак Чуб, выходя из дверей своей избы, сухощавому, высокому, в коротком тулупе, мужику с обросшею бородою, показывавшею, что уже более двух недель не прикасался к ней обломок косы, которым обыкновенно мужики бреют свою бороду за неимением бритвы. — Там теперь будет добрая попойка! — продолжал Чуб, ослабив при этом свое лицо. — Как бы только нам не опоздать.

При сем Чуб поправил свой пояс, перехватывавший плотно его тулуп, нахлобучил крепче свою шапку, стиснул в руке кнут — страх и грозу докучливых собак; но, взглянув вверх, остановился...

— Что за дьявол! Смотри! смотри, Панас!..

— Что? — произнес кум и поднял свою голову также вверх.

— Как что? месяца нет!

— Что за пропасть! В самом деле нет месяца.

— То-то что нет, — выговорил Чуб с некоторою досадою на неизменное равнодушие кума. — Тебе небось и нужды нет.

— А что мне делать!

— Надобно же было, — продолжал Чуб, утирая рукавом усы, — какому-то дьяволу, чтоб ему не довелось, собаке, поутру рюмки водки выпить, вмешаться!.. Право, как будто на смех... Нарочно, сидевши в хате, глядел в окно: ночь — чудо! Светло, снег блещет при месяце. Все было видно, как днем. Не успел выйти за дверь — и вот, хоть глаз выколи!

Чуб долго еще ворчал и бранился, а между тем в то же время раздумывал, на что бы решиться. Ему до смерти хотелось покалякать о всяком вздоре у дьяка, где, без всякого сомнения, сидел уже и голова, и приез-

жий бас, и дегтярь Микита, ездивший через каждые две недели в Полтаву на торги и отпускавший такие шутки, что все миряне брались за животы со смеху. Уже видел Чуб мысленно стоявшую на столе варенуху. Все это было заманчиво, правда; но темнота ночи напомнила ему о той лени, которая так мила всем козакам. Как бы хорошо теперь лежать, поджавши под себя ноги, на лежанке, курить спокойно люльку и слушать сквозь упительную дремоту колядки и песни веселых парубков и девушек, толпящихся кучами под окнами. Он бы, без всякого сомнения, решился на последнее, если бы был один, но теперь обоим не так скучно и страшно идти темною ночью, да и не хотелось-таки показаться перед другими ленивым или трусливым. Окончивши побранки, обратился он снова к куму:

— Так нет, кум, месяца?

— Нет.

— Чудно, право! А дай понюхать табаку. У тебя, кум, славный табак! Где ты берешь его?

— Кой черт, славный! — отвечал кум, закрывая безрезовую тавлинку, исколотую узорами. — Старая курица не чихнет!

— Я помню, — продолжал все так же Чуб, — мне покойный шинкарь Зузуля раз привез табаку из Нежина. Эх, табак был! добрый табак был! Так что же, кум, как нам быть? ведь темно на дворе.

— Так, пожалуй, останемся дома, — произнес кум, ухватясь за ручку двери.

Если бы кум не сказал этого, то Чуб, верно бы, решился остаться, но теперь его как будто что-то дергало идти наперекор.

— Нет, кум, пойдем! нельзя, нужно идти!

Сказавши это, он уже и досадовал на себя, что сказал. Ему было очень неприятно тащиться в такую ночь; но его утешало то, что он сам нарочно этого захотел и сделал-таки не так, как ему советовали.

Кум, не выразив на лице своем ни малейшего движения досады, как человек, которому решительно все равно, сидеть ли дома, или тащиться из дому, обсмотрелся, почесал палочкой батога свои плечи, и два кума отправились в дорогу.

Теперь посмотрим, что делает, оставшись одна, красавица дочка. Оксане не минуло еще и семнадцати лет, как во всем почти свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки, только и речей было, что про нее. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было еще никогда и не будет никогда на селе. Оксана знала и слышала все, что про нее говорили, и была капризна, как красавица. Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то разогнала бы всех своих девок. Парубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли мало-помалу и обращались к другим, не так избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, как с другими.

По выходе отца своего она долго еще принаряживалась и жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою. «Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша?— говорила она, как бы рассеянно, для того только, чтобы об чем-нибудь поболтать с собою.— Лгут люди, я совсем не хороша». Но мелькнувшее в зеркале свежее, живое в детской юности лицо с блестящими черными очами и невыразимо приятной усмешкой, прожигавшей душу, вдруг доказало противное. «Разве черные брови и очи мои,— продолжала красавица, не выпуская зеркала,— так хороши, что уже равных им нет и на свете? Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе? и в щеках? и в губах? Будто хороши мои черные косы? Ух! их можно испугаться вечером: они, как длинные змеи, перевилились и обвились вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша!— И, отдвигая несколько подалее от себя зеркало, вскрикнула:— Нет, хороша я! Ах, как хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, кого буду женою! Как будет любоваться мною мой муж! Он не вспомнит себя. Он зацелует меня насмерть».

— Чудная девка!— прошептал вошедший тихо кузнец,— и хвастовства у нее мало! С час стоит, глядясь в зеркало, и не наглядится, и еще хвалит себя вслух!

«Да, парубки, вам ли чета я? вы поглядите на меня, — продолжала хорошенькая кокетка, — как я плавно выступаю; у меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты на голове! Вам век не увидеть богаче галуна! Все это накупил мне отец мой для того, чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете!» И, усмехнувшись, поворотилась она в другую сторону и увидела кузнеца...

Вскрикнула и сурово остановилась перед ним.

Кузнец и руки опустил.

Трудно рассказать, что выражало смугловатое лицо чудной девушки: и суровость в нем была видна, и сквозь суровость какая-то издевка над смутившимся кузнецом, и едва заметная краска досады тонко разливалась по лицу; и все это так смешалось и так было неизобразимо хорошо, что расцеловать ее миллион раз — вот все, что можно было сделать тогда наилучшего.

— Зачем ты пришел сюда? — так начала говорить Оксана. — Разве хочется, чтобы выгнала за дверь лопатою? Вы все мастера подъезжать к нам. Вмиг пронохаете, когда отцов нет дома. О, я знаю вас! Что, сундук мой готов?

— Будет готов, мое серденько, после праздника будет готов. Если бы ты знала, сколько возился около него: две ночи не выходил из кузницы; зато ни у одной поповны не будет такого сундука. Железо на оковку положил такое, какого не клал на сотникову таратайку, когда ходил на работу в Полтаву. А как будет расписан! Хоть весь околоток выходи своими беленькими ножками, не найдешь такого! По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Не сердись же на меня! Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя!

— Кто ж тебе запрещает, говори и гляди!

Тут села она на лавку и снова взглянула в зеркало и стала поправлять на голове свои косы. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шелком, и тонкое чувство самодовольствия выразилось на устах, на свежих ланитах и осветилось в очах.

— Позволь и мне сесть возле тебя! — сказал кузнец.

— Садись, — проговорила Оксана, сохраняя в устах и в довольных очах то же самое чувство.

— Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя! — произнес ободренный кузнец и прижал ее к себе, в намерении схватить поцелуй. Но Оксана отклонила свои щеки, находившиеся уже на неприметном расстоянии от губ кузнеца, и оттолкнула его.

— Чего тебе еще хочется? Ему когда мед, так и ложка нужна! Поди прочь, у тебя руки жестче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня всю обмарал сажею.

Тут она поднесла зеркало и снова начала перед ним охорашиваться.

«Не любит она меня, — думал про себя, повеся голову, кузнец. — Ей всё игрушки; а я стою перед нею как дурак и очей не свожу с нее. И все бы стоял перед нею, и век бы не сводил с нее очей! Чудная девка! чего бы я не дал, чтобы узнать, что у нее на сердце, кого она любит! Но нет, ей и нужды нет ни до кого. Она любит сама собою; мучит меня, бедного; а я за грустью не вижу света; а я ее так люблю, как ни один человек на свете не любил и не будет никогда любить».

— Правда ли, что твоя мать ведьма? — произнесла Оксана и засмеялась; и кузнец почувствовал, что внутри его все засмеялось. Смех этот как будто разом отозвался в сердце и в тихо вострепнувших жилах, и со всем тем досада запала в его душу, что он не во власти расцеловать так приятно засмеявшееся лицо.

— Что мне до матери? ты у меня мать, и отец, и все, что ни есть дорогого на свете. Если б меня призвал царь и сказал: «Кузнец Вакула, проси у меня всего, что ни есть лучшего в моем царстве, все отдам тебе. Прикажу тебе сделать золотую кузницу, и станешь ты ковать серебряными молотами». — «Не хочу, — сказал бы я царю, — ни каменьев дорогих, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства: дай мне лучше мою Оксану!»

— Видишь, какой ты! Только отец мой сам не промах. Увидишь, когда он не женится на твоей матери, — проговорила, лукаво усмехнувшись, Оксана. — Однако ж дивчата не приходят... Что б это значило? Давно уже пора колядовать. Мне становится скучно.

— Бог с ними, моя красавица!

— Как бы не так! с ними, верно, придут парубки. Тут-то пойдут балы. Воображаю, каких наговорят смешных историй!

— Так тебе весело с ними?

— Да уж веселее, чем с тобою. А! кто-то стукнул; верно, дивчата с парубками.

«Чего мне больше ждать?— говорил сам с собою кузнец.— Она издевается надо мною. Ей я столько же дорог, как перержавевшая подкова. Но если ж так, не достанется по крайней мере другому посмеяться надо мною. Пусть только я наверное замечу, кто ей нравится более моего; я отучу...»

Стук в двери и резко зазвучавший на морозе голос: «Отвори!» — прервал его размышления.

— Постой, я сам отворю, — сказал кузнец и вышел в сени, в намерении отломать с досады бока первому попавшемуся человеку.

Мороз увеличился, и вверху так сделалось холодно, что черт перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая сколько-нибудь отогреть мерзнувшие руки. Не мудрено, однако ж, и смерзнуть тому, кто толкался от утра до утра в аду, где, как известно, не так холодно, как у нас зимою, и где, надевши колпак и ставши перед очагом, будто в самом деле кухмистр, поджаривал он грешников с таким удовольствием, с каким обыкновенно баба жарит на рождество колбасу.

Ведьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то что была тепло одета; и потому, поднявши руки кверху, отставила ногу и, приведши себя в такое положение, как человек, летящий на коньках, не сдвинувшись ни одним суставом, спустилась по воздуху, будто по ледяной покато́й горе, и прямо в трубу.

Черт таким же порядком отправился вслед за нею. Но так как это животное проворнее всякого франта в чулках, то не мудрено, что он наехал при самом входе в трубу на шею своей любовницы, и оба очутились в просторной печке между горшками.

Путешественница отодвинула потихоньку заслонку,

поглядеть, не назвал ли сын ее Вакула в хату гостей, но, увидевши, что никого не было, выключая только мешки, которые лежали посередине хаты, вылезла из печки, скинула теплый кожух, оправилась, и никто бы не мог узнать, что она за минуту назад ездила на метле.

Мать кузнеца Вакулы имела от роду не больше сорока лет. Она была ни хороша, ни дурна собою. Трудно и быть хорошею в такие года. Однако ж она так умела причаровать к себе самых степенных козаков (которым, не мешая между прочим заметить, мало было нужды до красоты), что к ней хаживал и голова, и дьяк Осип Никифорович (конечно, если дьячихи не было дома), и козак Корний Чуб, и козак Касьян Свербыгуз. И, к чести ее сказать, она умела искусно обходиться с ними. Ни одному из них и в ум не приходило, что у него есть соперник. Шел ли набожный мужик, или дворянин, как называют себя козаки, одетый в кобеняк с видлогою, в воскресенье в церковь или, если дурная погода, в шинок, — как не зайти к Солохе, не поесть жирных с сметаною вареников и не поболтать в теплой избе с говорливой и угодливой хозяйкой. И дворянин нарочно для этого давал большой крюк, прежде чем достигал шинка, и называл это — заходить по дороге. А пойдет ли, бывало, Солоха в праздник в церковь, надевши яркую плахту с китайчатою запаскою, а сверх ее синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станет прямо близ правого крылоса, то дьяк уже верно закашливался и прищуривал невольно в ту сторону глаза; голова гладил усы, заматывал за ухо оселедец и говорил стоявшему близ его соседу: «Эх, добрая баба! черт-баба!»

Солоха кланялась каждому, и каждый думал, что она кланяется ему одному. Но охотник мешаться в чужие дела тотчас бы заметил, что Солоха была приветливее всего с козаком Чубом. Чуб был вдов. Восемь скирд хлеба всегда стояли перед его хатою. Две пары дюжих волов всякий раз высывали свои головы из плетеного сарая на улицу и мычали, когда завидывали шедшую куму — корову, или дядю — толстого быка. Бородатый козел взбирался на самую крышу и дребезжал оттуда резким голосом, как городничий, дразня

выступавших по двору индеек и оборачиваясь задом, когда завидывал своих неприятелей, мальчишек, издевавшихся над его бородою. В сундуках у Чуба водилось много полотна, жупанов и старинных кунтушей с золотыми галунами: покойная жена его была щеголиха. В огороде, кроме маку, капусты, подсолнечников, засевалось еще каждый год две нивы табаку. Все это Солоха находила не лишним присоединить к своему хозяйству, заранее размышляя о том, какой оно примет порядок, когда перейдет в ее руки, и удваивала благосклонность к старому Чубу. А чтобы каким-нибудь образом сын ее Вакула не подъехал к его дочери и не успел прибрать всего себе, и тогда бы наверно не допустил ее мешаться ни во что, она прибегнула к обыкновенному средству всех сорокалетних кумушек: ссорить как можно чаще Чуба с кузнецом. Может быть, эти самые хитрости и сметливость ее были виною, что кое-где начали поговаривать старухи, особенно когда выпивали где-нибудь на веселой сходке лишнее, что Солоха точно ведьма; что парубок Кизяколупенко видел у нее сзади хвост величиною не более бабьего веретена; что она еще в позапрошлый четверг черною кошкою перебежала дорогу; что к попадье раз прибежала свинья, закричала петухом, надела на голову шапку отца Кондрата и убежала назад.

Случилось, что тогда, когда старушки толковали об этом, пришел какой-то коровий пастух Тымиш Коростявый. Он не преминул рассказать, как летом, перед самую петровкою, когда он лег спать в хлеву, подмостивши под голову солому, видел собственными глазами, что ведьма, с распущенною косою, в одной рубашке, начала доить коров, а он не мог пошевелинуться, так был околдован; подоивши коров, она пришла к нему и помазала его губы чем-то таким гадким, что он плевал после того целый день. Но все это что-то сомнительно, потому что один только сорочинский заседатель может увидеть ведьму. И оттого все именитые козаки махали руками, когда слышали такие речи. «Брежут сучи бабы!» — бывал обыкновенный ответ их.

Вылезши из печки и оправившись, Солоха, как добрая хозяйка, начала убирать и ставить все к своему месту; но мешков не тронула: «Это Вакула принес, пусть



же сам и вынесет!» Черт между тем, когда еще влетал в трубу, как-то нечаянно оборотившись, увидел Чуба об руку с кумом, уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снега. Поднялась метель. В воздухе забелело. Снег метался взад и вперед сетью и угрожал залепить глаза, рот и уши пешеходам. А черт улетел снова в трубу, в твердой уверенности, что Чуб возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпотчует его так, что он долго будет не в силах взять в руки кисть и малевать обидные карикатуры.

В самом деле, едва только поднялась метель и ветер стал резать прямо в глаза, как Чуб уже изъявил раскаяние и, нахлобучивая глубже на голову капелюхи, угощал побранками себя, черта и кума. Впрочем, эта досада была притворная. Чуб очень рад был поднявшейся метели. До дьяка еще оставалось в восемь раз больше того расстояния, которое они прошли. Путешественники повернули назад. Ветер дул в затылок; но сквозь метущий снег ничего не было видно.

— Стой, кум! мы, кажется, не туда идем, — сказал, немного отошедши, Чуб, — я не вижу ни одной хаты. Эх, какая метель! Свороти-ка ты, кум, немного в сторону, не найдешь ли дороги; а я тем временем поищу здесь. Дернет же нечистая сила потаскаться по такой вьюге! Не забудь закричать, когда найдешь дорогу. Эх, какую кучу снега напустил в очи сатана!

Дороги, однако ж, не было видно. Кум, отошедши в сторону, бродил в длинных сапогах взад и вперед и, наконец, набрел прямо на шинок. Эта находка так его обрадовала, что он позабыл все и, стряхнувши с себя снег, вошел в сени, нимало не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем, что он нашел дорогу; остановившись, принялся он кричать во все горло, но, видя, что кум не является, решил идти сам. Немного пройдя, увидел он свою хату. Сугробы снега лежали около нее и на крыше. Хлопая намерзнувшими на холоде руками, принялся он стучать в дверь и кричать повелительно своей дочери отпереть ее.

— Чего тебе тут нужно? — сурово закричал вышедший кузнец.

Чуб, узнавши голос кузнеца, отступил несколько назад. «Э, нет, это не моя хата, — говорил он про себя, — в мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не кузнецова. Чья бы была это хата? Вот на! не распознал! это хромого Левченка, который недавно женился на молодой жене. У него одного только хата похожа на мою. То-то мне показалось и сначала немного чудно, что так скоро пришел домой. Однако ж Левченко сидит теперь у дьяка, это я знаю; зачем же кузнец?.. Э-ге-ге! он ходит к его молодой жене. Вот как! хорошо!.. теперь я все понял».

— Кто ты такой и зачем таскаешься под дверями? — произнес кузнец суровее прежнего и подойдя ближе.

«Нет, не скажу ему, кто я, — подумал Чуб, — чего доброго, еще приколотит, проклятый выродок!» — и, переменив голос, отвечал:

— Это я, человек добрый! пришел вам на забаву поколядовать немного под окнами.

— Убирайся к черту с своими колядками! — сердито закричал Вакула. — Что ж ты стоишь? Слышишь, убирайся сей же час вон!

Чуб сам уже имел это благоразумное намерение; но ему досадно показалось, что принужден слушаться приказаний кузнеца. Казалось, какой-то злой дух толкал его под руку и вынуждал сказать что-нибудь наперекор.

— Что ж ты, в самом деле, так раскричался? — произнес он тем же голосом, — я хочу колядовать, да и полно!

— Эге! да ты от слов не уймешься!.. — Вслед за сими словами Чуб почувствовал пребольной удар в плечо.

— Да вот это ты, как я вижу, начинаешь уже драться! — произнес он, немного отступая.

— Пошел, пошел! — кричал кузнец, наградив Чуба другим толчком.

— Что ж ты! — произнес Чуб таким голосом, в котором изображалась и боль, и досада, и робость. — Ты, вижу, не в шутку дерешься, и еще больно дерешься!

— Пошел, пошел! — закричал кузнец и захлопнул дверь.

— Смотри, как расхрабрился! — говорил Чуб, оставшись один на улице. — Попробуй подойди! вишь, какой! вот большая цаца! Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Нет, голубчик, я пойду, и пойду прямо к комиссару. Ты у меня будешь знать! Я не посмотрю, что ты кузнец и маляр. Однако ж посмотреть на спину и плечи: я думаю, синие пятна есть. Должно быть, больно поколотил, вражий сын! Жаль, что холодно и не хочется скинуть кожуха! Постой ты, бесовский кузнец, чтоб черт поколотил и тебя, и твою кузницу, ты у меня напляшешься! Вишь, проклятый шибеник! Однако ж ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна. Гм... оно ведь недалеко отсюда; пойти бы! Время теперь такое, что нас никто не застанет. Может, и того, будет можно... Вишь, как больно поколотил проклятый кузнец!

Тут Чуб, почесав свою спину, отправился в другую сторону. Приятность, ожидавшая его впереди при свидании с Солохою, умаливала немного боль и делала нечувствительным и самый мороз, который трещал по всем улицам, не заглушаемый вьюжным свистом. По временам на лице его, которого бороду и усы метель намылила снегом проворнее всякого цирюльника, тирански хватающего за нос свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы, однако ж, снег не крестил взад и вперед всего перед глазами, то долго еще можно было бы видеть, как Чуб останавливался, почесывал спину, произносил: «Больно поколотил проклятый кузнец!» — и снова отправлялся в путь.

В то время, когда проворный франт с хвостом и козлиною бородою летал из трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи при боку ладунка, в которую он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась, и месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Все осветилось. Метели как не бывало. Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек показались

с мешками. Песни зазвенели, и под редкою хатою не толпились колядующие.

Чудно блещет месяц! Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь между кучею хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло; от мороза еще живее горят щеки; а на шалости сам лукавый подталкивает сзади.

Кучи девушек с мешками вломились в хату Чуба, окружили Оксану. Крик, хохот, рассказы оглушили кузнеца. Все наперерыв спешили рассказать красавице что-нибудь новое, выгружали мешки и хвастались паланицами, колбасами, варениками, которых успели уже набрать довольно за свои колядки. Оксана, казалось, была в совершенном удовольствии и радости, болтала то с той, то с другою и хохотала без умолку. С какой-то досадою и завистью глядел кузнец на такую веселость и на этот раз проклинал колядки, хотя сам бывал от них без ума.

— Э, Одарка! — сказала веселая красавица, оборотившись к одной из девушек, — у тебя новые черевика! Ах, какие хорошие! и с золотом! Хорошо тебе, Одарка, у тебя есть такой человек, который все тебе покупает; а мне некому достать такие славные черевика.

— Не тужи, моя ненаглядная Оксана! — подхватил кузнец, — я тебе достану такие черевика, какие редкая панночка носит.

— Ты? — сказала, скоро и надменно поглядев на него, Оксана. — Посмотрю я, где ты достанешь черевика, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица.

— Видишь, каких захотела! — закричала со смехом девичья толпа.

— Да, — продолжала гордо красавица, — будьте все вы свидетельницы: если кузнец Вакула принесет те самые черевика, которые носит царица, то вот мое слово, что выйду тот же час за него замуж.

Девушки увели с собою капризную красавицу.

— Смейся, смейся! — говорил кузнец, выходя вслед за ними. — Я сам смеюсь над собою! Думаю, и не могу

вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит, — ну, бог с ней! будто только на всем свете одна Оксана. Слава богу, дивчат много хороших и без нее на селе. Да что Оксана? с нее никогда не будет доброй хозяйки; она только мастерица рядиться. Нет, полно, пора перестать дурачиться.

Но в самое то время, когда кузнец готовился быть решительным, какой-то злой дух проносил пред ним смеющийся образ Оксаны, говорившей насмешливо: «Достань, кузнец, царицыны черевички, выйду за тебя замуж!» Все в нем волновалось, и он думал только об одной Оксане.

Толпы колядующих, парубки особо, девушки особо, спешили из одной улицы в другую. Но кузнец шел и ничего не видал и не участвовал в тех веселостях, которые когда-то любил более всех.

Черт между тем не на шутку разнежился у Солохи: целовал ее руку с такими ужимками, как заседатель у поповны, брался за сердце, охал и сказал напрямик, что если она не согласится удовлетворить его страсти и, как водится, наградить, то он готов на все: кинется в воду, а душу отправит прямо в пекло. Солоха была не так жестока, притом же черт, как известно, действовал с нею заодно. Она таки любила видеть волочившуюся за собою толпу и редко бывала без компании; этот вечер, однако ж, думала провести одна, потому что все именитые обитатели села званы были на кутью к дьяку. Но все пошло иначе: черт только что представил свое требование, как вдруг послышался голос дюжего головы. Солоха побежала отворить дверь, а проворный черт влез в лежавший мешок.

Голова, стряхнув с своих капелюх снег и выпивши из рук Солохи чарку водки, рассказал, что он не пошел к дьяку, потому что поднялась метель; а увидевши свет в ее хате, завернул к ней, в намерении провести вечер с нею.

Не успел голова это сказать, как в дверь послышался стук и голос дьяка.

— Спрячь меня куда-нибудь, — шептал голова. — Мне не хочется теперь встретиться с дьяком.

Солоха думала долго, куда спрятать такого плотного гостя; наконец выбрала самый большой мешок с углем; уголь высыпала в кадку, и дюжий голова влез с усами, с головою и с капелюхами в мешок.

Дьяк вошел, покряхтывая и потирая руки, и рассказывал, что у него не был никто и что он сердечно рад этому случаю *погулять* немного у нее и не испугался метели. Тут он подошел к ней ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длинными пальцами ее обнаженной полной руки и произнес с таким видом, в котором выказывалось и лукавство, и самодовольствие:

— А что это у вас, великолепная Солоха? — И, сказавши это, отскочил он несколько назад.

— Как что? Рука, Осип Никифорович! — отвечала Солоха.

— Гм! рука! хе! хе! хе! — произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате.

— А это что у вас, дражайшая Солоха? — произнес он с таким же видом, приступив к ней снова и схватив ее слегка рукою за шею и таким же порядком отскочив назад.

— Будто не видите, Осип Никифорович! — отвечала Солоха. — Шея, а на шее монисто.

— Гм! на шее монисто! хе! хе! хе! — и дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки.

— А это что у вас, несравненная Солоха?.. — Неизвестно, к чему бы теперь притронулся дьяк своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук и голос козака Чуба.

— Ах, боже мой, стороннее лицо! — закричал в испуге дьяк. — Что теперь, если застанут особу моего звания?.. Дойдет до отца Кондрата!..

Но опасения дьяка были другого рода: он боялся более того, чтобы не узнала его половина, которая и без того страшною рукою своею сделала из его толстой косы самую узенькую.

— Ради бога, добродетельная Солоха, — говорил он, дрожа всем телом. — Ваша доброта, как говорит

писание Луки глава трина... трин... Стучатся, ей-богу стучатся! Ох, спрячьте меня куда-нибудь!

Солоха высыпала уголь в кадку из другого мешка, и не слишком объемистый телом дьяк влез в него и сел на самое дно, так что сверх его можно было насыпать еще с полмешка угля.

— Здравствуй, Солоха! — сказал, входя в хату, Чуб. — Ты, может быть, не ожидала меня, а? правда, не ожидала? может быть, я помешал?.. — продолжал Чуб, показав на лице своем веселую и значительную мину, которая заранее давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колкую и затейливую шутку. — Может быть, вы тут забавлялись с кем-нибудь?.. может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а? — И, восхищенный таким своим замечанием, Чуб засмеялся, внутренне торжествуя, что он один только пользуется благосклонностью Солохи. — Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого морозу. Послал же бог такую ночь перед рождеством! Как схватилась, слышишь, Солоха, как схватилась... эх окостенели руки: не расстегну кожуха! как схватилась вьюга...

— Отвори! — раздался на улице голос, сопровождаемый толчком в дверь.

— Стучит кто-то, — сказал остановившийся Чуб.

— Отвори! — закричали сильнее прежнего.

— Это кузнец! — произнес, схватясь за капелюхи,

Чуб. — Слышишь, Солоха, куда хочешь девай меня; я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под обоими глазами по пузырю в копну величиною!

Солоха, испугавшись сама, металась как угорелая и, позабывшись, дала знак Чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дьяк. Бедный дьяк не смел даже изъяснить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои намерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков.

Кузнец вошел, не говоря ни слова, не снимая шапки; и почти повалился на лавку. Заметно, что он был весьма не в духе,

В то самое время, когда Солоха затворяла за ним дверь, кто-то постучался снова. Это был козак Свербыгуз. Этого уже нельзя было спрятать в мешок, потому что и мешка такого нельзя было найти. Он был погрузнее телом самого головы и повыше ростом Чубова кума. И потому Солоха вывела его в огород, чтобы выслушать от него все то, что он хотел ей объявить.

Кузнец рассеянно оглядывал углы своей хаты, вслушиваясь по временам в далеко разносившиеся песни колядующих; наконец остановил глаза на мешках: «Зачем тут лежат эти мешки? их давно бы пора убрать отсюда. Через эту глупую любовь я одурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу!»

Тут кузнец присел к огромным мешкам, перевязал их крепче и готовился взвалить себе на плечи. Но заметно было, что его мысли гуляли бог знает где, иначе он бы услышал, как зашипел Чуб, когда волосы на голове его прикрутила завязавшая мешок веревка и дюжий голова начал было икать довольно явственно.

— Неужели не выбьется из ума моего эта негодная Оксана? — говорил кузнец, — не хочу думать о ней; а все думается, и, как нарочно, о ней одной только. Отчего эта так, что дума против воли лезет в голову? Кой черт, мешки стали как будто тяжелее прежнего! Тут, верно, положено еще что-нибудь кроме угля. Дуренья я! я и позабыл, что теперь мне все кажется тяжелее. Прежде, бывало, я мог согнуть и разогнуть в одной руке медный пятак и лошадиную подкову; а теперь мешков с углем не подыму. Скоро буду от ветра валиться. Нет, — вскричал он, помолчав и ободрившись, — что я за баба! Не дам никому смеяться над собою! Хоть десять таких мешков, все подыму. — И бодро взвалил себе на плеча мешки, которых не понесли бы два дюжих человека. — Взять и этот, — продолжал он, подымая маленький, на дне которого лежал, свернувшись, черт. — Тут, кажется, я положил струмент свой. — Сказав это, он вышел вон из хаты, насвистывая песню:

Мені с жіпкой не возиться.



Шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Толпы толкавшегося народа были увеличены еще пришедшими из соседних деревень. Парубки шалили и бесились вволю. Часто между колядками слышалась какая-нибудь веселая песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из молодых козаков. То вдруг один из толпы вместо колядки отпускал щедровку и ревел во все горло:

Щедрик, ведрик!  
Дайте вареник,  
Грудочку кашки,  
Кільце ковбаски!

Хохот награждал затейника. Маленькие окна подымались, и сухоощава́я рука старухи, которые одни только вместе с степенными отцами оставались в избах, высывалась из окошка с колбасою в руках или куском пирога. Парубки и девушки наперерыв подставляли мешки и ловили свою добычу. В одном месте парубки, зашедши со всех сторон, окружали толпу девушек: шум, крик, один бросал комом снега, другой вырывал мешок со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком стремглав на землю. Казалось, всю ночь напролет готовы были повеселиться. И ночь, как нарочно, так роскошно теплилась! и еще белее казался свет месяца от блеска снега.

Кузнец остановился с своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны. Все жилки в нем вздрогнули; бросивши на землю мешки так, что находившийся на дне дьяк захохотал от ушибу и голова икнул во все горло, побрел он с маленьким мешком на плечах вместе с толпою парубков, шедших следом за девичьей толпою, между которою ему послышался голос Оксаны.

«Так, это она! стоит, как царица, и блестит черными очами! Ей рассказывает что-то видный парубок; верно, забавное, потому что она смеется. Но она всегда смеется». Как будто невольно, сам не понимая как, протерся кузнец сквозь толпу и стал около нее.

— А, Вакула, ты тут! здравствуй! — сказала красавица с той же самой усмешкой, которая чуть не сводила

Вакулу с ума.— Ну, много наколядовал? Э, какой маленький мешок! А черевики, которые носит царица; достал? достань черевики, выйду замуж!— И, засмеявшись, убежала с толпою.

Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. «Нет, не могу; нет сил больше...— произнес он наконец.— Но боже ты мой, отчего она так чертовски хороша? Ее взгляд, и речи, и все, ну вот так и жжет, так и жжет... Нет, невмочь уже пересилить себя! Пора положить конец всему: пропадай душа, пойду утоплюсь в пролубе, и поминай как звали!»

Тут решительным шагом пошел он вперед, догнал толпу, поравнялся с Оксаною и сказал твердым голосом:

— Прощай, Оксана! Ищи себе какого хочешь жениха, дурачь кого хочешь; а меня не увидишь уже больше на этом свете.

Красавица казалась удивленною, хотела что-то сказать, но кузнец махнул рукою и убежал.

— Куда, Вакула?— кричали парубки, видя бегущего кузнеца.

— Прощайте, братцы!— кричал в ответ кузнец.— Даст бог, увидимся на том свете; а на этом уже не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом! Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворил панихиду по моей грешной душе. Свечей к иконам чудотворца и божией матери, грешен, не обмалевал за мирскими делами. Все добро, какое найдется в моей скрыне, на церковь! Прощайте!

Проговоривши это, кузнец принялся снова бежать с мешком на спине.

— Он повредился!— говорили парубки.

— Пропавшая душа!— набожно пробормотала проходившая мимо старуха.— Пойти рассказать, как кузнец повесился!

Вакула между тем, пробежавши несколько улиц, остановился перевести дух. «Куда я в самом деле бегу?— подумал он,— как будто уже все пропало. Попробую еще средство: пойду к запорожцу Пузатому Пацюку.

Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Пойду, ведь душе все же придется пропадать!»

При этом черт, который долго лежал без всякого движения, запрыгал в мешке от радости; но кузнец, подумав, что он как-нибудь зацепил мешок рукою и произвел сам это движение, ударил по мешку дюжим кулаком и, встряхнув его на плечах, отправился к Пузатому Пацюку.

Этот Пузатый Пацюк был точно когда-то запорожцем; но выгнали его или он сам убежал из Запорожья, этого никто не знал. Давно уже, лет десять, а может и пятнадцать, как он жил в Диканьке. Сначала он жил, как настоящий запорожец: ничего не работал, спал три четверти дня, ел за шестерых косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру; впрочем, было где и поместиться, потому что Пацюк, несмотря на небольшой рост, в ширину был довольно увесист. Притом шаровары, которые носил он, были так широки, что, какой бы большой ни сделал он шаг, ног было совершенно не заметно, и казалось — винокуренная кадь двигалась по улице. Может быть, это самое подало повод прозвать его Пузатым. Не прошло нескольких дней после прибытия его в село, как все уже узнали, что он знахарь. Бывал ли кто болен чем, тотчас призывал Пацюка; а Пацюку стоило только пошептать несколько слов, и недуг как будто рукою снимался. Случалось ли, что проголодавшийся дворянин подавился рыбьей костью, Пацюк умел так искусно ударить кулаком в спину, что кость отправлялась куда ей следует, не причинив никакого вреда дворянскому горлу. В последнее время его редко видали где-нибудь. Причина этому была, может быть, лень, а может и то, что пролезать в двери делалось для него с каждым годом труднее. Тогда миряне должны были отправляться к нему сами, если имели в нем нужду.

Кузнец не без робости отворил дверь и увидел Пацюка, сидевшего на полу по-турецки перед небольшою кадушкою, на которой стояла миска с галушками. Эта миска стояла, как нарочно, наравне с его ртом. Не подвинувшись ни одним пальцем, он наклонил слегка голову к миске и хлебал жижу, схватывая по временам зубами галушки.

«Нет, этот,— подумал Вакула про себя,— еще ленивее Чуба: тот по крайней мере ест ложкою, а этот и руки не хочет поднять!»

Пацюк, верно, крепко занят был галушками, потому что, казалось, совсем не заметил прихода кузнеца, который, едва ступивши на порог, отвесил ему презникий поклон.

— Я к твоей милости пришел, Пацюк!— сказал Вакула, кланяясь снова.

Толстый Пацюк поднял голову и снова начал хлебать галушки.

— Ты, говорят, не во гнев будь сказано...— сказал, собираясь с духом, кузнец,— я веду об этом речь не для того, чтобы тебе нанести какую обиду,— приходишься немного сродни черту.

Проговоря эти слова, Вакула испугался, подумав, что выразился все еще напрямик и мало смягчил крепкие слова, и, ожидая, что Пацюк, схвативши кадушку вместе с мискою, пошлет ему прямо в голову, отсторожился немного и закрылся рукавом, чтобы горячая жижа с галушек не обрызгала ему лица.

Но Пацюк взглянул и снова начал хлебать галушки. Ободренный кузнец решил продолжить:

— К тебе пришел, Пацюк, дай боже тебе всего, добра всякого в довольствии, хлеба в пропорции!— Кузнец иногда умел вернуть модное слово; в том он понаторел в бытность еще в Полтаве, когда размалевывал сотнику дощатый забор.— Пропадать приходится мне, грешному! ничто не помогает на свете! Что будет то будет, приходится просить помощи у самого черта. Что ж, Пацюк? — произнес кузнец, видя неизменное его молчание,— как мне быть?

— Когда нужно черта, то и ступай к черту!— отвечал Пацюк, не подымая на него глаз и продолжая убирать галушки.

— Для того-то я и пришел к тебе,— отвечал кузнец, отвешивая поклон,— кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги.

Пацюк ни слова и доедал остальные галушки.

— Сделай милость, человек добрый, не откажи!— наступал кузнец,— свинины ли, колбас, муки гречне-



Ночь перед рождеством  
Картина И. Репина. 1926



вой, ну, полотна, пшеница или иного прочего, в случае потребности... как обыкновенно между добрыми людьми водится... не поскупимся. Расскажи хоть, как, примерно сказать, попасть к нему на дорогу?

— Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами, — произнес равнодушно Пацюк, не изменяя своего положения.

Вакула уставил на него глаза, как будто бы на лбу его написано было изъяснение этих слов. «Что он говорит?» — безмолвно спрашивала его мина; а полуотверстый рот готовился проглотить, как галушку, первое слово. Но Пацюк молчал.

Тут заметил Вакула, что ни галушек, ни кадушки перед ним не было; но вместо того на полу стояли две деревянные миски: одна была наполнена варениками, другая сметаною. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушанья. «Посмотрим, — говорил он сам себе, — как будет есть Пацюк вареники. Наклоняться он, верно, не захочет, чтобы хлебать, как галушки, да и нельзя: нужно вареник сперва обмакнуть в сметану».

Только что он успел это подумать, Пацюк разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнул в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать.

«Вишь, какое диво!» — подумал кузнец, разинув от удивления рот, и тот же час заметил, что вареник лезет и к нему в рот и уже вымазал губы сметаною. Оттолкнувши вареник и вытерши губы, кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила, заметя притом, что один только Пацюк может помочь ему. «Поклонюсь ему еще, пусть растолкует хорошенько... Однако что за черт! ведь сегодня *голодная кутья*, а он ест вареники, вареники скоромные! Что я, в самом деле, за дурак, стою тут и греха набираюсь! Назад!» И набожный кузнец опрометью выбежал из хаты.

Однако ж черт, сидевший в мешке и заранее уже радовавшийся, не мог вытерпеть, чтобы ушла из рук его такая славная добыча. Как только кузнец опустил мешок, он выскочил из него и сел верхом ему на шею.

Мороз подрал по коже кузнеца; испугавшись и побледнев, не знал он, что делать; уже хотел перекреститься... Но черт, наклонив свое собачье рыльце ему на правое ухо, сказал:

— Это я — твой друг, все сделаю для товарища и друга! Денег дам сколько хочешь, — пискнул он ему в левое ухо. — Оксана будет сегодня же наша, — шепнул он, заворотивши свою морду снова на правое ухо.

Кузнец стоял размышляя.

— Изволь, — сказал он наконец, — за такую цену готов быть твоим!

Черт всплеснул руками и начал от радости галопировать на шее кузнеца. «Теперь-то попался кузнец! — думал он про себя, — теперь-то я вымещу на тебе, голубчик, все твои малеванья и небылицы, взводимые на чертей! Что теперь скажут мои товарищи, когда узнают, что самый набожнейший из всего села человек в моих руках?» Тут черт засмеялся от радости, вспомнивши, как будет дразнить в аде все хвостатое племя, как будет беспиться хромым черт, считавшийся между ними первым на выдумки.

— Ну, Вакула! — пропищал черт, все так же не слезая с шеи, как бы опасаясь, чтобы он не убежал, — ты знаешь, что без контракта ничего не делают.

— Я готов! — сказал кузнец. — У вас, я слышал, расписываются кровью; постой же, я достану в кармане гвоздь! — Тут он заложил назад руку — и хватил черта за хвост.

— Вишь, какой шутник! — закричал, смеясь, черт. — Ну, полно, довольно уже шалить!

— Постой, голубчик! — закричал кузнец, — а вот это как тебе покажется? — При сем слове он сотворил крест, и черт сделался так тих, как ягненок. — Постой же, — сказал он, стаскивая его за хвост на землю, — будешь ты у меня знать подучивать на грехи добрых людей и честных христиан! — Тут кузнец, не выпуская



хвоста, вскочил на него верхом и поднял руку для крестного знамения.

— Помилуй, Вакула!— жалобно простонал черт,— все, что для тебя нужно, все сделаю, отпусти только душу на покаяние: не клади на меня страшного креста!

— А, вот каким голосом запел, немец проклятый! Теперь я знаю, что делать. Вези меня сей же час на себе! слышишь, неси, как птица!

— Куда?— произнес печальный черт.

— В Петембург, прямо к царице!

И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя поднимающимся на воздух.

Долго стояла Оксана, раздумывая о странных речах кузнеца. Уже внутри ее что-то говорило, что она слишком жестоко поступила с ним. Что, если он в самом деле решится на что-нибудь страшное? «Чего доброго! может быть, он с горя вздумает влюбиться в другую и с досады станет называть ее первою красавицею на селе? Но нет, он меня любит. Я так хороша! Он меня ни за что не променяет; он шалит, прикидывается. Не пройдет минут десять, как он, верно, придет поглядеть на меня. Я в самом деле сурова. Нужно ему дать, как будто нехотя, поцеловать себя. То-то он обрадуется!» И ветреная красавица уже шутила с своими подругами.

— Пойдите,— сказала одна из них,— кузнец позабыл мешки свои; смотрите, какие страшные мешки! Он не по-нашему наколядовал: я думаю, сюда по целой четверти барана кидали; а колбасам и хлебом, верно, счету нет. Роскошь! целые праздники можно объедаться.

— Это кузнецовы мешки?— подхватила Оксана.— Утащим скорее их ко мне в хату и разглядим хорошенько, что он сюда наклал.

Все со смехом одобрили такое предложение.

— Но мы не поднимем их!— закричала вся толпа вдруг, силясь сдвинуть мешки.

— Пойдите,— сказала Оксана,— побежим скорее за санками и отвезем на санках!

И толпа побежала за санками.

Пленникам сильно прискучило сидеть в мешках, несмотря на то что дьяк проткнул для себя пальцем порядочную дыру. Если бы еще не было народу, то, может быть, он нашел бы средство вылезть; но вылезть из мешка при всех, показать себя на смех... это удерживало его, и он решился ждать, слегка только покряхтывая под невежливыми сапогами Чуба. Чуб сам не менее желал свободы, чувствуя, что под ним лежит что-то такое, на котором сидеть страх было неловко. Но как скоро услышал решение своей дочери, то успокоился и не хотел уже вылезть, рассуждая, что к хате своей нужно пройти по крайней мере шагов с сотню, а может быть, и другую. Вылезши же, нужно оправиться, застегнуть кожух, подвязать пояс — сколько работы! да и капелюхи остались у Солохи. Пусть же лучше дивчата довезут на санках. Но случилось совсем не так, как ожидал Чуб. В то время, когда дивчата побежали за санками, худощавый кум выходил из шинка расстроенный и не в духе. Шинкарка никаким образом не решалась ему верить в долг; он хотел было дожидаться, авось-либо придет какой-нибудь набожный дворянин и попотчует его; но, как нарочно, все дворяне оставались дома и, как честные христиане, ели кутью посреди своих домашних. Размышляя о развращении нравов и о деревянном сердце жидовки, продающей вино, кум набрел на мешки и остановился в изумлении.

— Вишь, какие мешки кто-то бросил на дороге! — сказал он, осматриваясь по сторонам, — должно быть, тут и свинина есть. Полезло же кому-то счастье наколадывать столько всякой всячины! Экие страшные мешки! Положим, что они набиты гречаниками да коржами, и то *добре*. Хотя бы были тут одни паляницы, и то *в шмак*: жидовка за каждую паляницу дает осьмуху водки. Утащить скорее, чтобы кто не увидел. — Тут взвалил он себе на плеча мешок с Чубом и дьяком, но почувствовал, что он слишком тяжел. — Нет, одному будет тяжело несть, — проговорил он, — а вот, как нарочно, идет ткач Шапуваленко. Здравствуй, Остап!

— Здравствуй, — сказал, остановившись, ткач.

— Куда идешь?

— А так, иду, куда ноги идут.

— Помоги, человек добрый, мешки снести! кто-то колядовал, да и кинул посреди дороги. Добром разделимся пополам.

— Мешки? а с чем мешки, с книшами или паляницами?

— Да, думаю, всего есть.

Тут выдернули они наскоро из плетня палки, положили на них мешок и понесли на плечах.

— Куда ж мы понесем его? в шинок? — спросил дорогою ткач.

— Оно бы и я так думал, чтобы в шинок; но ведь проклятая жидовка не поверит, подумает еще, что где-нибудь украли; к тому же я только что из шинка. Мы отнесем его в мою хату. Нам никто не помешает: жинки нет дома.

— Да точно ли нет дома? — спросил осторожный ткач.

— Слава богу, мы не совсем еще без ума, — сказал кум, — черт ли бы принес меня туда, где она. Она, думаю, протаскается с бабами до света.

— Кто там? — закричала кумова жена, услышав шум в сенях, произведенный приходом двух приятелей с мешком, и отворяя дверь.

Кум остолбенел.

— Вот тебе на! — произнес ткач, опустья руки.

Кумова жена была такого рода сокровище, каких немало на белом свете. Так же как и ее муж, она почти никогда не сидела дома и почти весь день пресмыкалась у кумушек и зажиточных старух, хвалила и ела с большим аппетитом и дралась только по утрам с своим мужем, потому что в это только время и видела его иногда. Хата их была вдвое старше шаровар волостного писаря, крыша в некоторых местах была без соломы. Плетня видны были одни остатки, потому что всякий выходивший из дому никогда не брал палки для собак, в надежде, что будет проходить мимо кумова огорода и выдернет любую из его плетня. Печь не топилась дня по три. Все, что ни напрашивала нежная супруга у добрых людей, прятала как можно подальше от своего мужа и часто самоуправно отнимала у него добычу, если он не успевал ее пропить в шинке. Кум, несмотря на всегдаш-

пее хладнокровие, не любил уступать ей и оттого почти всегда уходил из дому с фонарями под обоими глазами, а дорогая половина, охая, плелась рассказывать старушкам о бесчинстве своего мужа и о претерпенных ею от него побоях.

Теперь можно себе представить, как были озадачены ткач и кум таким неожиданным явлением. Опустивши мешок, они заступили его собою и закрыли полами; но уже было поздно: кумова жена хотя и дурно видела старыми глазами, однако ж мешок заметила.

— Вот это хорошо!— сказала она с таким видом, в котором заметна была радость ястреба.— Это хорошо, что наколядовали столько! Вот так всегда делают добрые люди; только нет, я думаю, где-нибудь подцепили. Покажите мне сейчас, слышите, покажите сей же час мешок ваш!

— Лысый черт тебе покажет, а не мы,— сказал, приосанясь, кум.

— Тебе какое дело?— сказал ткач,— мы наколядовали, а не ты.

— Нет, ты мне покажешь, негодный пьяница!— вскричала жена, ударив высокого кума кулаком в подбородок и продираясь к мешку.

Но ткач и кум мужественно отстояли мешок и заставили ее попятиться назад. Не успели они оправиться, как супруга выбежала в сени уже с кочергою в руках. Проворнохватила кочергою мужа по рукам, ткача по спине и уже стояла возле мешка.

— Что мы допустили ее?— сказал ткач, очнувшись.

— Э, что мы допустили! а отчего ты допустил?— сказал хладнокровно кум.

— У вас кочерга, видно, железная!— сказал после небольшого молчания ткач, почесывая спину.— Моя жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу, дала пивкопы,— та ничего... не больно...

Между тем торжествующая супруга, поставив на пол каганец, развязала мешок и заглянула в него. Но, верно, старые глаза ее, которые так хорошо увидели мешок, на этот раз обманулись.

— Э, да тут лежит целый кабан!— вскрикнула она, всплеснув от радости в ладоши.

— Кабан! слышишь, целый кабан!— толкал ткач кума.— А все ты виноват!

— Что ж делать!— произнес, пожимая плечами, кум.

— Как что? чего мы стоим? отнимем мешок! ну, приступай!

— Пошла прочь! пошла! это наш кабан!— кричал, выступая, ткач.

— Ступай, ступай, чертова баба! это не твое добро!— говорил, приближаясь, кум.

Супруга принялась снова за кочергу, но Чуб в это время вылез из мешка и стал посреди сеней, потягиваясь, как человек, только что пробудившийся от долгого сна.

Кумова жена вскрикнула, ударивши об полы руками, и все невольно разинули рты.

— Что ж она, дура, говорит: кабан! Это не кабан!— сказал кум, выпуча глаза.

— Вишь, какого человека кинуло в мешок!— сказал ткач, пятясь от испугу.— Хотя что хочешь говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы. Ведь он не пролезет в окошко.

— Это кум!— вскрикнул, взглядевшись, кум.

— А ты думал кто?— сказал Чуб усмехаясь.— Что, славную я выкинул над вами штуку? А вы небось хотели меня съесть вместо свинины? Постойте же, я вас порадую: в мешке лежит еще что-то,— если не кабан, то, наверно, поросенок или иная живность. Подо мною беспрестанно что-то шевелилось.

Ткач и кум кинулись к мешку, хозяйка дома уцепилась с противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы дьяк, увидевши теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался из мешка.

Кумова жена, остолбенев, выпустила из рук ногу, за которую начала было тянуть дьяка из мешка.

— Вот и другой еще!— вскрикнул со страхом ткач,— черт знает как стало на свете... голова идет кругом... не колбас и не паляниц, а людей кидают в мешки!

— Это дьяк!— произнес изумившийся более всех Чуб.— Вот тебе на! ай да Солоха! посадить в мешок...

То-то, я гляжу, у нее полная хата мешков... Топерь я все знаю: у нее в каждом мешке сидело по два человека. А я думал, что она только мне одному... Вот тебе и Солоха!

Девушки немного удивились, не найдя одного мешка. «Нечего делать, будет с нас и этого», — лепетала Оксана. Все принялись за мешок и взвалили его на санки.

Голова решился молчать, рассуждая: если он закричит, чтобы его выпустили и развязали мешок, — глупые дивчата разбегутся, подумают, что в мешке сидит дьявол, и он останется на улице, может быть, до завтра.

Девушки между тем, дружно взявшись за руки, полетели, как вихорь, с санками по скрипучему снегу. Множество, шая, садилось на санки; другие взбирались на самого голову. Голова решился сносить все. Наконец приехали, отворили настежь двери в сенях и хате и с хохотом втащили мешок.

— Посмотрим, что-то лежит тут, — закричали все, бросившись развязывать.

Тут икотка, которая не переставала мучить голову во все время сидения его в мешке, так усилилась, что он начал икать и кашлять во все горло.

— Ах, тут сидит кто-то! — закричали все и в испуге бросились вон из дверей.

— Что за черт! куда вы мечетесь как угорелые? — сказал, входя в дверь, Чуб.

— Ах, батько! — произнесла Оксана, — в мешке сидит кто-то!

— В мешке? где вы взяли этот мешок?

— Кузнец бросил его посередине дороги, — сказали все вдруг.

«Ну, так, не говорил ли я?..» — подумал про себя Чуб.

— Чего ж вы испугались? посмотрим. А ну-ка, чоловіче, прошу не погневиться, что не называем по имени и отчеству, вылезай из мешка!

Голова вылез.

— Ах! — вскрикнули девушки.

— И голова влез туда ж, — говорил про себя Чуб

в недоумении, меряя его с головы до ног, — вишь как!.. Э!.. — более он ничего не мог сказать.

Голова сам был не меньше смущен и не знал, что начать.

— Должно быть, на дворе холодно? — сказал он, обращаясь к Чубу.

— Морозец есть, — отвечал Чуб. — А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем?

Он хотел не то сказать, он хотел спросить: «Как ты, голова, залез в этот мешок?» — но сам не понимал, как выговорил совершенно другое.

— Дегтем лучше! — сказал голова. — Ну, прощай, Чуб! — И, нахлобучив капелюхи, вышел из хаты.

— Для чего спросил я сдуру, чем он мажет сапоги! — произнес Чуб, поглядывая на двери, в которые вышел голова. — Ай да Солоха! эдакого человека засадить в мешок!.. Вишь, чертова баба! А я дурак... да где же тот проклятый мешок?

— Я кинула его в угол, там больше ничего нет, — сказала Оксана.

— Знаю я эти штуки, ничего нет! подайте его сюда: там еще один сидит! Встряхните его хорошенько... Что, нет?.. Вишь, проклятая баба! А поглядеть на нее — как святая, как будто и скоромного никогда не брала в рот.

Но оставим Чуба изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузнецу, потому что уже на дворе, верно, есть час девятый.

Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу, и пролетел как муха под самым месяцем так, что если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою. Однако ж мало спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. Его забавляло до крайности, как черт чихал и кашлял, когда он снимал с шеи кипарисный крестик и подносил к нему. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. Все было светло в вышине. Воздух в легком серебряном тумане был про-

зрачен. Все было видно, и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, сидя в горшке, колдун; как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки; как клубился в стороне облаком целый рой духов; как плясавший при месяце черт снял шапку, увидавши кузнеца, скачущего верхом; как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила куда пужно ведьма... много еще дряни встречали они. Все, видя кузнеца, на минуту останавливалось поглядеть на него и потом снова несло дальше и продолжало свое; кузнец все летел; и вдруг заблестел перед ним Петербург весь в огне. (Тогда была по какому-то случаю иллюминация.) Черт, перелетев через шлагбаум, оборотился в коня, и кузнец увидел себя на лихом бегуне среди улицы.

Боже мой! стук, гром, блеск; по обеим сторонам громоздятся четырехэтажные стены; стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и отдавались с четырех сторон; дома росли и будто подымались из земли на каждом шагу; мосты дрожали; кареты летали; извозчики, форейторы кричали; снег свистел под тысячью летящих со всех сторон саней; пешеходы жались и теснились под домами, унизанными площадками, и огромные тени их мелькали по стенам, досягая головою труб и крыш. С изумлением оглядывался кузнец на все стороны. Ему казалось, что все дома устремили на него свои бесчисленные огненные очи и глядели. Господ в крытых сукном шубах он увидел так много, что не знал, кому шапку снимать. «Боже ты мой, сколько тут панства! — подумал кузнец. — Я думаю, каждый, кто ни пройдет по улице в шубе, то и заседатель, то и заседатель! а те, что катаются в таких чудных бричках со стеклами, те когда не городничие, то, верно, комиссары, а может, еще и больше». Его слова прерваны были вопросом черта: «Прямо ли ехать к царице?» «Нет, страшно, — подумал кузнец. — Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью чрез Диканьку. Они ехали из Сечи с бумагами к царице; все бы таки посоветоваться с ними».

— Эй, сатана, полезай ко мне в карман да води к запорожцам!



Черт в одну минуту похудел и сделался таким маленьким, что без труда влез к нему в карман. А Вакула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом, вошел, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевши убранную комнату; но немного ободрился, узнавши тех самых запорожцев, которые проезжали через Диканьку, сидевших на шелковых диванах, поджав под себя намазанные дегтем сапоги, и куривших самый крепкий табак, называемый обыкновенно корешками.

— Здравствуйте, панове! помогай бог вам! вот где увиделись!— сказал кузнец, подошедши близко и отвесивши поклон до земли.

— Что там за человек?— спросил сидевший перед самым кузнецом другого, сидевшего подалее.

— А вы не poznали?— сказал кузнец,— это я, Вакула, кузнец! Когда проезжали осенью через Диканьку, то прогостили, дай боже вам всякого здоровья и долголетия, без малого два дни. И новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки!

— А!— сказал тот же запорожец,— это тот самый кузнец, который малюет важно. Здорово, земляк, зачем тебя бог принес?

— А так, захотелось поглядеть, говорят...

— Что ж, земляк,— сказал, приосанясь, запорожец и желая показать, что он может говорить и по-русски,— што балшой город?

Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком, притом же, как имели случай видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык.

— Губерния знатная!— отвечал он равнодушно.— Нечего сказать: дома балшущие, картины висят скрозь важные. Многие дома исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорция!

Запорожцы, услышавши кузнеца, так свободно изъясняющегося, вывели заключение очень для него выгодное.

— После потолкуем с тобою, земляк, побольше; теперь же мы едем сейчас к царице.

— К царице? А будьте ласковы, панове, возьмите и меня с собою!

— Тебя?— произнес запорожец с таким видом, с каким говорит дядька четырехлетнему своему воспитаннику, просящему посадить его на настоящую, на большую лошадь.— Что ты будешь там делать? Нет, не можно.— При этом на лице его выразилась значительная мина.— Мы, брат, будем с царицею толковать про свое.

— Возьмите!— настаивал кузнец.— Проси!— шепнул он тихо черту, ударив кулаком по карману.

Не успел он этого сказать, как другой запорожец проговорил:

— Возьмем его, в самом деле, братцы!

— Пожалуй, возьмем!— произнесли другие.

— Надевай же платье такое, как и мы.

Кузнец схватился натянуть на себя зеленый жупан, как вдруг дверь отворилась и вошедший с позументами человек сказал, что пора ехать.

Чудно снова показалось кузнецу, когда он понесся в огромной карете, качаясь на рессорах, когда с обеих сторон мимо его бежали назад четырехэтажные дома и мостовая, гремя, казалось, сама катилась под ноги лошадям.

«Боже ты мой, какой свет!— думал про себя кузнец.— У нас днем не бывает так светло».

Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подыматься на блистательно освещенную лестницу.

— Что за лестница!— шептал про себя кузнец,— жаль ногами топтать. Экие украшения! Вот, говорят, лгут сказки! кой черт лгут! боже ты мой, что за перила! какая работа! тут одного железа рублей на пятьдесят пошло!

Уже взобравшись на лестницу, запорожцы прошли первую залу. Робко следовал за ними кузнец, опасаясь на каждом шагу поскользнуться на паркете. Прошли три залы, кузнец все еще не переставал удивляться. Вступивши в четвертую, он невольно подошел к висевшей на стене картине. Это была пречистая дева с младенцем на руках. «Что за картина! что за чудная живопись!— рассуждал он,— вот, кажется, говорит! кажется, живая! а дитя святое! и ручки прижало! и

усмехается, бедное! а краски! боже ты мой, какие краски! тут вохры, я думаю, и на копейку не пошло, все ярь да бакан; а голубая так и горит! важная работа! должно быть, грунт наведен был блейвасом. Сколь, однако ж, ни удивительны сии малевания, но эта медная ручка,— продолжал он, подходя к двери и щупая замок,— еще большего достойна удивления. Эк какая чистая выделка! это всё, я думаю, немецкие кузнецы, за самые дорогие цены делали...»

Может быть, долго еще бы рассуждал кузнец, если бы лакей с галунами не толкнул его под руку и не напомнил, чтобы он не отставал от других. Запорожцы прошли еще две залы и остановились. Тут велено им было дожидаться. В зале толпилось несколько генералов в шитых золотом мундирах. Запорожцы поклонились на все стороны и стали в кучу.

Минуту спустя вошел в сопровождении целой свиты величественного роста, довольно плотный человек в гетьманском мундире, в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немного крив, на лице изображалась какая-то надменная величавость, во всех движениях видна была привычка повелевать. Все генералы, которые расхаживали довольно спесиво в золотых мундирах, засуетились и с низкими поклонами, казалось, ловили его каждое слово и даже малейшее движение, чтобы сейчас лететь выполнять его. Но гетьман не обратил даже и внимания, едва кивнул головою и подошел к запорожцам.

Запорожцы отвесили все поклон в ноги.

— Все ли вы здесь? — спросил он протяжно, произнося слова немного в нос.

— *Та вси, батько!* — отвечали запорожцы, кланяясь снова.

— Не забудте говорить так, как я вас учил?

— Нет, батько, не позабудем.

— Это царь? — спросил кузнец одного из запорожцев.

— Куда тебе царь! это сам Потемкин, — отвечал тот.

В другой комнате слышались голоса, и кузнец не знал, куда деть свои глаза от множества вошедших дам в атласных платьях с длинными хвостами и при-

дворных в шитых золотом кафтанах и с пучками назади. Он только видел один блеск и больше ничего. Запорожцы вдруг все пали на землю и закричали в один голос:

— Помилуй, мамо! помилуй!

Кузнец, не видя ничего, растянулся и сам со всем усердием на полу.

— Встаньте!— прозвучал над ними повелительный и вместе приятный голос. Некоторые из придворных засуетились и толкали запорожцев.

— Не встанем, мамо! не встанем! умрем, а не встанем!— кричали запорожцы.

Потемкин кусал себе губы, наконец подошел сам и повелительно шепнул одному из запорожцев. Запорожцы поднялись.

Тут осмелился и кузнец поднять голову и увидел стоявшую перед собою небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами, и вместе с тем величественно улыбающимся видом, который так умел покорять себе все и мог только принадлежать одной царствующей женщине.

— Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор еще не видала,— говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцев.— Хорошо ли вас здесь содержат?— продолжала она, подходя ближе.

— *Та спасибі, мамо!* Провиянт дают хороший, хотя бараны здешние совсем не то, что у нас на Запорожье,— почему ж не жить как-нибудь?..

Потемкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему он их учил...

Один из запорожцев, приосанясь, выступил вперед:

— Помилуй, мамо! зачем губишь верный народ? чем прогневили? Разве держали мы руку поганого татарина; разве соглашались в чем-либо с турчином; разве изменили тебе делом или помышлением? За что ж немилость? Прежде слышали мы, что приказываешь везде строить крепости от нас; после слышали, что хочешь *поверотити в карабинеры*; теперь слышим новые напасти. Чем виновато запорожское войско? тем ли, что перевело твою армию чрез Перекоп и помогло твоим енералам порубать крымцев?..

Потемкин молчал и небрежно чистил небольшою щеточкою свои бриллианты, которыми были унизаны его руки.

— Чего же хотите вы?— заботливо спросила Екатерина.

Запорожцы значительно взглянули друг на друга.

«Теперь пора! Царица спрашивает, чего хотите!»— сказал сам себе кузнец и вдруг повалился на землю.

— Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать! Из чего, не во гнев будь сказано вашей царской милости, сделаны черевички, что на ногах ваших? Я думаю, ни один швец ни в одном государстве на свете не сумеет так сделать. Боже ты мой, что, если бы моя жинка надела такие черевички!

Государыня засмеялась. Придворные засмеялись тоже. Потемкин и хмурился и улыбался вместе. Запорожцы начали толкать под руку кузнеца, думая, не с ума ли он сошел.

— Встань!— сказала ласково государыня.— Если так тебе хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки самые дорогие, с золотом! Право, мне очень нравится это просто-душие! Вот вам,— продолжала государыня, устремив глаза на стоявшего подалее от других средних лет человека с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежал к числу придворных,— предмет, достойный остроумного пера вашего!

— Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно по крайней мере Лафонтена!— отвечал, поклонясь, человек с перламутровыми пуговицами.

— По чести скажу вам: я до сих пор без памяти от вашего «Бригадира». Вы удивительно хорошо читаете! Однако ж, — продолжала государыня, обращаясь снова к запорожцам,— я слышала, что на Сечи у вас никогда не женятся.

— *Як же, мамо!* ведь человеку, сама знаешь, без жинки нельзя жить,— отвечал тот самый запорожец, который разговаривал с кузнецом, и кузнец удивился,

слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорит с царицею, как будто нарочно, самым грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием. «Хитрый народ! — подумал он сам в себе, — верно, недаром он это делает».

— Мы не чернецы, — продолжал запорожец, — а люди грешные. Падки, как и все честное христианство, до скоромного. Есть у нас не мало таких, которые имеют жен, только не живут с ними на Сечи. Есть такие, что имеют жен в Польше; есть такие, что имеют жен в Украине; есть такие, что имеют жен и в Турецине.

В это время кузнецу принесли башмаки.

— Боже ты мой, что за украшение! — вскрикнул он радостно, ухватив башмаки. — Ваше царское величество! Что ж, когда башмаки такие на ногах и в них, чаятельно, ваше благородие, ходите и на лед *ковзаться*, какие ж должны быть самые ножки? думаю, по малой мере из чистого сахара.

Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог похвастаться красавцем, несмотря на смуглое лицо.

Обрадованный таким благосклонным вниманием, кузнец уже хотел было расспросить хорошенько царицу о всем: правда ли, что цари едят один только мед да сало, и тому подобное; но, почувствовав, что запорожцы толкают его под бока, решил замолчать. И когда государыня, обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут на Сечи, какие обычаи водятся, — он, отошедши назад, нагнулся к карману, сказал тихо: «Выноси меня отсюда скорее!» — и вдруг очутился за шлагбаумом.

— Утонул! ей-богу, утонул! вот чтобы я не сошла с этого места, если не утонул! — лепетала толстая ткачиха, стоя в куче диканьских баб посередине улицы.

— Что ж, разве я лгунья какая? разве я у кого-нибудь корову украдала? разве я сглазила кого, что ко мне не имеют веры? — кричала баба в козацкой свитке, с

фиолетовым носом, размахивая руками.— Вот чтобы мне воды не захотелось пить, если старая Переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец!

— Кузнец повесился? вот тебе на!— сказал голова, выходявший от Чуба, остановился и протеснился ближе к разговаривавшим.

— Скажи лучше, чтоб тебе водки не захотелось пить, старая пьяница!— отвечала ткачиха,— нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься! Он утонул! утонул в пролубе! Это я так знаю, как то, что ты была сейчас у шинкарки.

— Срамница! вишь, чем стала попрекать!— гневно возразила баба с фиолетовым носом.— Молчала бы, негодница! Разве я не знаю, что к тебе дьяк ходит каждый вечер?

Ткачиха вспыхнула.

— Что дьяк? к кому дьяк? что ты врешь?

— Дьяк? — пропела, теснясь к спорившим, дьячиха, в тулупе из заячьего меха, крытом синею китайкой.— Я дам знать дьяка! Кто это говорит — дьяк?

— А вот к кому ходит дьяк!— сказала баба с фиолетовым носом, указывая на ткачиху.

— Так это ты, сука,— сказала дьячиха, подступая к ткачихе,— так это ты, ведьма, напускаешь ему туман и поишь нечистым зельем, чтобы ходил к тебе?

— Отвяжись от меня, сатана!— говорила, пятясь, ткачиха.

— Вишь, проклятая ведьма, чтоб ты не дождала детей своих видеть, негодная! Тьфу!..— Тут дьячиха плюнула прямо в глаза ткачихе.

Ткачиха хотела и себе сделать то же, но вместо того плюнула в небритую бороду голове, который, чтобы лучше все слышать, подобрался к самим спорившим.

— А, скверная баба!— закричал голова, обтирая полою лицо и поднявши кнут. Это движение заставило всех разойтись с ругательствами в разные стороны.— Экая мерзость!— повторял он, продолжая обтираться.— Так кузнец утонул! Боже ты мой, а какой важный живописец был! какие ножи крепкие, серпы, плуги умел выковывать! Что за сила была! Да,—продолжал он задумавшись,— таких людей мало у нас на селе. То-то

я, еще сидя в проклятом мешке, замечал, что бедняжка был крепко не в духе. Вот тебе и кузнец! был, а теперь и нет! А я собирался было подковать свою рябую кобылу!..

И, будучи полон таких христианских мыслей, голова тихо побрел в свою хату.

Оксана смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам Переперчихи и толкам баб; она знала, что кузнец довольно набожен, чтобы решиться погубить свою душу. Но что, если он в самом деле ушел с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли и в другом месте где найдется такой молодец, как кузнец! Он же так любил ее! Он долее всех выносил ее капризы! Красавица всю ночь под своим одеялом поворачивалась с правого бока на левый, с левого на правый — и не могла заснуть. То, разметавшись в обворожительной наготы, которую ночной мрак скрывал даже от нее самой, она почти вслух бранила себя; то, приутихнув, решалась ни о чем не думать — и все думала. И вся горела; и к утру влюбилась по уши в кузнеца.

Чуб не изъявил ни радости, ни печали об участии Вакулы. Его мысли заняты были одним: он никак не мог позабыть вероломства Солохи и сонный не переставал бранить ее.

Настало утро. Вся церковь еще до света была полна народа. Пожилые женщины в белых намитках, в белых суконных свитках набожно крестились у самого входа церковного. Дворянки в зеленых и желтых кофтах, а иные даже в синих кунтушах с золотыми назади усами, стояли впереди их. Дивчата, у которых на головах намотана была целая лавка лент, а на шее монист, крестов и дукатов, старались пробраться еще ближе к иконостасу. Но впереди всех стояли дворяне и простые мужики с усами, с чубами, с толстыми шеями и только что выбритыми подбородками, все большею частию в кобенях, из-под которых выказывалась белая, а у иных и синяя свитка. На всех лицах, куда ни взглянь, виден был праздник. Голова облизывался, воображая, как он разговееется колбасою; дивчата помышляли о том, как они будут *ковзаться с хлопцами* на льду; старухи усерднее, нежели когда-либо, шептали молитвы. По



всей церкви слышно было, как козак Свербыгуз клал поклоны. Одна только Оксана стояла как будто не своя: молилась и не молилась. На сердце у нее столпилось столько разных чувств, одно другого досаднее, одно другого печальнее, что лицо ее выражало одно только сильное смущение; слезы дрожали на глазах. Дивчата не могли понять этому причины и не подозревали, чтобы виною был кузнец. Однако ж не одна Оксана была занята кузнецом. Все миряне заметили, что праздник — как будто не праздник; что как будто все чего-то недостает. Как на беду, дьяк после путешествия в мешке охрип и дребезжал едва слышным голосом; правда, приезжий певчий славно брал баса, но куда бы лучше, если бы и кузнец был, который всегда, бывало, как только пели «Отче наш» или «Иже херувимы», всходил на крылос и выводил оттуда тем же самым напевом, каким поют и в Полтаве. К тому же он один исправлял должность церковного титара. Уже отошла заутреня; после заутрени отошла обедня... куда ж это, в самом деле, запропастился кузнец?

Еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад. И мигом очутился Вакула около своей хаты. В это время пропел петух. «Куда? — закричал он, ухватя за хвост хотевшего убежать черта, — постой, приятель, еще не все: я еще не поблагодарил тебя». Тут, схвативши хворостину, отвесил он ему три удара, и бедный черт припустил бежать, как мужик, которого только что выпарил заседатель. Итак, вместо того чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен. После сего Вакула вошел в сени, зарылся в сено и проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, когда увидел, что солнце уже высоко: «Я проспал заутреню и обедню!» Тут благочестивый кузнец погрузился в уныние, рассуждая, что это, верно, бог нарочно, в наказание за грешное его намерение погубить свою душу, наслал сон, который не дал даже ему побывать в такой торжественный праздник в церкви. Но, однако ж, успокоив себя тем, что в следующую неделю исповедается в этом попу и с сегодняшнего же дня

начнет бить по пятидесяти поклонов через весь год, заглянул он в хату; но в ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась. Бережно вынул он из пазухи башмаки и снова изумился дорогой работе и чудному происшествию минувшей ночи; умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку из решетилловских смушек с синим верхом, которой не надевал еще ни разу с того времени, как купил ее еще в бытность в Полтаве; вынул также новый всех цветов пояс; положил все это вместе с нагайкою в платок и отправился прямо к Чубу.

Чуб выпучил глаза, когда вошел к нему кузнец, и не знал, чему дивиться: тому ли, что кузнец воскрес, тому ли, что кузнец смел к нему прийти, или тому, что он нарядился таким щеголем и запорожцем. Но еще больше изумился он, когда Вакула развязал платок и положил перед ним новехонькую шапку и пояс, какого не видано было на селе, а сам повалился ему в ноги и проговорил умоляющим голосом:

— Помилуй, батько! не гневись! вот тебе и нагайка: бей, сколько душа пожелает, отдаюсь сам; во всем каюсь; бей, да не гневись только! Ты ж когда-то брался с покойным батьком, вместе хлеб-соль ели и магарыч пили.

Чуб не без тайного удовольствия видел, как кузнец, который никому на селе в ус не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины, тот самый кузнец лежал у ног его. Чтоб еще больше не уронить себя, Чуб взял нагайку и ударил его три раза по спине.

— Ну, будет с тебя, вставай! старых людей всегда слушай! Забудем все, что было меж нами! Ну, теперь говори, чего тебе хочется?

— Отдай, батько, за меня Оксану!

Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс: шапка была чудная, пояс также не уступал ей; вспомнил о вероломной Солохе и сказал решительно:

— *Добре!* присылай сватов!

— Ай! — вскрикнула Оксана, переступив через порог и увидев кузнеца, и вперила с изумлением и радостью в него очи.

— Погляди, какие я тебе принес черевики!— сказал Вакула,— те самые, которые носит царица.

— Нет! нет! мне не нужно черевиков!— говорила она, махая руками и не сводя с него очей,— я и без черевиков...— Далее она не договорила и покраснела.

Кузнец подошел ближе, взял ее за руку; красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее, и лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше.

Проезжал через Диканьку блаженной памяти архiereй, хвалил место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новою хатою.

— А чья это такая размалеванная хата?— спросил преосвященный у стоявшей близ дверей красивой женщины с дитятей на руках.

— Кузнеца Вакулы!— сказала ему, кланяясь, Оксана, потому что это именно была она.

— Славно! славная работа!— сказал преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна все были обведены кругом красною краскою; на дверях же везде были козаки на лошадях, с трубками в зубах.

Но еще больше похвалил преосвященный Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левый крылос зеленою краскою с красными цветами. Это, однако ж, не все: на стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула черта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: *«Он бачь, яка кака намалевана!»* — и дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери.

## СТРАШНАЯ МЕСТЬ

### I

Шумит, гремит конец Киева: есаул Горобець празднует свадьбу своего сына. Наехало много людей к есаулу в гости. В старину любили хорошенько поесть, еще лучше любили попить, а еще лучше любили повеселиться. Приехал на гнедом коне своем и запорожец Микитка прямо с разгульной попойки с Перешля поля, где поил он семь дней и семь ночей королевских шляхтичей красным вином. Приехал и названный брат есаула, Данило Бурульбаш, с другого берега Днепра, где, промеж двумя горами, был его хутор, с молодою женою Катериною и с годовым сыном. Дивились гости белому лицу пани Катерины, черным, как немецкий бархат, бровям, нарядной сукне и исподнице из голубого полутабенеку, сапогам с серебряными подковами; но еще больше дивились тому, что не приехал вместе с нею старый отец. Всего только год жил он на Заднепровье, а двадцать один пропадал без вести и воротился к дочке своей, когда уже та вышла замуж и родила сына. Он, верно, много нарасказал бы дивного. Да как и не рассказать, бывши так долго в чужой земле! Там все не так: и люди не те, и церквей Христовых нет... Но он не приехал.

Гостям поднесли варенуху с изюмом и сливами и на немалом блюде коровай. Музыканты принялись за

исподку его, спеченную вместе с деньгами, и, на время притихнув, положили возле себя цимбалы, скрипки и бубны. Между тем молодичи и дивчата, утершись платками, выступали снова из рядов своих; а парубки, схватившись в боки, гордо озираясь на стороны, готовы были понестись им навстречу, — как старый есаул вынес две иконы благословить молодых. Те иконы достались ему от честного схимника, старца Варфоломея. Не богата на них утварь, не горит ни серебро, ни золото, но никакая нечистая сила не посмеет прикоснуться к тому, у кого они в доме. Приподняв иконы вверх, есаул готовился сказать короткую молитву... как вдруг закричали, перепугавшись, игравшие на земле дети; а вслед за ними попятился народ, и все показывали со страхом пальцами на стоявшего посреди их козака. Кто он таков — никто не знал. Но уже он протанцевал на славу козачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда же есаул поднял иконы, вдруг все лицо его переменилось: нос вырос и наклонился на сторону, вместо карих, запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копье, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал козак — старик.

— Это он! это он! — кричали в толпе, тесно прижимаясь друг к другу.

— Колдун показался снова! — кричали матери, хватая на руки детей своих.

Величаво и сановито выступил вперед есаул и сказал громким голосом, выставив против него иконы:

— Пропади, образ сатаны, тут тебе нет места! — И, зашипев и щелкнув, как волк, зубами, пропал чудный старик.

Пошли, пошли и зашумели, как море в непогоду, толки и речи между народом.

— Что это за колдун? — спрашивали молодые и небывалые люди.

— Беда будет! — говорили старые, крутя головами. И везде, по всему широкому подворью есаула, стали собираться в кучки и слушать истории про чудного колдуна. Но все почти говорили разное, и наверно никто не мог рассказать про него.

На двор выкатили бочку меду и не мало поставили ведер грецкого вина. Все повеселело снова. Музыканты грянули; дивчата, молодицы, лихое козачество в ярких жупанах понеслись. Девяностолетнее и столетнее старье, подгуляв, пустилось и себе приплясывать, поминая недаром пропавшие годы. Пировали до поздней ночи, и пировали так, как теперь уже не пируют. Стали гости расходиться, но мало побрело восвояси: много осталось ночевать у есаула на широком дворе; а еще больше козачества заснуло само, непрошеное, под лавками, на полу, возле коня, близ хлева; где пошатнулась с хмеля козацкая голова, там и лежит и храпит на весь Киев.

## II

Тихо светит по всему миру: то месяц показался из-за горы. Будто дамаскою дорогою и белою, как снег, кисеею покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла еще далее в чащу сосен.

Посреди Днепра плыл дуб. Сидят впереди два хлопца; черные козацкие шапки набекрень, и под веслами, как будто от огня огонь, летят брызги во все стороны.

Отчего не поют казаки? Не говорят ни о том, как уже ходят по Украине ксендзы и перекрещивают козацкий народ в католиков; ни о том, как два дни билась при Соленом озере орда. Как им петь, как говорить про лихие дела: пан их Данило призадумался, и рукав кармазинного жупана опустил из дуба и черпает воду; пани их Катерина тихо колышет дитя и не сводит с него очей, а на не застланную полотном нарядную сукню серую пылью валится вода.

Любо глянуть с середины Днепра на высокие горы, на широкие луга, на зеленые леса! Горы те — не горы: подошвы у них нет, внизу их, как и вверху, острая вершина, и под ними и над ними высокое небо. Те леса, что стоят на холмах, не леса: то волосы, поросшие на косматой голове лесного деда. Под нею в воде моется борода, и под бороною, и над волосами высокое небо. Те луга — не луга: то зеленый пояс, перепоясавший

посередине круглое небо, и в верхней половине и в нижней половине прогуливается месяц.

Не глядит пан Данило по сторонам, глядит он на молодую жену свою.

— Что, моя молодая жена, моя золотая Катерина вдалася в печаль?

— Я не в печаль вдалася, пан мой Данило! Меня устроили чудные рассказы про колдуна. Говорят, что он родился таким страшным... и никто из детей сызмала не хотел играть с ним. Слушай, пан Данило, как страшно говорят: что будто ему все чудилось, что все смеются над ним. Встретится ли под темный вечер с каким-нибудь человеком, и ему тотчас показывалось, что он открывает рот и выкаливает зубы. И на другой день находили мертвым того человека. Мне чудно, мне страшно было, когда я слушала эти рассказы, — говорила Катерина, вынимая платок и вытирая им лицо спавшего на руках дитяти. На платке были вышиты ею красным шелком листья и ягоды.

Пан Данило ни слова и стал поглядывать на темную сторону, где далеко из-за леса чернел земляной вал, из-за вала подымался старый замок. Над бровями разом вырезались три морщины; левая рука гладила молодецкие усы.

— Не так еще страшно, что колдун, — говорил он, — как страшно то, что он недобрый гость. Что ему за блажь пришла притащиться сюда? Я слышал, что хотят ляхи строить какую-то крепость, чтобы перерезать нам дорогу к запорожцам. Пусть это правда... Я разметаю чертовское гнездо, если только пронесется слух, что у него какой-нибудь притон. Я сожгу старого колдуна, так что и воронам нечего будет расклевать. Однако ж, думаю, он не без золота и всякого добра. Вот где живет этот дьявол! Если у него водится золото... Мы сейчас будем плыть мимо крестов — это кладбище! тут гниют его нечистые деды. Говорят, они все готовы были себя продать за денежку сатане с душою и ободранными жупанами. Если ж у него точно есть золото, то мешкать нечего теперь: не всегда на войне можно добыть...

— Знаю, что затеваешь ты. Ничего не предвещает доброго мне встреча с ним. Но ты так тяжело дышишь,

так сурово глядишь, очи твои так угрюмо надвинулись бровями!..

— Молчи, баба!— с сердцем сказал Данило.— С вами кто свяжется, сам станет бабой. Хлопец, дай мне огня в люльку!— Тут оборотился он к одному из гребцов, который, выколотивши из своей люльки горячую золу, стал перекладывать ее в люльку своего пана.— Пугает меня колдуном!— продолжал пан Данило.— Козак, слава богу, ни чертей, ни ксендзов не боится. Много было бы проку, если бы мы стали слушаться жен. Не так ли, хлопцы? наша жена — люлька да острая сабля!

Катерина замолчала, потупивши очи в сонную воду; а ветер дергал воду рябью, и весь Днепр серебрился, как волчья шерсть среди ночи.

Дуб повернул и стал держаться лесистого берега. На берегу виднелось кладбище: ветхие кресты толпились в кучку. Ни калина не растет меж ними, ни трава не зеленеет, только месяц греет их с небесной вышины.

— Слышите ли, хлопцы, крики? Кто-то зовет нас на помощь!— сказал пан Данило, оборотясь к гребцам своим.

— Мы слышим крики, и кажется, с той стороны,— разом сказали хлопцы, указывая на кладбище.

Но все стихло. Лодка поворотила и стала огибать выдавшийся берег. Вдруг гребцы опустили весла и недвижно уставили очи. Остановился и пан Данило: страх и холод прорезался в козацкие жилы.

Крест на могиле зашатался, и тихо поднялся из нее высохший мертвец. Борода до пояса; на пальцах когти длинные, еще длиннее самих пальцев. Тихо поднял он руки вверх. Лицо все задрожало у него и покривилось. Страшную муку, видно, терпел он. «Душно мне! душно!» — простонал он диким, нечеловечьим голосом. Голос его, будто нож, царапал сердце, и мертвец вдруг ушел под землю. Зашатался другой крест, и опять вышел мертвец, еще страшнее, еще выше прежнего; весь зарос, борода по колена и еще длиннее костяные когти. Еще диче закричал он: «Душно мне!»— и ушел под землю. Пошатнулся третий крест, поднялся третий мертвец. Казалось, одни только кости поднялись



высоко над землею. Борода по самые пяты; пальцы с длинными когтями вонзились в землю. Страшно протянул он руки вверх, как будто хотел достать месяца, и закричал так, как будто кто-нибудь стал пилить его желтые кости...

Дитя, спавшее на руках у Катерины, вскрикнуло и пробудилось. Сама пани вскрикнула. Гребцы пороняли шапки в Днепр. Сам пан вздрогнул.

Все вдруг пропало, как будто не бывало; однако ж долго хлопцы не брались за весла.

Заботливо поглядел Бурульбаш на молодую жену, которая в испуге качала на руках кричавшее дитя, прижал ее к сердцу и поцеловал в лоб.

— Не пугайся, Катерина! Гляди: ничего нет!— говорил он, указывая по сторонам.— Это колдун хочет утратить людей, чтобы никто не добрался до нечистого гнезда его. Баб только одних он напугает этим! Дай сюда на руки мне сына!— При сем слове поднял пан Данило своего сына вверх и поднес к губам.— Что, Иван, ты не боишься колдунов? «Нет, говори, тятя, я козак». Полно же, перестань плакать! домой приедем! Приедем домой — мать накормит кашею, положит тебя спать в люльку, запоеет:

Люли, люли, люли!  
Люли, сынку, люли!  
Да вырастай, вырастай в забаву!  
Козачеству на славу,  
Вороженькам в расправу!

Слушай, Катерина, мне кажется, что отец твой не хочет жить в ладу с нами. Приехал угрюмый, суровый, как будто сердится... Ну, недоволен, зачем и приезжать. Не хотел выпить за козацкую волю! не покачал на руках дитяти! Сперва было я ему хотел поверить все, что лежит на сердце, да не берет что-то, и речь заикнулась. Нет, у него не козацкое сердце! Козацкие сердца, когда встретятся где, как не выбьются из груди друг другу навстречу! Что, мои любые хлопцы, скоро берег? Ну, шапки я вам дам новые. Тебе, Стецько, дам выложенную бархатом с золотом. Я ее снял вместе с головою у татарина. Весь его снаряд достался мне; одну

только его душу я выпустил на волю. Ну, причаливай! Вот, Иван, мы и приехали, а ты все плачешь! Возьми его, Катерина!

Все вышли. Из-за горы показалась соломенная кровля: то дедовские хоромы пана Данила. За ними еще гора, а там уже и поле, а там хоть сто верст пройди, не сыщешь ни одного козака.

### III

Хутор пана Данила между двумя горами, в узкой долине, сбегаящей к Днепру. Невысокие у него хоромы: хата на вид как и у простых козаков, и в ней одна светлица; но есть где поместиться там и ему, и жене его, и старой прислужнице, и десяти отборным молодцам. Вокруг стен вверху идут дубовые полки. Густо на них стоят миски, горшки для трапезы. Есть меж ними и кубки серебряные, и чарки, оправленные в золото, дарственные и добытые на войне. Ниже висят дорогие мушкетеры, сабли, пищали, копыя. Волею и неволею перешли они от татар, турок и ляхов; немало зато и вызубрены. Глядя на них, пан Данило как будто по значкам припоминал свои схватки. Под стеною, внизу, дубовые гладко вытесанные лавки. Возле них, перед лежанкою, висит на веревках, продетых в кольцо, привинченное к потолку, люлька. Во всей светлице пол гладко убитый и смазанный глиною. На лавках спит с женою пан Данило. На лежанке старая прислужница. В люльке теплится и убаюкивается малое дитя. На полу покотом ночуют молодцы. Но козаку лучше спать на гладкой земле при вольном небе; ему не пуховик и не перина нужна; он мостит себе под голову свежее сено и вольно протягивается на траве. Ему весело, проснувшись среди ночи, взглянуть на высокое, засеянное звездами небо и вздрогнуть от ночного холода, принесшего свежесть козацким косточкам. Потягиваясь и бормоча сквозь сон, закуривает он люльку и закутывается крепче в теплый козух.

Не рано проснулся Бурульбаш после вчерашнего веселья и, проснувшись, сел в углу на лавке и начал

наточивать новую, выменянную им, турецкую саблю; а пани Катерина принялась вышивать золотом шелковый рушник. Вдруг вошел Катеринин отец, рассержен, нахмурен, с заморскою люлькою в зубах, приступил к дочке и сурово стал выпрашивать ее: что за причина тому, что так поздно воротилась она домой.

— Про эти дела, тесть, не ее, а меня спрашивать! Не жена, а муж отвечает. У нас уже так водится, не погневайся! — говорил Данило, не оставляя своего дела. — Может, в иных неверных землях этого не бывает — я не знаю.

Краска выступила на суровом лице тестя и очи дико блеснули.

— Кому ж, как не отцу, смотреть за своею дочкой! — бормотал он про себя. — Ну, я тебя спрашиваю: где таскался до поздней ночи?

— А вот это дело, дорогой тесть! На это я тебе скажу, что я давно уже вышел из тех, которых бабы пеленают. Знаю, как сидеть на коне. Умею держать в руках и саблю острую. Еще кое-что умею... Умею никому и ответа не давать в том, что делаю.

— Я вижу, Данило, я знаю, ты желаешь ссоры! Кто скрывается, у того, верно, на уме недоброе дело.

— Думай себе что хочешь, — сказал Данило, — думаю и я себе. Слава богу, ни в одном еще бесчестном деле не был; всегда стоял за веру православную и отчизну, — не так, как иные бродяги таскаются бог знает где, когда православные бьются насмерть, а после нагрянут убирать не ими засеянное жито. На униатов даже не похожи: не заглянут в божью церковь. Таких бы нужно допросить порядком, где они таскаются.

— Э, козак! знаешь ли ты... я плохо стреляю: всего за сто сажен пуля моя пронизывает сердце. Я и рублюсь незавидно: от человека остаются куски мельче круп, из которых варят кашу.

— Я готов, — сказал пан Данило, бойко перекрестивши воздух саблею, как будто знал, на что ее выточил.

— Данило! — закричала громко Катерина, ухвативши его за руку и повиснув на ней. — Вспомни, безумный, погляди, на кого ты подымаешь руку! Батько,

твои волосы белы, как снег, а ты разгорелся, как неразумный хлопец!

— Жена! — крикнул грозно пан Данило, — ты знаешь, я не люблю этого. Ведай свое бабье дело!

Сабли страшно звукнули; железо рубило железо, и искрами, будто пылью, обсыпали себя козаки. С плачем ушла Катерина в особую светлицу, кинулась в постель и закрыла уши, чтобы не слышать сабельных ударов. Но не так худо бились козаки, чтобы можно было заглушить их удары. Сердце ее хотело разорваться на части. По всему ее телу слышала она, как проходили звуки: тук, тук. «Нет, не вытерплю, не вытерплю... Может, уже алая кровь бьет ключом из белого тела. Может, теперь изнемогает мой милый; а я лежу здесь!» И вся бледная, едва переводя дух, вошла в хату.

Ровно и страшно бились козаки. Ни тот, ни другой не одолевает. Вот наступает Катеринин отец — подается пан Данило. Наступает пан Данило — подается суровый отец, и опять наравне. Кипят. Размахнулись... ух! сабли звенят... и, гремя, отлетели в сторону клинки.

— Благодарю тебя, боже! — сказала Катерина и вскрикнула снова, когда увидела, что козаки взялись за мушкеты. Поправили кремни, взвели курки.

Выстрелил пан Данило — не попал. Нацелился отец... Он стар; он видит не так зорко, как молодой, однако ж не дрожит его рука. Выстрел загремел... Пошатнулся пан Данило. Алая кровь выкрасила левый рукав козацкого жупана.

— Нет! — закричал он, — я не продам так дешево себя. Не левая рука, а правая атаман. Висит у меня на стене турецкий пистолет; еще ни разу во всю жизнь не изменял он мне. Слезай с стены, старый товарищ! покажи другу услугу! — Данило протянул руку.

— Данило! — закричала в отчаянии, схвативши его за руки и бросившись ему в ноги, Катерина. — Не за себя молю. Мне один конец: та недостойная жена, которая живет после своего мужа; Днепр, холодный Днепр будет мне могилою... Но погляди на сына, Данило, погляди на сына! Кто пригреет бедное дитя? Кто приголубит его? Кто выучит его летать на вороном коне, биться за волю и веру, пить и гулять по-козацки? Про-

падай, сын мой, пропадай! Тебя не хочет знать отец твой! Гляди, как он отворачивает лицо свое. О! я теперь знаю тебя! ты зверь, а не человек! у тебя волчье сердце, а душа лукавой гадины. Я думала, что у тебя капля жалости есть, что в твоём каменном теле человечье чувство горит. Безумно же я обманулась. Тебе это радость принесет. Твои кости станут танцевать в гробе с веселья, когда услышат, как нечестивые звери ляхи кинут в пламя твоего сына, когда сын твой будет кричать под ножами и окропом. О, я знаю тебя! Ты рад бы из гроба встать и раздувать шапкою огонь, взвихрившийся под ним!

— Посто́й, Катерина! ступай, мой ненаглядный Иван, я поцелую тебя! Нет, дитя мое, никто не тронет волоска твоего. Ты вырастешь на славу отчизны; как вихорь будешь ты летать перед козаками, с бархатною шапочною на голове, с острою саблею в руке. Дай, отец, руку! Забудем бывшее между нами. Что сделал перед тобою неправого — винюсь. Что же ты не даешь руки? — говорил Данило отцу Катерины, который стоял на одном месте, не выражая на лице своем ни гнева, ни примирения.

— Отец! — вскричала Катерина, обняв и поцеловав его. — Не будь неумолим, прости Данила: он не огорчит больше тебя!

— Для тебя только, моя дочь, прощаю! — отвечал он, поцеловав ее и блеснув странно очами. Катерина немного вздрогнула: чуден показался ей и поцелуй, и странный блеск очей. Она облокотилась на стол, на котором перевязывал раненую свою руку пан Данило, передумывая, что худо и не по-козацки сделал, просивши прощения, не будучи ни, в чем виноват,

#### IV

Блеснул день, но не солнечный: небо хмурилось, и тонкий дождь сеялся на поля, на леса, на широкий Днепр. Проснулась пани Катерина, но не радостна: очи заплаканы, и вся она смутна и беспокойна.

— Муж мой милый, муж дорогой, чудный мне соннился!

— Какой сон, моя любая пани Катерина?

— Снилось мне, чудно, право, и так живо, будто наяву, — случилось мне, что отец мой есть тот самый урод, которого мы видали у есаула. Но прошу тебя, не верь сну. Каких глупостей не привидится! Будто я стояла перед ним, дрожала вся, боялась, и от каждого слова его стонали мои жилы. Если б ты слышал, что он говорил...

— Что же он говорил, моя золотая Катерина?

— Говорил: «Ты посмотри на меня, Катерина, я хорош! Люди напрасно говорят, что я дурен. Я буду тебе славным мужем. Посмотри, как я поглядываю очами!» Тут навел он на меня огненные очи, я вскрикнула и пробудилась.

— Да, сны много говорят правды. Однако ж знаешь ли ты, что за горою не так спокойно? Чуть ли не ляхи стали выглядывать снова. Мне Горобець прислал сказать, чтобы я не спал. Напрасно только он заботится; я и без того не сплю. Хлопцы мои в эту ночь срубили двенадцать засеков. Посполитство будем угощать свинцовыми сливами, а шляхтичи потанцуют и от батогов.

— А отец знает об этом?

— Сидит у меня на шее твой отец! я до сих пор разгадать его не могу. Много, верно, он грехов наделал в чужой земле. Что ж, в самом деле, за причина: живет около месяца и хоть бы раз развеселился, как добрый козак! Не захотел выпить меду! слышишь, Катерина, не захотел меду выпить, который я вытрусил у брестовских жидов. Эй, хлопец! — крикнул пан Данило. — Беги, малый, в погреб да принеси жидовского меду! Горелки даже не пьет! экая пропасть! Мне кажется, пани Катерина, что он и в господа Христа не верует. А? как тебе кажется?

— Бог знает что говоришь ты, пан Данило!

— Чудно, пани! — продолжал Данило, принимая глиняную кружку от козака, — поганые католики даже падки до водки; одни только турки не пьют. Что, Стецько, много хлебнул меду в подвале?

— Попробовал только, пан!

— Лжешь, собачий сын! вишь, как мухи напали на усы! Я по глазам вижу, что хватил с полведра. Эх, козаки! что за лихой народ! все готов товарищу, а хмельное высушит сам. Я, пани Катерина, что-то давно уже был пьян. А?

— Вот давно! а в прошедший...

— Не бойся, не бойся, больше кружки не выпью! А вот и турецкий игумен влазит в дверь!— проговорил он сквозь зубы, увидя нагнувшегося, чтоб войти в дверь, тестя.

— А что ж это, моя дочь!— сказал отец, снимая с головы шапку и поправив пояс, на котором висела сабля с чудными каменьями,— солнце уже высоко, а у тебя обед не готов.

— Готов обед, пан отец, сейчас поставим! Вынимай горшок с галушками!— сказала пани Катерина старой прислужнице, обтиравшей деревянную посуду.— Пой, лучше я сама выну,— продолжала Катерина,— а ты позови хлопцев.

Все сели на полу в кружок: против покута пан отец, по левую руку пан Данило, по правую руку пани Катерина и десять наивернейших молодцов в синих и желтых жупанах.

— Не люблю я этих галушек!— сказал пан отец, немного поевши и положивши ложку,— никакого вкуса нет!

«Знаю, что тебе лучше жидовская лапша»,— подумал про себя Данило.

— Отчего же, тесть,— продолжал он вслух,— ты говоришь, что вкуса нет в галушках? Худо сделаны, что ли? Моя Катерина так делает галушки, что и гетьману редко достается есть такие. А брезгать ими нечего. Это христианское кушанье! Все святые люди и угодники божии едали галушки.

Ни слова отец; замолчал и пан Данило.

Подали жареного кабана с капустою и сливами.

— Я не люблю свинины!— сказал Катеринин отец, выгребая ложкою капусту.

— Для чего же не любить свинины?— сказал Данило.— Одни турки и жида не едят свинины.

Еще суровее нахмурился отец.

Только одну лемишку с молоком и ел старый отец и потянул вместо водки из фляжки, бывшей у него в пазухе, какую-то черную воду.

Пообедавши, заснул Данило молодецким сном и проснулся только около вечера. Сел и стал писать листы в козацкое войско; а пани Катерина начала качать ногою люльку, сидя на лежанке. Сидит пан Данило, глядит левым глазом на писание, а правым в окошко. А из окошка далеко блестят горы и Днепр. За Днепром синеют леса. Мелькает сверху прояснившееся ночное небо. Но не далеким небом и не синим лесом любитесь пан Данило: глядит он на выдавшийся мыс, на котором чернел старый замок. Ему почудилось, будто блеснуло в замке огнем узенькое окошко. Но все тихо. Это, верно, показалось ему. Слышно только, как глухо шумит внизу Днепр и с трех сторон, один за другим, отдаются удары мгновенно пробудившихся волн. Он не бунтует. Он, как старик, ворчит и ропщет; ему все не мило; все переменялось около него; тихо враждует он с прибережными горами, лесами, лугами и несет на них жалобу в Черное море.

Вот по широкому Днепру зачернела лодка, и в замке снова как будто блеснуло что-то. Потихоньку свистнул Данило, и выбежал на свист верный хлопец.

— Бери, Стецько, с собою скорее острую саблю да винтовку да ступай за мною!

— Ты идешь? — спросила пани Катерина.

— Иду, жена. Нужно обсмотреть все места, все ли в порядке.

— Мне, однако ж, страшно оставаться одной. Меня сон так и клонит. Что, если мне приснится то же самое? я даже не уверена, точно ли то сон был, — так это происходило живо.

— С тобою старуха остается; а в сенях и на дворе спят козаки!

— Старуха спит уже, а козакам что-то не верится. Слушай, пан Данило, замкни меня в комнате, а ключ возьми с собою. Мне тогда не так будет страшно; а козаки пусть лягут перед дверями.

— Пусть будет так! — сказал Данило, стирая пыль с винтовки и сыпя на полку порох.



Верный Стецько уже стоял одетый во всей козацкой сбруе. Данило надел смушевую шапку, закрыл окошко, задвинул засовами дверь, замкнул и вышел потихоньку из двора, промеж спавшими своими козаками, в горы.

Небо почти все прочистилось. Свежий ветер чуть-чуть навевал с Днепра. Если бы не слышно было издали стенания чайки, то все бы казалось онемевшим. Но вот почудился шорох... Бурульбаш с верным слугою тихо спрятался за терновник, прикрывавший срубленный засек. Кто-то в красном жупане, с двумя пистолетами, с саблею при боку, спустился с горы.

— Это тесть! — проговорил пан Данило, разглядев его из-за куста. — Зачем и куда ему идти в эту пору? Стецько! не зевай, смотри в оба глаза, куда возьмет дорогу пан отец. — Человек в красном жупане сошел на самый берег и поворотил к выдававшемуся мысу. — А! вот куда! — сказал пан Данило. — Что, Стецько, ведь он как раз потащился к колдуну в дупло.

— Да, верно, не в другое место, пан Данило! иначе мы бы видели его на другой стороне. Но он пропал около замка.

— Постой же, вылезем, а потом пойдем по следам. Тут что-нибудь да кроется. Нет, Катерина, я говорил тебе, что отец твой недобрый человек; не так он и делал все, как православный.

Уже мелькнули пан Данило и его верный хлопец на выдававшемся берегу. Вот уже их и не видно. Непробудный лес, окружавший замок, спрятал их. Верхнее окошко тихо засветилось. Внизу стоят козаки и думают, как бы влезть им. Ни ворот, ни дверей не видно. Со двора, верно, есть ход; но как войти туда? Издали слышно, как гремят цепи и бегают собаки.

— Что я думаю долго! — сказал пан Данило, увидя перед окном высокий дуб. — Стой тут, малый! я полезу на дуб; с него прямо можно глядеть в окошко.

Тут снял он с себя пояс, бросил вниз саблю, чтоб не звенела, и, ухватясь за ветви, поднялся вверх. Окошко все еще светилось. Присевши на сук, возле самого окна, уцепился он рукою за дерево и глядит: в комнате

и свечи нет, а светит. По стенам чудные знаки. Висит оружие, но все странное: такого не носят ни турки, ни крымцы, ни ляхи, ни христиане, ни славный народ шведский. Под потолком взад и вперед мелькают нетопыри, и тень от них мелькает по стенам, по дверям, по помосту. Вот отворилась без скрипа дверь. Входит кто-то в красном жупане и прямо к столу, накрытому белою скатертью. «Это он, это тесть!» Пан Данило опустился немного ниже и прижался крепче к дереву.

Но ему некогда глядеть, смотрит ли кто в окошко, или нет. Он пришел пасмурен, не в духе, сдернул со стола скатерть — и вдруг по всей комнате тихо разлился прозрачно-голубой свет. Только не смешавшиеся волны прежнего бледно-золотого переливались, ныряли, словно в голубом море, и тянулись слоями, будто на море. Тут поставил он на стол горшок и начал кидать в него какие-то травы.

Пан Данило стал вглядываться и не заметил уже на нем красного жупана; вместо того показались на нем широкие шаровары, какие носят турки; за поясом пистолеты; на голове какая-то чудная шапка, исписанная вся не русскою и не польскою грамотою. Глянул в лицо — и лицо стало переменяться: нос вытянулся и повиснул над губами; рот в минуту раздался до ушей; зуб выглянул из рта, нагнулся на сторону, — и стал перед ним тот самый колдун, который показался на свадьбе у есаула. «Правдив сон твой, Катерина!» — подумал Бурульбаш.

Колдун стал прохаживаться вокруг стола, знаки стали быстрее переменяться на стене, а нетопыри застали сплывнее вниз и вверх, взад и вперед. Голубой свет становился реже, реже и совсем как будто потухнул. И светлица осветилась уже тонким розовым светом. Казалось, с тихим звоном разливался чудный свет по всем углам, и вдруг пропал, и стала тьма. Слышался только шум, будто ветер в тихий час вечера наигрывал, кружась по водному зеркалу, пагибая еще ниже в воду серебряные ивы. И чудится пану Даниле, что в светлице блеснит месяц, ходят звезды, неясно мелькает темно-синее небо, и холод ночного воздуха пахнул даже

ему в лицо. И чудится пану Даниле (тут он стал щупать себя за усы, не спит ли), что уже не небо в светлице, а его собственная опочивальня: висят на стене его татарские и турецкие сабли; около стен полки, на полках домашняя посуда и утварь; на столе хлеб и соль; висит люлька... но вместо образов выглядят страшные лица; на лежанке... но сгустившийся туман покрыл все, и стало опять темно. И опять с чудным звоном осветилась вся светлица розовым светом, и опять стоит колдун неподвижно в чудной чалме своей. Звуки стали сильнее и гуще, тонкий розовый свет становился ярче, и что-то белое, как будто облако, веяло посреди хаты; и чудится пану Даниле, что облако то не облако, что то стоит женщина; только из чего она: из воздуха, что ли, выткана? Отчего же она стоит и земли не трогает, и не опершись ни на что, и сквозь нее просвечивает розовый свет, и мелькают на стене знаки? Вот она как-то пошевелила прозрачную голову свою: тихо светятся ее бледно-голубые очи; волосы вьются и падают по плечам ее, будто светло-серый туман; губы бледно алеют, будто сквозь бело-прозрачное утреннее небо льется сдва приметный алый свет зари; брови слабо темнеют... Ах! это Катерина! Тут почувствовал Данило, что члены у него оковались; он силился говорить, но губы шевелились без звука.

Неподвижно стоял колдун на своем месте.

— Где ты была? — спросил он, и стоявшая перед ним затрепетала.

— О! зачем ты меня вызвал? — тихо простонала она. — Мне было так радостно. Я была в том самом месте, где родилась и прожила пятнадцать лет. О, как хорошо там! Как зелен и душист тот луг, где я играла в детстве: и полевые цветочки те же, и хата наша, и огород! О, как обняла меня добрая мать моя! Какая любовь у ней в очах! Она приголубливала меня, целовала в уста и щеки, расчесывала частым гребнем мою русую косу... Отец! — тут она вперила в колдуна бледные очи, — зачем ты зарезал мать мою?

Грозно колдун погрозил пальцем.

— Разве я тебя просил говорить про это? — И воздушная красавица задрожала. — Где теперь пани твоя?

— Пани моя, Катерина, теперь заснула, а я и обрадовалась тому, вспорхнула и полетела. Мне давно хотелось увидеть мать. Мне вдруг сделалось пятнадцать лет. Я вся стала легка, как птица. Зачем ты меня вызвал?

— Ты помнишь все то, что я говорил тебе вчера? — спросил колдун так тихо, что едва можно было расслышать.

— Помню, помню; но чего бы не дала я, чтобы только забыть это! Бедная Катерина! она многого не знает из того, что знает душа ее.

«Это Катеринина душа», — подумал пан Данило; но все еще не смел пошевелиться.

— Покайся, отец! Не страшно ли, что после каждого убийства твоего мертвецы поднимаются из могил?

— Ты опять за старое! — грозно прервал колдун. — Я поставлю на своем, я заставлю тебя сделать, что мне хочется. Катерина полюбит меня!..

— О, ты чудовище, а не отец мой! — простонала она. — Нет, не будет по-твоему! Правда, ты взял нечистыми чарами твоими власть вызывать душу и мучить ее; но один только бог может заставлять ее делать то, что ему угодно. Нет, никогда Катерина, доколе я буду держаться в ее теле, не решится на богопротивное дело. Отец, близок страшный суд! Если б ты и не отец мой был, и тогда бы не заставил меня изменить моему любому, верному мужу. Если бы муж мой и не был мне верен и мил, и тогда бы не изменила ему, потому что бог не любит клятвопреступных и неверных душ.

Тут вперила она бледные очи свои в окошко, под которым сидел пан Данило, и недвижно остановилась...

— Куда ты глядишь? Кого ты там видишь? — закричал колдун.

Воздушная Катерина задрожала. Но уже пан Данило был давно на земле и пробирался с своим верным Стецьком в свои горы. «Страшно; страшно!» — говорил он про себя, почувствовав какую-то робость в козацком сердце, и скоро прошел двор свой, на котором так же крепко спали козаки, кроме одного, сидевшего на сторожке и курившего люльку. Небо все было засеяно звездами.

— Как хорошо ты сделал, что разбудил меня! — говорила Катерина, протирая очи шитым рукавом своей сорочки и разглядывая с ног до головы стоявшего перед нею мужа. — Какой страшный сон мне виделся! Как тяжело дышала грудь моя! Ух!.. Мне казалось, что я умираю...

— Какой же сон, уж не этот ли? — И стал Бурульбаш рассказывать жене своей все им виденное.

— Ты как это узнал, мой муж? — спросила, изумившись, Катерина. — Но нет, многое мне неизвестно из того, что ты рассказываешь. Нет, мне не снилось, чтобы отец убил мать мою; ни мертвецов, ничего не виделось мне. Нет, Данило, ты не так рассказываешь. Ах, как страшен отец мой!

— И не диво, что тебе многое не виделось. Ты не знаешь и десятой доли того, что знает душа. Знаешь ли, что отец твой антихрист? Еще в прошлом году, когда собирался я вместе с ляхами на крымцев (тогда еще я держал руку этого неверного народа), мне говорил игумен Братского монастыря, — он, жена, святой человек, — что антихрист имеет власть вызывать душу каждого человека; а душа гуляет по своей воле, когда заснет он, и летает вместе с архангелами около божией светлицы. Мне с первого раза не показалось лицо твоего отца. Если бы я знал, что у тебя такой отец, я бы не женился на тебе; я бы кинул тебя и не принял бы на душу греха, породнившись с антихристовым племенем.

— Данило! — сказала Катерина, закрыв лицо руками и рыдая, — я ли виновна в чем перед тобою? Я ли изменила тебе, мой любимый муж? Чем же навела на себя гнев твой? Не верно разве служила тебе? сказала ли противное слово, когда ты ворочался навеселе с молодецкой пирушки? тебе ли не родила чернобрового сына?..

— Не плачь, Катерина, я тебя теперь знаю и не брошу ни за что. Грехи все лежат на отце твоём.

— Нет, не называй его отцом моим! Он не отец мне. Бог свидетель, я отрекаюсь от него, отрекаюсь от отца!

Он антихрист, богоотступник! Пропадай он, тони он — не подам руки спасти его. Сохни он от тайной травы — не подам воды напиться ему. Ты у меня отец мой!

## VI

В глубоком подвале у пана Данила, за тремя замками, сидит колдун, закованный в железные цепи; а подале над Днепром горит бесовский его замок, и алые, как кровь, волны хлебещут и толпятся вокруг старинных стен. Не за колдовство и не за богопротивные дела сидит в глубоком подвале колдун: им судия бог; сидит он за тайное предательство, за сговоры с врагами православной русской земли — продать католикам украинский народ и выжечь христианские церкви. Угрюм колдун; дума черная, как ночь, у него в голове. Всего только один день остается жить ему, а завтра пора распрощаться с миром. Завтра ждет его казнь. Не совсем легкая казнь его ждет; это еще милость, когда сварят его живого в котле или сдерут с него грешную кожу. Угрюм колдун, поникнул головою. Может быть, он уже и кается перед смертным часом, только не такие грехи его, чтобы бог простил ему. Вверху перед ним узкое окно, переплетенное железными палками. Гремя цепями, подвелся он к окну поглядеть, не пройдет ли его дочь. Она кротка, не памятозлобна, как голубка, не умиосердится ли над отцом... Но никого нет. Внизу бежит дорога; по ней никто не пройдет. Понизже ее гуляет Днепр; ему ни до кого нет дела: он бушует, и унывно слышать колоднику однозвучный шум его.

Вот кто-то показался по дороге — это козак! И тяжело вздохнул узник. Опять все пусто. Вот кто-то вдали спускается... Развевается зеленый кунтуш... горит на голове золотой кораблик... Это она! Еще ближе прикинул он к окну. Вот уже подходит близко...

— Катерина! дочь! умиосердись, подай милостыню!..

Она нема, она не хочет слушать, она и глаз не наведет на тюрьму, и уже прошла, уже и скрылась. Пусто

во всем мире. Унывно шумит Днепр. Грусть залегает в сердце. Но всдаёт ли эту грусть колдун?

День клонится к вечеру. Уже солнце село. Уже и нет его. Уже и вечер: свежо; где-то мычит вол; откуда-то навеваются звуки,— верно, где-нибудь народ идет с работы и веселится; по Днепру мелькает лодка... кому нужда до колодника! Блеснул на небе серебряный серп. Вот кто-то идет с противной стороны по дороге. Трудно разглядеть в темноте. Это возвращается Катерина.

— Дочь, Христа ради! и свирепые волчενята не станут рвать свою мать, дочь, хотя взгляни на преступного отца своего! — Она не слушает и идет. — Дочь, ради несчастной матери!.. — Она остановилась. — Приди принять последнее мое слово!

— Зачем ты зовешь меня, богоотступник? Не называй меня дочерью! Между нами нет никакого родства. Чего ты хочешь от меня ради несчастной моей матери?

— Катерина! Мне близок конец: я знаю, меня твой муж хочет привязать к кобыльему хвосту и пустить по полю, а может, еще и страшнейшую выдумает казнь...

— Да разве есть на свете казнь, равная твоим грехам? Жди ее; никто не станет просить за тебя.

— Катерина! меня не казнь страшит, но муки на том свете... Ты невинна, Катерина, душа твоя будет летать в рае около бога; а душа богоотступного отца твоего будет гореть в огне вечном, и никогда не угаснет тот огонь: все сильнее и сильнее будет он разгораться; ни капли росы никто не уронит, ни вестер не пахнет...

— Этой казни я не властна умалить, — сказала Катерина, отвернувшись.

— Катерина! постой на одно слово: ты можешь спасти мою душу. Ты не знаешь еще, как добр и милосерд бог. Слышала ли ты про апостола Павла, какой был он грешный человек, но после покаялся и стал святым.

— Что я могу сделать, чтобы спасти твою душу? — сказала Катерина, — мне ли, слабой женщине, об этом подумать!

— Если бы мне удалось отсюда выйти, я бы все ки-

нул. Покаяюсь: пойду в пещеры, надену на тело жесткую власяницу, день и ночь буду молиться богу. Не только скоромного, не возьму рыбы в рот! не постелю одежды, когда стану спать! и все буду молиться, все молиться! И когда не снимет с меня милосердие божие хотя сотой доли грехов, закопаюсь по шею в землю или замуруюсь в каменную стену; не возьму ни пищи, ни питья и умру; а все добро свое отдам чернецам, чтобы сорок дней и сорок ночей правили по мне панихиду.

Задумалась Катерина.

— Хотя я отопру, но мне не расковать твоих цепей.

— Я не боюсь цепей,— говорил он.— Ты говоришь, что они заковали мои руки и ноги? Нет, я напустил им в глаза туман и вместо руки протянул сухое дерево. Вот я, гляди, на мне нет теперь ни одной цепи!— сказал он, выходя на середину.— Я бы и стен этих не побоялся и прошел бы сквозь них, но муж твой и не знает, какие это стены. Их строил святой схимник, и никакая нечистая сила не может отсюда вывести колодника, не отомкнув тем самым ключом, которым замыкал святой свою келью. Такую самую келью вырою и я себе, неслыханный грешник, когда выйду на волю.

— Слушай, я выпущу тебя; но если ты меня обманывашь,— сказала Катерина, остановившись пред дверью,— и, вместо того чтобы покаяться, станешь опять братом черту?

— Нет, Катерина, мне не долго остается жить уже. Близок и без казни мой конец. Неужели ты думаешь, что я предам сам себя на вечную муку?

Замки загремели.

— Прощай! храни тебя бог милосердый, дитя мое!— сказал колдун, поцеловав ее.

— Не прикасайся ко мне, неслыханный грешник, уходи скорее!..— говорила Катерина. Но его уже не было.

— Я выпустила его,— сказала она, испугавшись и дико осматривая стены.— Что я стану теперь отвечать мужу? Я пропала. Мне живой теперь остается зарыться в могилу! — и, зарывав, почти упала она на пень, на котором сидел колодник.— Но я спасла душу,— сказала она тихо.— Я сделала богоугодное дело. Но муж



мой... Я в первый раз обманула его. О, как страшно, как трудно будет мне перед ним говорить неправду. Кто-то идет! Это он! муж! — вскрикнула она отчаянно и без чувств упала на землю.

## VII

— Это я, моя родная дочь! Это я, мое серденько! — услышала Катерина, очнувшись, и увидела перед собою старую прислужницу. Баба, наклонившись, казалось что-то шептала и, протянув над нею иссохшую руку свою, опрыскивала ее холодною водою.

— Где я? — говорила Катерина, подымаясь и оглядываясь. — Передо мною шумит Днепр, за мною горы... куда завела меня ты, баба?

— Я тебя не завела, а вывела; вынесла на руках моих из душного подвала. Замкнула ключиком, чтобы тебе не досталось чего от пана Данила.

— Где же ключ? — сказала Катерина, поглядывая на свой пояс. — Я его не вижу.

— Его отвязал муж твой, поглядеть на колдуна, дитя мое.

— Поглядеть?.. Баба, я пропала! — вскрикнула Катерина.

— Пусть бог милует нас от этого, дитя мое! Молчи только, моя паняночка, никто ничего не узнает!

— Он убежал, проклятый антихрист! Ты слышала, Катерина? он убежал! — сказал пан Данило, приступая к жене своей. Очи метали огонь; сабля, звеня, тряслась при боку его.

Помертвела жена.

— Его выпустил кто-нибудь, мой любый муж? — проговорила она дрожа.

— Выпустил, правда твоя; но выпустил черт. Погляди, вместо него бревно заковано в железо. Сделал же бог так, что черт не боится козачьих лап! Если бы только думу об этом держал в голове хоть один из моих козаков и я бы узнал... я бы и казни ему не нашел!

— А если бы я?.. — невольно вымолвила Катерина и, испугавшись, остановилась.

— Если бы ты вздумала, тогда бы ты не жена мне была. Я бы тебя зашил тогда в мешок и утопил бы на самой середине Днепра!..

Дух занялся у Катерины, и ей чудилось, что волосы стали отделяться на голове ее.

## VIII

На пограничной дороге, в корчме, собрались ляхи и пируют уже два дни. Что-то немало всей сволочи. Сошлись, верно, на какой-нибудь наезд: у иных и мушкетеры есть; чокают шпоры, брякают сабли. Паны веселятся и хвастают, говорят про небывалые дела свои, насмеваются над православьем, зовут народ украинский своими холопьями и важно крутят усы, и важно, задравши головы, разваливаются на лавках. С ними и ксендз вместе. Только и ксендз у них на их же стать, и с виду даже не похож на христианского попа: пьет и гуляет с ними и говорит нечестивым языком своим срамные речи. Ни в чем не уступает им и челядь: по-закидали назад рукава оборванных жупанов своих и ходят козырем, как будто бы что путное. Играют в карты, бьют картами один другого по носам. Набрали с собою чужих жен. Крик, драка!.. Паны беснуются и отпускают шутики: хватают за бороду жида, малюют ему на нечестивом лбу крест; стреляют в баб холостыми зарядами и танцуют краковяк с нечестивым попом своим. Не бывало такого соблазна на русской земле и от татар. Видно, уже ей бог определил за грехи терпеть такое посрамление! Слышно между общим содомом, что говорят про заднепровский хутор пана Данила, про красавицу жену его... Не на доброе дело собралась эта шайка!

## IX

Сидит пан Данило за столом в своей светлице, подпершись локтем, и думает. Сидит на лежанке пани Катерина и поет песню.

— Чего-то грустно мне, жена моя! — сказал пан

Данило.— И голова болит у меня, и сердце болит. Как-то тяжело мне! Видно, где-то недалеко уже ходит смерть моя.

«О мой ненаглядный муж! приинки ко мне головою своею! Зачем ты приголубливаешь к себе такие черные думы»,— подумала Катерина, да не посмела сказать. Горько ей было, повинной голове, принимать мужские ласки.

— Слушай, жена моя! — сказал Данило,— не оставляй сына, когда меня не будет. Не будет тебе от бога счастья, если ты кинешь его, ни в том, ни в этом свете. Тяжело будет гнить моим костям в сырой земле; а еще тяжелее будет душе моей.

— Что говоришь ты, муж мой! Не ты ли издевался над нами, слабыми женами? А теперь сам говоришь, как слабая жена. Тебе еще долго нужно жить.

— Нет, Катерина, чует душа близкую смерть. Что-то грустно становится на свете. Времена лихие приходят. Ох, помню, помню я годы; им, верно, не воротиться! Он был еще жив, честь и слава нашего войска, старый Конашевич! Как будто перед очами моими проходят теперь козацкие полки! Это было золотое время, Катерина! Старый гетьман сидел на вороном коне. Блестела в руке булава; вокруг сердюки; по сторонам шевелилось красное море запорожцев. Стал говорить гетьман — и все стало как вкопанное. Заплакал старичина, как зачал вспоминать нам прежние дела и сечи. Эх, если б ты знала, Катерина, как резались мы тогда с турками! На голове моей виден и доныне рубец. Четыре пули пролетело в четырех местах сквозь меня. И ни одна из ран не зажила совсем. Сколько мы тогда набрали золота! Дорогие камения шапками черпали козаки. Каких коней, Катерина, если б ты знала, каких коней мы тогда угнали! Ох, не воевать уже мне так! Кажется, и не стар, и телом бодр; а меч козацкий вываливается из рук, живу без дела, и сам не знаю, для чего живу. Порядку нет в Украине: полковники и есаулы грызутся, как собаки, между собою. Нет старшей головы над всеми. Шляхетство наше все переменило на польский обычай, переняло лукавство... продало душу, принявши унию. Жидовство угнетает бедный народ. О время,

время! минувшее время! куда подевались вы, лета мои?.. Ступай, малый, в подвал, принеси мне кухоль меда! Выпью за прежнюю долю и за давние годы!

— Чем будем принимать гостей, пан? С луговой стороны идут ляхи! — сказал, вошедши в хату, Стецько.

— Знаю, зачем идут они, — вымолвил Данило, подымаясь с места. — Седлайте, мои верные слуги, коней! надевайте сбрую! сабли наголо! не забудьте набрать и свинцового толокна. С честью нужно встретить гостей!

Но еще не успели козаки сесть на коней и зарядить мушкеты, а уже ляхи, будто упавший осенью с дерева на землю лист, усеяли собою гору.

— Э, да тут есть с кем переведаться! — сказал Данило, поглядывая на толстых панов, важно качавшихся впереди на конях в золотой сбруе. — Видно, еще раз доведется нам погулять на славу! Натешься же, козацкая душа, в последний раз! Гуляйте, хлопцы, пришел наш праздник!

И пошла по горам потеха, и запировал пир: гуляют мечи, летают пули, ржут и топчут кони. От крику безумеет голова; от дыму слепнут очи. Все перемешалось. Но козак чует, где друг, где недруг; прошумит ли пуля — валится лихой седок с коня; свистнет сабля — катится по земле голова, бормоча языком несвязные речи.

Но виден в толпе красный верх козацкой шапки пана Данила; мечется в глаза золотой пояс на синем жупане; вихрем вьется грива вороного коня. Как птица, мелькает он там и там; покрикивает и машет дамасской саблей, и рубит с правого и левого плеча. Руби, козак! гуляй, козак! тешь молодецкое сердце; но не заглядывайся на золотые сбруи и жупаны! топчи под ноги золото и каменья! Коли, козак! гуляй, козак! но оглянись назад: нечестивые ляхи зажигают уже хаты и угоняют напуганный скот. И, как вихорь, поворотил пан Данило назад, и шапка с красным верхом мелькает уже возле хат, и редееет вокруг его толпа.

Не час, не другой бьются ляхи и козаки. Не много становится тех и других. Но не устает пан Данило: сбивает с седла длинным копьём своим, топчет лихим

конем пеших; уже очищается двор, уже начали разбегаться ляхи; уже обдирают козаки с убитых золотые жупаны и богатую сбрую; уже пан Данило собирается в погоню и взглянул, чтобы созвать своих... и весь закипел от ярости: ему показался Катеринин отец. Вот он стоит на горе и целит на него мушкет. Данило погнал коня прямо к нему... Козак, на гибель идешь!.. Мушкет гремит — и колдун пропал за горою. Только верный Стецько видел, как мелькнула красная одежда и чудная шапка. Зашатался козак и свалился на землю. Кинулся верный Стецько к своему пану, — лежит пан его, протянувшись на земле и закрывши ясные очи. Алая кровь закипела на груди. Но, видно, почуял верного слугу своего. Тихо приподнял веки, блеснул очами: «Прощай, Стецько! скажи Катерине, чтобы не покидала сына! Не покидайте и вы его, мои верные слуги!» — и затих. Вылетела козацкая душа из дворянского тела; посинели уста. Спит козак непробудно.

Зарыдал верный слуга и машет рукою Катерине: «Ступай, пани, ступай: подгулял твой пан. Лежит он пьянехонек на сырой земле. Долго не протрезвиться ему!»

Всплеснула руками Катерина и повалилась, как сноп, на мертвое тело. «Муж мой, ты ли лежишь тут, закрывши очи? Встань, мой ненаглядный сокол, протяни ручку свою! приподымись! погляди хоть раз на твою Катерину, пошевели устами, вымолви хоть одно словечко... Но ты молчишь, ты молчишь, мой ясный пан! Ты посинел, как Черное море. Сердце твое не бьется! Отчего ты такой холодный, мой пан? видно, не горючи мои слезы, невмочь им согреть тебя! Видно, не громок плач мой, не разбудить им тебя! Кто же поведет теперь полки твои? Кто понесется на твоём вороном конике, громко загукает и замашет саблей пред козаками? Козаки, козаки! где честь и слава ваша? Лежит честь и слава ваша, закрывши очи, на сырой земле. Похороните же меня, похороните вместе с ним! засыпьте мне очи землею! надавите мне кленовые доски на белые груди! Мне не нужна больше красота моя!»

Плачет и убивается Катерина; а даль вся покрывается пылью: скачет старый есаул Горобець на помощь.

Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелохнет; ни прогремит. Глядишь, и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру. Любо тогда и жаркому солнцу оглядеться с вышины и погрузить лучи в холод стеклянных вод и прибережным лесам ярко отсветиться в водах. Зеленокудрые! они толпятся вместе с полевыми цветами к водам и, наклонившись, глядят в них и не паглядятся, и не налюбуются светлым своим зраком, и усмеваются к нему, и приветствуют его, кивая ветвями. В середину же Днепра они не смеют глянуть: никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит в него. Редкая птица долетит до середины Днепра. Пышный! ему нет равной реки в мире. Чуден Днепр и при теплой летней ночи, когда все засыпает — и человек, и зверь, и птица; а бог один величаво озирает небо и землю и величаво сотрясает ризу. От ризы сыплются звезды. Звезды горят и светят над миром и все разом отдаются в Днепре. Всех их держит Днепр в темном лоне своем. Ни одна не убежит от него; разве погаснет на небе. Черный лес, унизанный спящими воронами, и древле разломанные горы, свесясь, силятся закрыть его хотя длиною тенью своею, — напрасно! Нет ничего в мире, что бы могло прикрыть Днепр. Синий, синий, ходит он плавным разливом и середь ночи, как середь дня; виден за столько вдаль, за сколько видеть может человечесьё око. Нежась и прижимаясь ближе к берегам от ночного холода, дает он по себе серебряную струю; и она вспыхивает, будто полоса дамасской сабли; а он, синий, снова заснул. Чуден и тогда Днепр, и нет реки, равной ему в мире! Когда же пойдут горами по небу синие тучи, черный лес шатается до корня, дубы трещат и молния, изламываясь между туч, разом осветит целый мир — страшен тогда Днепр! Водяные холмы гремят, ударяясь о горы, и с блеском и стоном отбегают назад, и плачут, и заливаются вдали. Так убивается старая мать козака,

выпровожая своего сына в войско. Разгульный и бодрый, едет он на вороном коне, подбоченившись и молодецки заломив шапку; а она, рыдая, бежит за ним, хватая его за стремя, ловит удила, и ломает над ним руки, и заливается горючими слезами.

Дико чернеют промеж ратующими волнами обгорелые пни и камни на выдавшемся берегу. И бьется об берег, подымаясь вверх и опускаясь вниз, пристающая лодка. Кто из козаков осмелился гулять в челне в то время, когда рассердился старый Днепр? Видно, ему не ведомо, что он глотает как мух людей.

Лодка причалила, и вышел из нее колдун. Невесел он; ему горька тризна, которую свершили козаки над убитым своим паном. Не мало поплатились ляхи: сорок четыре пана со всею сбруею и жупанами да тридцать три холопа изрублены в куски; а остальных вместе с конями угнали в плен продать татарам.

По каменным ступеням спустился он, между обгорелыми пнями, вниз, где, глубоко в земле, вырыта была у него землянка. Тихо вошел он, не скрипнувши дверью, поставил на стол, закрытый скатертью, горшок и стал бросать длинными руками своими какие-то неведомые травы; взял кухоль, выделанный из какого-то чудного дерсва, почерпнул им воды и стал лить, шевеля губами и творя какие-то заклинания. Показался розовый свет в светлице; и страшно было глянуть тогда ему в лицо: оно казалось кровавым, глубокие морщины только чернели на нем, а глаза были как в огне. Нечестивый грешник! уже и борода давно посседела, и лицо изрыто морщинами, и высох весь, а все еще творит богопротивный умысел. Посреди хаты стало веять белое облако, и что-то похожее на радость сверкнуло в лице его. Но отчего же вдруг стал он недвижим, с разинутым ртом, не смея пошевелиться, и отчего волосы щетиною поднялись на его голове? В облаке перед ним светилось чье-то чудное лицо. Непрошеное, незванное явилось оно к нему в гости; чем далее, выяснивалось больше и вприло неподвижные очи. Черты его, брови, глаза, губы — все незнакомое ему. Никогда во всю жизнь свою он его не видывал. И страшного, кажется, в нем мало, а непреодолимый ужас напал на него. А незнакомая дивная

голова сквозь облако так же неподвижно глядела на него. Облако уже и пропало; а неведомые черты еще резче выказывались, и острые очи не отрывались от него. Колдун весь побелел как полотно. Диким, не своим голосом вскрикнул, опрокинул горшок... Все пропало.

## XI

— Спокой себя, моя любая сестра! — говорил старый есаул Горобець. — Сны редко говорят правду.

— Приляг, сестрица! — говорила молодая его невестка. — Я позову старуху, ворожею; против ее никакая сила не устоит. Она выльет переполох тебе.

— Ничего не бойся! — говорил сын его, хватаясь за саблю, — никто тебя не обидит.

Пасмурно, мутными глазами глядела на всех Катерина и не находила речи. «Я сама устроила себе погибель. Я выпустила его». Наконец она сказала:

— Мне нет от него покоя! Вот уже десять дней я у вас в Киеве; а горя ни капли не убавилось. Думала, буду хоть в тишине растить на месть сына... Страшен, страшен привиделся он мне во сне! Боже сохрани и вам увидеть его! Сердце мое до сих пор бьется. «Я зарублю твое дитя, Катерина, — кричал он, — если не выйдешь за меня замуж!..» — и, зарывдав, кинулась она к колыбели, а испуганное дитя протянуло ручки и кричало.

Кипел и сверкал сын есаула от гнева, слыша такие речи.

Расходился и сам есаул Горобець:

— Пусть попробует он, окаянный антихрист, прийти сюда; отведает, бывает ли сила в руках старого козака. Бог видит, — говорил он, подымая кверху прозорливые очи, — не летел ли я подать руку брату Данилу? Его святая воля! застал уже на холодной постеле, на которой много, много улеглось козацкого народа. Зато разве не пышна была тризна по нем? выпустили ли хоть одного ляха живого? Успокойся же, мое дитя! никто не посмеет тебя обидеть, разве ни меня не будет, ни моего сына.



Кончив слова свои, старый есаул пришел к колыбели, и дитя, увидевши висевшую на ремне у него в серебряной оправе красную люльку и гаман с блестящим огнивом, протянуло к нему ручонки и засмеялось.

— По отцу пойдет, — сказал старый есаул, снимая с себя люльку и отдавая ему, — еще от колыбели не отстал, а уже думает курить люльку.

Тихо вздохнула Катерина и стала качать колыбель. Сговорились провести ночь вместе, и мало погодя уснули все. Уснула и Катерина.

На дворе и в хате все было тихо; не спали только козаки, стоявшие на стороже. Вдруг Катерина, вскрикнув, проснулась, и за нею проснулись все. «Он убит, он зарезан!» — кричала она и кинулась к колыбели.

Все обступили колыбель и окаменели от страха, увидевши, что в ней лежало неживое дитя. Ни звука не вымолвил ни один из них, не зная, что думать о неслыханном злодействе.

## ХП

Далеко от Украинского края, проехавши Польшу, минуя и многолюдный город Лемберг, идут рядами высоковерхие горы. Гора за горою, будто каменными цепями, перекидывают они вправо и влево землю и обковывают ее каменною толщей, чтобы не прососало шумное и буйное море. Идут каменные цепи в Валахию и в Седмиградскую область, и громадою стали в виде подковы между галичским и венгерским народом. Нет таких гор в нашей стороне. Глаз не смеет оглянуть их; а на вершину иных не заходила и нога человека. Чуден и вид их: не задорное ли море выбежало в бурю из широких берегов, вскинуло вихрем безобразные волны, и они, окаменев, остались недвижимы в воздухе? Не оборвались ли с неба тяжелые тучи и загромождили собою землю? ибо и на них такой же серый цвет, а белая верхушка блестит и искрится при солнце. Еще до Карпатских гор услышишь русскую молвь, и за горами еще кой-где отзовется как будто родное слово; а там уже и вера не та, и речь не та. Живет немалолюдный народ венгерский; ездит на конях, рубится и пьет

не хуже козака; а за конную сбрую и дорогие кафтаны не скупится вынимать из кармана червонцы. Раздольны и волпки есть между горами озера. Как стекло, недвижимы они и, как зеркало, отрадают в себе голые вершины гор и зеленые их подошвы.

Но кто среди ночи, блещут или не блещут звезды, едет на огромном вороном коне? Какой богатырь с нечеловечьим ростом скачет под горами, над озерами, отсвечивается с исполинским конем в недвижных водах, и бесконечная тень его страшно мелькает по горам? Блещут чеканенные латы; на плече пика; гремит при седле сабля; шелом надвинут; усы чернеют; очи закрыты; ресницы опущены — он спит. И, сонный, держит повода; и за ним сидит на том же коне младенец паж и также спит и, сонный, держится за богатыря. Кто он, куда, зачем едет? — кто его знает. Не день, не два уже он переезжает горы. Блеснет день, взойдет солнце, его не видно; изредка только замечали горцы, что по горам мелькает чья-то длинная тень, а небо ясно, и тучи не пройдет по нем. Чуть же ночь наведет темноту, снова он виден и отдается в озерах, и за ним, дрожа, скачет тень его. Уже проехал много он гор и въехал на Криван. Горы этой нет выше между Карпатом; как царь подымается она над другими. Тут остановился конь и всадник, и еще глубже погрузился в сон, и тучи, спустясь, закрыли его.

### ХІІІ

«Тс... тише, баба! не стучи так, дитя мое заснуло. Долго кричал сын мой, теперь спит. Я пойду в лес, баба! Да что же ты так глядишь на меня? Ты страшна: у тебя из глаз вытягиваются железные клещи... ух, какие длинные! и горят, как огонь! Ты, верно, ведьма! О, если ты ведьма, то пропади отсюда! ты украдешь моего сына. Какой бестолковый этот есаул: он думает, мне весело жить в Киеве; нет, здесь и муж мой и сын, кто же будет смотреть за хатой? Я ушла так тихо, что ни кошка, ни собака не услышала. Ты хочешь, баба, сделаться молодою — это совсем нетрудно: нужно танцевать только; гляди, как я танцую...» И, проговорив

такие несвязные речи, уже неслась Катерина, безумно поглядывая на все стороны и упираясь руками в боки. С визгом притопывала она ногами; без меры, без такта звенели серебряные подковы. Незаплетенные черные косы метались по белой шее. Как птица, не останавливаясь, летела она, размахивая руками и кивая головою, и казалось, будто, обессилев, или грянется наземь, или вылетит из мира.

Печально стояла старая няня, и слезами налились ее глубокие морщины; тяжкий камень лежал на сердце у верных хлопцев, глядевших на свою пани. Уже совсем ослабела она и лениво топала ногами на одном месте, думая, что танцует горлицу. «А у меня монисто есть, парубки! — сказала она, наконец остановившись, — а у вас нет!.. Где муж мой? — вскричала она вдруг, выхватив из-за пояса турецкий кинжал. — О! это не такой нож, какой нужно. — При этом и слезы и тоска показались у ней на лице. — У отца моего далеко сердце: он не достанет до него. У него сердце из железа выковано. Ему выковала одна ведьма на пекельном огне. Что ж нейдет отец мой? разве он не знает, что пора заколоть его? Видно, он хочет, чтоб я сама пришла... — И, не докончив, чудно засмеялась. — Мне пришла на ум забавная история: я вспомнила, как погребали моего мужа. Ведь его живого погребли... какой смех забирал меня!.. Слушайте, слушайте!» И вместо слов начала она петь песню:

Біжить возок кривавенький;  
У тім возку козак лежить,  
Постріляний, порубаний.  
В правій ручці дротик держить,  
З того дроту кривця біжить;  
Біжить ріка кривавая.  
Над річкою явор стоїть,  
Над явором ворон кряче.  
За козаком мати плаче.  
Не плач, мати, не журися!  
Бо вже твій син оженився,  
Та взяв жінку паняночку,  
В чистом полі земляночку,  
І без дверець, без оконць.  
Та вже пісні вийшов конець.  
Танцювала рыба з раком...  
А хто мене не полюбить, трясця его матері!

Так перемешивались у ней все песни. Уже день и два живет она в своей хате и не хочет слышать о Киеве, и не молится, и бежит от людей, и с утра до позднего вечера бродит по темным дубравам. Острые сучья царапают белое лицо и плеча; ветер треплет расплетенные косы; давние листья шумят под ногами ее — ни на что не глядит она. В час, когда вечерняя заря тухнет, еще не являются звезды, не горит месяц, а уже страшно ходить в лесу: по деревьям царапаются и хватаются за сучья некрещенные дети, рыдают, хохочут, катятся клубом по дорогам и в широкой крапиве; из днепровских волн выбегают вереницами погубившие свои души девы; волосы льются с зеленой головы на плечи, вода, звучно журча, бежит с длинных волос на землю, и дева светится сквозь воду, как будто бы сквозь стеклянную рубашку; уста чудно усмежаются, щеки пылают, очи выманивают душу... она сгорела бы от любви, она зацеловала бы... Беги, крещеный человек! уста ее — лед, постель — холодная вода; она защекочет тебя и утащит в реку. Катерина не глядит ни на кого, не боится, безумная, русалок, бегают поздно с ножом своим и ищет отца.

С ранним утром приехал какой-то гость, статный собою, в красном жупане, и осведомляется о пане Даниле; слышит все, утирает рукавом заплаканные очи и пожимает плечами. Он-де воевал вместе с покойным Бурульбашем; вместе рубились они с крымцами и турками; ждал ли он, чтобы такой конец был пана Данила. Рассказывает еще гость о многом другом и хочет видеть пани Катерину.

Катерина сначала не слушала ничего, что говорил гость; напоследок стала, как разумная, вслушиваться в его речи. Он повел про то, как они жили вместе с Данилом, будто брат с братом; как укрылись раз под греблею от крымцев... Катерина все слушала и не спускала с него очей.

«Она отойдет! — думали хлопцы, глядя на нее. — Этот гость вылечит ее! Она уже слушает, как разумная!»

Гость начал рассказывать между тем, как пан Данило, в час откровенной беседы, сказал ему: «Гляди, брат Копрян: когда волею божией не будет меня на

свете, возьми к себе жену, и пусть будет она твоею женою...»

Страшно вонзила в него очи Катерина. «А! — вскрикнула она, — это он! это отец!» — и кинулась на него с ножом.

Долго боролся тот, стараясь вырвать у нее нож. Наконец вырвал, замахнулся — и совершилось страшное дело: отец убил безумную дочь свою.

Изумившиеся козаки кинулись было на него; но колдун уже успел вскочить на коня и пропал из виду.

## XIV

За Киевом показалось неслыханное чудо. Все паны и гетьманы собирались дивиться сему чуду: вдруг стало видимо далеко во все концы света. Вдали засинел Лиман, за Лиманом разливалось Черное море. Бывалые люди узнали и Крым, горою подымавшийся из моря, и болотный Сиваш. По левую руку видна была земля Галичская.

— А то что такое? — допрашивал собравшийся народ старых людей, указывая на далеко мерсцившиеся на небе и больше похожие на облака серые и белые верхи.

— То Карпатские горы! — говорили старые люди, — меж ними есть такие, с которых век не сходит снег, а тучи пристают и ночуют там.

Тут показалось новое диво: облака слетели с самой высокой горы, и на вершине ее показался во всей рыцарской сбруе человек на коне, с закрытыми очами, и так виден, как бы стоял вблизи.

Тут, меж дивившимся со страхом народом, один вскочил на коня и, дико озираясь по сторонам, как будто ища очами, не гонится ли кто за ним, торопливо, во всю мочь, погнал коня своего. То был колдун. Чего же так перепугался он? Со страхом взглядевшись в чудного рыцаря, узнал он на нем то же самое лицо, которое, незваное, показалось ему, когда он ворожил. Сам не мог он разуместь, отчего в нем все смутилось при таком виде, и, робко озираясь, мчался он на коне,

покамест не застигнул его вечер и не проглянули звезды. Тут поворотил он домой, может быть допросить нечистую силу, что значит такое диво. Уже он хотел перескочить с конем через узкую реку, выступившую рукавом среди дороги, как вдруг конь на всем скаку остановился, заворотил к нему морду и — чудо, засмеялся! белые зубы страшно блеснули двумя рядами во мраке. Дыбом поднялись волосы на голове колдуна. Дико закричал он и заплакал, как иступленный, и погнал коня прямо к Киеву. Ему чудилось, что все со всех сторон бежало ловить его: деревья, обступивши темным лесом и как будто живые, кивая черными бородами и вытягивая длинные ветви, силились задушить его; звезды, казалось, бежали впереди перед ним, указывая всем на грешника; сама дорога, чудилось, мчалась по следам его. Отчаянный колдун летел в Киев к святым местам.

## ХV

Одинокó сидел в своей пещере перед лампадою схимник и не сводил очей с святой книги. Уже много лет, как он затворился в своей пещере. Уже сделал себе и дощатый гроб, в который ложился спать вместо постели. Закрыв святой старец свою книгу и стал молиться... Вдруг вбежал человек чудного, страшного вида. Изумился святой схимник в первый раз и отступил, увидев такого человека. Весь дрожал он, как осиновый лист; очи дико косились; страшный огонь пугливо сыпался из очей; дрожь наводило на душу уродливое его лицо.

— Отец, молись! молись! — закричал он отчаянно, — молись о погибшей душе! — и грянулся на землю.

Святой схимник перекрестился, достал книгу, развернул — и в ужасе отступил назад и выронил книгу.

— Нет, неслыханный грешник! нет тебе помилования! беги отсюда! не могу молиться о тебе!

— Нет? — закричал, как безумный, грешник.

— Гляди: святые буквы в книге налились кровью. Еще никогда в мире не бывало такого грешника!

— Отец, ты смеешься надо мною!

— Иди, окаянный грешник! не смеюсь я над тобою. Боязнь овладевает мною. Не добро быть человеку с тобою вместе!

— Нет, нет! ты смеешься, не говори... я вижу, как раздвинулся рот твой: вот белеют рядами твои старые зубы!..

И как бешеный кинулся он — и убил святого схимника.

Что-то тяжело застонало, и стон перенесся через поле и лес. Из-за леса поднялись тощие, сухие руки с длинными когтями; затряслись и пропали.

И уже ни страха, ничего не чувствовал он. Все чудится ему как-то смутно. В ушах шумит, в голове шумит, как будто от хмеля; и все, что ни есть перед глазами, покрывается как бы паутиною. Вскочивши на коня, поехал он прямо в Канев, думая оттуда через Черкасы направить путь к татарам прямо в Крым, сам на зная для чего. Едет он уже день, другой, а Канева все нет. Дорога та самая; пора бы ему уже давно показаться, но Канева не видно. Вдали блеснули верхушки церквей. Но это не Канев, а Шумск. Изумился колдун, видя, что он заехал совсем в другую сторону. Погнал коня назад к Киеву, и через день показался город; но не Киев, а Галич, город еще далее от Киева, чем Шумск, и уже недалеко от венгров. Не зная что делать, поворотил он коня снова назад, но чувствует снова, что едет в противную сторону и все вперед. Не мог бы ни один человек в свете рассказать, что было на душе у колдуна; а если бы он заглянул и увидел, что там делалось, то уже недосыпал бы он ночей и не засмеялся бы ни разу. То была не злость, не страх и не лютая досада. Нет такого слова на свете, которым бы можно было его назвать. Его жгло, пекло, ему хотелось бы весь свет вытоптать конем своим, взять всю землю от Киева до Галича с людьми, со всем и затопить ее в Черном море. Но не от злобы хотелось ему это сделать; нет, сам он не знал отчего. Весь вздрогнул он, когда уже показались близко перед ним Карпатские горы и высокий Криван, накрывший свое темя, будто шапкою, ссерсю тучею; а конь все несея и уже рыскал по горам. Тучи

разом очистились, и перед ним показался в страшном величии всадник... Он силится остановиться, крепко натягивает удила; дико ржал конь, подымая гриву, и мчался к рыцарю. Тут чудится колдуну, что все в нем замерло, что недвижный всадник шевелится и разом открыл свои очи; увидел несшегося к нему колдуна и засмеялся. Как гром, рассыпался дикий смех по горам и зазвучал в сердце колдуна, потрясши все, что было внутри его. Ему чудилось, что будто кто-то сильный влез в него и ходил внутри его и бил молотами по сердцу, по жилам... так страшно отдался в нем этот смех!

Ухватил всадник страшною рукою колдуна и поднял его на воздух. Вмиг умер колдун и открыл после смерти очи. Но уже был мертвец и глядел как мертвец. Так страшно не глядит ни живой, ни воскресший. Ворочал он по сторонам мертвыми глазами и увидел поднявшихся мертвецов от Киева, и от земли Галичской, и от Карпата, как две капли воды схожих лицом на него.

Бледны, бледны, один другого выше, один другого костистей, стали они вокруг всадника, державшего в руке страшную добычу. Еще раз засмеялся рыцарь и кинул ее в пропасть. И все мертвецы вскочили в пропасть, подхватили мертвеца и вонзили в него свои зубы. Еще один, всех выше, всех страшнее, хотел подняться из земли; но не мог, не в силах был этого сделать, так велик вырос он в земле; а если бы поднялся, то опрокинул бы и Карпат, и Седмиградскую и Турецкую землю; немного только подвинулся он, и пошло от того трясение по всей земле. И много попрокидывалось везде хат. И много задавило народу.

Слышится часто по Карпату свист, как будто тысяча мельниц шумит колесами на воде. То в безвыходной пропасти, которой не видал еще ни один человек, страшась проходить мимо, мертвецы грызут мертвеца. Нередко бывало по всему миру, что земля тряслась от одного конца до другого: то оттого делается, толкуют грамотные люди, что есть где-то близ моря гора, из которой выхватывается пламя и текут горящие



реки. Но старики, которые живут в Венгрии и в Галичской земле, лучше знают это и говорят: что то хочет подняться выросший в земле великий, великий мертвец и трясет землю.

## XVI

В городе Глухове собрался народ около старца бандуриста и уже с час слушал, как слепец играл на бандуре. Еще таких чудных песен и так хорошо не пел ни один бандурист. Сперва повел он про прежнюю гетьманщину, за Сагайдачного и Хмельницкого. Тогда иное было время: козачество было в славе; топтало конями неприятелей, и никто не смел посмеяться над ним. Пел и веселые песни старец и повоживал своими очами на народ, как будто зрящий; а пальцы, с приделанными к ним костями, летали как муха по струнам, и казалось, струны сами играли; а кругом народ, старые люди, понутив головы, а молодые, подняв очи на старца, не смели и шептать между собою.

— Пойдите, — сказал старец, — я вам запую про одно давнее дело.

Народ сдвинулся еще теснее; и слепец запел:

«За пана Степана, князя Седмиградского, был князь Седмиградский королем и у ляхов, жило два козака: Иван да Петро. Жили они так, как брат с братом. «Гляди, Иван, все, что ни добудешь, — все пополам: когда кому веселье — веселье и другому; когда кому горе — горе и обоим; когда кому добыча — пополам добычу; когда кто в полон попадет — другой продай все и дай выкуп, а не то сам ступай в полон». И правда, все, что ни доставали козаки, все делили пополам; угоняли ли чужой скот или коней, все делили пополам.

\* \* \*

Воевал король Степан с турчином. Уже три недели воюет он с турчином, а все не может его выгнать. А у турчина был паша такой, что сам с десятью янычарами мог порубить целый полк. Вот объявил король Степан, что если сыщется смельчак и приведет к нему того пашу

живого или мертвого, даст ему одному столько жалованья, сколько дает на все войско. «Пойдем, брат, ловить пашу!» — сказал брат Иван Петру. И поехали козаки, один в одну сторону, другой в другую.

\* \* \*

Поймал ли бы еще, или не поймал Петро, а уже Иван ведет пашу арканом за шею к самому королю. «Бравый молодец!» — сказал король Степан и приказал выдать ему одному такое жалованье, какое получает все войско; и приказал отвести ему земли там, где он задумает себе, и дать скота, сколько пожелает. Как получил Иван жалованье от короля, в тот же день разделил все поровну между собою и Петром. Взял Петро половину королевского жалованья, но не мог вынести того, что Иван получил такую честь от короля, и затаил глубоко на душе месть.

\* \* \*

Ехали оба рыцаря на жалованную королем землю, за Карпат. Посадил козак Иван с собою на коня своего сына, привязав его к себе. Уже настали сумерки — они все едут. Младенец заснул, стал дремать и сам Иван. Не дремли, козак, по горам дороги опасные!.. Но у козака такой конь, что сам везде знает дорогу, не спотыкнется и не оступится. Есть между горами провал, в провале дна никто не видал; сколько от земли до неба, столько до дна того провала. По-над самым провалом дорога — два человека еще могут проехать, а трое ни за что. Стал бережно ступать конь с дремавшим козаком. Рядом ехал Петро, весь дрожал и притаил дух от радости. Оглянулся и толкнул названного брата в провал. И конь с козаком и младенцем полетел в провал.

\* \* \*

Ухватился, однако ж, козак за сук, и один только конь полетел на дно. Стал он карабкаться, с сыном за плечами, вверх; немного уже не добрался, поднял глаза и увидел, что Петро наставил пику, чтобы столк-

нуть его назад. «Боже ты мой праведный, лучше б мне не подымать глаз, чем видеть, как родной брат наставляет пикую столкнуть меня назад... Брат мой милый! коли меня пикой, когда уже мне так написано на роду, но возьми сына! чем безвинный младенец виноват, чтобы ему пропасть такою лютою смертью?» Засмеялся Петро и толкнул его пикой, и козак с младенцем полетел на дно. Забрал себе Петро все добро и стал жить, как паша. Табунов ни у кого таких не было, как у Петра. Овец и баранов нигде столько не было. И умер Петро.

\* \* \*

Как умер Петро, призвал бог души обоих братьев, Петра и Ивана, на суд. «Великий есть грешник сей человек! — сказал бог. — Иване! не выберу я ему скоро казни; выбери ты сам ему казнь!» Долго думал Иван, вымышляя казнь, и, наконец, сказал: «Великую обиду нанес мне сей человек: предал своего брата, как Иуда, и лишил меня честного моего рода и потомства на земле. А человек без честного рода и потомства, что хлебное семя, кинутое в землю и пропавшее даром в земле. Всходу нет — никто и не узнает, что кинута было семя.

\* \* \*

Сделай же, боже, так, чтобы все потомство его не имело на земле счастья! чтобы последний в роде был такой злодей, какого еще и не бывало на свете! и от каждого его злодейства чтобы деды и прадеды его не нашли бы покоя в гробах и, терпя муку, неведомую на свете, подымались бы из могил! А Иуда Петро чтобы не в силах был подняться и оттого терпел бы муку еще горшую; и сл бы, как бешеный, землю, и корчился бы под землею!

\* \* \*

И когда придет час меры в злодействах тому человеку, подыми меня, боже, из того провала на коне на самую высокую гору, и пусть придет он ко мне, и брошу я его с той горы в самый глубокий провал, и все мертвецы,

его деды и прадеды, где бы ни жили при жизни, чтобы все потянулись от разных сторон земли грызть его за те муки, что он наносил им, и вечно бы его грызли, и повеселился бы я, глядя на его муки! А Иуда Петро чтобы не мог подняться из земли, чтобы рвался грызть и себе, но грыз бы самого себя, а кости его росли бы, чем дальше, больше, чтобы чрез то еще сильнее становилась его боль. Та мука для него будет самая страшная: ибо для человека нет большей муки, как хотеть отомстить, и не мочь отомстить».

\* \* \*

«Страшна казнь, тобою выдуманная, человече! — сказал бог.— Пусть будет все так, как ты сказал, но и ты сиди вечно там на коне своем, и не будет тебе царствия небесного, покамест ты будешь сидеть там на коне своем!» И то все так сбылось, как было сказано: и донныне стоит на Карпате на коне дивный рыцарь, и видит, как в бездонном провале грызут мертвецы мертвеца, и чует, как лежащий под землею мертвец растет, гложет в страшных муках свои кости и страшно трясет всю землю...»

Уже слепец кончил свою песню; уже снова стал перебирать струны; уже стал петь смешные присказки про Хому и Ерему, про Сткляра Стокозу... но старые и малые все еще не думали очнуться и долго стояли, потупив головы, раздумывая о страшном, в старину случившемся деле.

## ИВАН ФЕДОРОВИЧ ШПОНЬКА И ЕГО ТЕТУШКА

С этой историей случилась история: нам рассказывал ее приезжавший из Гадяча Степан Иванович Курочка. Нужно вам знать, что память у меня, невозможно сказать, что за дрянь: хоть говори, хоть не говори, все одно. То же самое, что в решето воду лей. Зная за собою такой грех, нарочно просил его списать ее в тетрадку. Ну, дай бог ему здоровья, человек он был всегда добрый для меня, взял и списал. Положил я ее в маленький столтик; вы, думаю, его хорошо знаете: он стоит в углу, когда войдешь в дверь... Да, я и позабыл, что вы у меня никогда не были. Старуха моя, с которой живу уже лет тридцать вместе, грамоте сроду не училась; нечего и греха таить. Вот замечаю я, что она пирожки печет на какой-то бумаге. Пирожки она, любезные читатели, удивительно хорошо печет; лучших пирожков вы нигде не будете есть. Посмотрел как-то на сподку пирожка, смотрю: писанные слова. Как будто сердце у меня знало, прихожу к столику — тетрадки и половины нет! Остальные листки все растаскала на пироги. Что прикажешь делать? на старости лет не подражаться же!

Прошлый год случилось проезжать чрез Гадяч. Нарочно еще, не доезжая города, завязал узелок, чтобы не забыть попросить об этом Степана Ивановича. Этого мало: взял обещание с самого себя — как только чихну в городе, то чтобы при этом вспомнить о нем. Все напрасно. Проехал чрез город, и чихнул, и высморкался

в платок, а все позабыл; да уже вспомнил, как верст за шесть отъехал от заставы. Нечего делать, пришлось печатать без конца. Впрочем, если кто жсляет непременно знать, о чем гсворится далее в этой повести, то ему стоит только нарочно приехать в Гадяч и попросить Степана Ивановича. Он с большим удовольствием расскажет ее, хоть, пожалуй, снова от начала до конца. Живет он недалеко возле каменной церкви. Тут есть сейчас маленький переулок: как только поворотишь в переулок, то будут вторые или третьи ворота. Да вот лучше: когда увидите на дворе большой шест с перепелом и выйдет навстречу вам толстая баба в зеленой юбке (он, не мешает сказать, ведет жизнь холостую), то это его двор. Впрочем, вы можете его встретить на базаре, где бывает он каждое утро до девяти часов, выбирает рыбу и зелень для своего стола и разговаривает с отцом Антипом или с жидом-откупщиком. Вы его тотчас узнаете, потому что ни у кого нет, кроме него, панталон из цветной выбойки и китайчатого желтого сюртука. Вот еще вам примета: когда ходит он, то всегда размахивает руками. Еще покойный тамошний заседатель, Денис Петрович, всегда, бывало, увидевши его издали, говорил: «Глядите, глядите, вон идет ветряная мельница!»

## I

### ИВАН ФЕДОРОВИЧ ШПОНЬКА

Уже четыре года, как Иван Федорович Шпонька в отставке и живет в хуторе своем Вытребеньках. Когда был он еще Ванюшею, то обучался в гадячском поветовом училище, и надобно сказать, что был преблагоправный и престарательный мальчик. Учитель российской грамматики, Никифор Тимофеевич Деепричастие, говаривал, что если бы все у него были так старательны, как Шпонька, то он не носил бы с собою в класс кленовой линейки, которою, как сам он признавался, уставал бить по рукам ленивцев и шалунов. Тетрадка у него всегда была чистенькая, кругом облинеенная, нигде ни пятнышка. Сидел он всегда смирно, сложив руки и уставив глаза на учителя, и никогда не приве-

пивал сидевшему впереди его товарищу на спину бумажек, не резал скамьи и не играл до прихода учителя в *тесной бабы*. Когда кому нужна была в ножике очинить перо, то он немедленно обращался к Ивану Федоровичу, зная, что у него всегда водился ножик; и Иван Федорович, тогда еще просто Ванюша, вынимал его из небольшого кожаного чехольчика, привязанного к петле своего серенького сюртука, и просил только не скоблить пера острием ножика, уверяя, что для этого есть тупая сторона. Такое благонравие скоро привлекло на него внимание даже самого учителя латинского языка, которого один кашель в сенях, прежде нежели высывалась в дверь его фризová шинель и лицо, изукрашенное оспою, наводил страх на весь класс. Этот страшный учитель, у которого на кафедре всегда лежало два пучка розг и половина слушателей стояла на коленях, сделал Ивана Федоровича аудитором, несмотря на то что в классе было много с гораздо лучшими способностями.

Тут не можно пропустить одного случая, сделавшего влияние на всю его жизнь. Один из вверенных ему учеников, чтобы склонить своего аудитора написать ему в списке *scit*<sup>1</sup>, тогда как он своего урока в зуб не знал, принес в класс завернутый в бумагу, облитый маслом блин. Иван Федорович, хотя и держался справедливости, но на эту пору был голоден и не мог противиться обольщению: взял блин, поставил перед собою книгу и начал есть. И так был занят этим, что даже не заметил, как в классе сделалась вдруг мертвая тишина. Тогда только с ужасом очнулся он, когда страшная рука, протянувшись из фризовой шинели, ухватила его за ухо и вытащила на середину класса. «Поддай сюда блин! Поддай, говорят тебе, негодяй!» — сказал грозный учитель, схватил пальцами масляный блин и выбросил его за окно, строго запретив бегавшим по двору школьникам поднимать его. После этого тут же высек он пребольно Ивана Федоровича по рукам. И дело: руки виноваты, зачем брали, а не другая часть тела. Как бы то ни было, только с этих пор робость, и без того неразлучная с ним, увеличилась еще более. Может быть, это самое проис-

---

<sup>1</sup> Знает (*лат.*).

шествование было причиною того, что он не имел никогда желания вступить в штатскую службу, видя на опыте, что не всегда удастся хоронить концы.

Было уже ему без малого пятнадцать лет, когда перешел он во второй класс, где вместо сокращенного катехизиса и четырех правил арифметики принялся он за пространный, за книгу о должностях человека и за дробь. Но, увидевши, что чем дальше в лес, тем больше дров, и получивши известие, что батюшка приказал долго жить, пробыл еще два года и, с согласия матушки, вступил потом в П\*\*\* пехотный полк.

П\*\*\* пехотный полк был совсем не такого сорта, к какому принадлежат многие пехотные полки; и, несмотря на то что он большею частию стоял по деревням, однако ж был на такой ноге, что не уступал иным и кавалерийским. Большая часть офицеров пила выморозки и умела таскать жидов за пейсики не хуже гусаров; несколько человек даже танцевали мазурку, и полковник П\*\*\* полка никогда не упускал случая заметить об этом, разговаривая с кем-нибудь в обществе. «У меня-с,— говорил он обыкновенно, трепля себя по брюху после каждого слова,— многие пляшут-с мазурку; весьма многие-с; очень многие-с». Чтоб еще более показать читателям образованность П\*\*\* пехотного полка, мы прибавим, что двое из офицеров были страшные игроки в банк и проигрывали мундир, фуражку, шинель, темляк и даже исподнее платье, что не везде и между кавалеристами можно сыскать.

Обхождение с такими товарищами, однако же, ничуть не уменьшило робости Ивана Федоровича. И так как он не пил выморозок, предпочитая им рюмку водки пред обедом и ужином, не танцевал мазурки и не играл в банк, то, натурально, должен был всегда оставаться один. Таким образом, когда другие разъезжали на обывательских по мелким помещикам, он, сидя на своей квартире, упражнялся в занятиях, сродных одной кроткой и доброй душе: то чистил пуговицы, то читал гадательную книгу, то ставил мышеловки по углам своей комнаты, то, наконец, скинувши мундир, лежал на постеле. Зато не было никого исправнее Ивана Федоровича в полку. И взводом своим он так командовал, что рот-



ный командир всегда ставил его в образец. Зато в скором времени, спустя одиннадцать лет после получения прапорщичьего чина, произведен он был в подпоручики.

В продолжение этого времени он получил известие, что матушка скончалась; а тетушка, родная сестра матушки, которую он знал только потому, что она привозила ему в детстве и посылала даже в Гадяч сушеные груши и деланные ею самую превкусные пряники (с матушкой она была в ссоре, и потому Иван Федорович после не видал ее),— эта тетушка, по своему добродушию, взялась управлять небольшим его имением, о чем известила его в свое время письмом. Иван Федорович, будучи совершенно уверен в благоразумии тетушки, начал по-прежнему исполнять свою службу. Иной на его месте, получивши такой чин, возгордился бы; но гордость совершенно была ему неизвестна, и, сделавшись подпоручиком, он был тот же самый Иван Федорович, каким был некогда и в прапорщичьем чине. Пробыв четыре года после этого замечательного для него события, он готовился выступить вместе с полком из Могилевской губернии в Великороссию, как получил письмо такого содержания:

«Любезный племянник,  
Иван Федорович!

Посылаю тебе белье: пять пар нитяных карпеток и четыре рубашки тонкого холста; да еще хочу поговорить с тобою о деле: так как ты уже имеешь чин немаловажный, что, думаю, тебе известно, и пришел в такие лета, что пора и хозяйством позаняться, то в воинской службе тебе незачем более служить. Я уже стара и не могу всего присмотреть в твоём хозяйстве; да и действительно, многое притом имею тебе открыть лично. Приезжай, Ванюша; в ожидании подлинного удовольствия тебя видеть, остаюсь многолюбящая твоя тетка

*Василиса Цупчевська.*

Чудная в огороде у нас выросла репа: больше похожа на картофель, чем на репу».

Через неделю после получения этого письма Иван Федорович написал такой ответ:

«Милостивая государыня, тетушка  
Василиса Кашпоровна!

Много благодарю вас за присылку белья. Особенно коврижки у меня очень старые, что даже денщик штопал их четыре раза и очень оттого стали узкие. Насчет вашего мнения о моей службе я совершенно согласен с вами и третьего дня подал отставку. А как только получу увольнение, то найму извозчика. Престарелой вашей комиссии, насчет семян пшеницы, сибирской арнаутки, не мог исполнить: во всей Могилевской губернии нет такой. Свиней же здесь кормят большею частью брагой, подмешивая немного выигравшегося пива.

С совершенным почтением, милостивая государыня тетушка, пребываю племянником

*Иваном Шпонькою».*

Наконец Иван Федорович получил отставку с чином поручика, нанял за сорок рублей жида от Могилева до Гадяча и сел в кибитку в то самое время, когда деревня оделась молодыми, еще редкими листьями, вся земля ярко зазеленела свежелою зеленью и по всему полю пахло весною.

II  
ДОРОГА

В дороге ничего не случилось слишком замечательного. Ехали с небольшим две недели. Может быть, еще и этого скорее приехал бы Иван Федорович, но набожный жид шабашовал по субботам и, накрывшись своею попоной, молился весь день. Впрочем, Иван Федорович, как уже имел я случай заметить прежде, был такой человек, который не допускал к себе скуки. В то время развязывал он чемодан, вынимал белье, рассматривал его хорошенько: так ли вымыто, так ли сложено, снимал осторожно пушок с нового мундира, сшитого уже без погончиков, и снова все это укладывал наилучшим образом. Книг он, вообще сказать, не любил читать; а если заглядывал иногда в гадательную книгу, так это потому, что любил встречать там знакомое, чи-

тапное уже несколько раз. Так городской житель отправляется каждый день в клуб, не для того, чтобы услышать там что-нибудь новое, но чтобы встретить тех приятелей, с которыми он уже с незапамятных времен привык болтать в клубе. Так чиновник с большим наслаждением читает адрес-календарь по нескольку раз в день, не для каких-нибудь дипломатических затей, но его тешит до крайности печатная роспись имен. «А! Иван Гаврилович такой-то! — повторяет он глухо про себя. — А! вот и я! гм!..» И на следующий раз снова перечитывает его с теми же восклицаниями.

После двухнедельной езды Иван Федорович достигнул деревушки, находившейся в ста верстах от Гадяча. Это было в пятницу. Солнце давно уже зашло, когда он въехал с кибиткою и с жидом на постоялый двор.

Этот постоялый двор ничем не отличался от других, выстроенных по небольшим деревушкам. В них обыкновенно с большим усердием потчуют путешественника сеном и овсом, как будто бы он был почтовая лошадь. Но если бы он захотел позавтракать, как обыкновенно завтракают порядочные люди, то сохранил бы в ненарушимости свой аппетит до другого случая. Иван Федорович, зная все это, заблаговременно запасася двумя вязками бубликов и колбасою и, спросивши рюмку водки, в которой не бывает недостатка ни в одном постоялом дворе, начал свой ужин, усевшись на лавке перед дубовым столом, неподвижно вкопанным в глиняный пол.

В продолжение этого времени слышался стук брички. Ворота заскрыпели; но бричка долго не въезжала на двор. Громкий голос бранился со старухою, державшею трактир. «Я взъеду, — услышал Иван Федорович, — но если хоть один клоп укусит меня в твоей хате, то прибью, ей-богу прибью, старая колдунья! и за сено ничего не дам!»

Минуту спустя дверь отворилась, и вошел, или, лучше сказать, влез толстый человек в зеленом сюртуке. Голова его неподвижно покоилась на короткой шее, казавшейся еще толще от двухэтажного подбородка. Казалось, и с виду он принадлежал к числу тех людей, которые не ломали никогда головы над пустяками и которых вся жизнь катилась по маслу.

— Желаю здравствовать, милостивый государь! — проговорил он, увидевши Ивана Федоровича.

Иван Федорович безмолвно поклонился.

— А позвольте спросить, с кем имею честь говорить? — продолжал толстый приезжий.

При таком допросе Иван Федорович невольно поднялся с места и стал вытыяжку, что обыкновенно он делывал, когда спрашивал его о чем полковник.

— Отставной поручик Иван Федоров Шпонька, — отвечал он.

— А смею ли спросить, в какие места изволите ехать?

— В собственный хутор-с, Вытребеньки.

— Вытребеньки! — воскликнул строгий допросчик. — Позвольте, милостивый государь, позвольте! — говорил он, подступая к нему и размахивая руками, как будто бы кто-нибудь его не допускал или он продирался сквозь толпу, и, приблизившись, принял Ивана Федоровича в объятия и облобызал сначала в правую, потом в левую и потом снова в правую щеку. Ивану Федоровичу очень понравилось это лобызание, потому что губы его приняли большие щеки незнакомца за мягкие подушки.

— Позвольте, милостивый государь, познакомиться! — продолжал толстяк. — Я помещик того же Гадячского повета и ваш сосед. Живу от хутора вашего Вытребеньки не дальше пяти верст, в селе Хортыще; а фамилия моя Григорий Григорьевич Сторченко. Непременно, непременно, милостивый государь и знать вас не хочу, если не приедете в гости в село Хортыще. Я теперь спешу по надобности... А что это? — проговорил он кротким голосом вошедшему своему лакею, мальчику в козацкой свитке с заплатанными локтями, с недоумевающею миною ставившему на стол узлы и ящики. — Что это? что? — и голос Григория Григорьевича незаметно делался грознее и грознее. — Разве я это сюда велел ставить тебе, любезный? разве я это сюда говорил ставить тебе, подлец? Разве я не говорил тебе наперед разогреть курицу, мошенник? Пошел! — вскрикнул он, топнув ногою. — Постой, рожа! где погребец со штофками? Иван Федорович! — говорил он, наливая в рюмку настойки, — прошу покорно лекарственной!

— Ей-богу-с, не могу... я уже имел случай... — проговорил Иван Федорович с запинкою.

— И слушать не хочу, милостивый государь! — возвысил голос помещик, — и слушать не хочу! С места не сойду, покамест не выкушаете...

Иван Федорович, увидевши, что нельзя отказаться, не без удовольствия выпил.

— Это курица, милостивый государь, — продолжал толстый Григорий Григорьевич, разрезывая ее ножом в деревянном ящике. — Надобно вам сказать, что повариха моя Явдоха иногда любит куликнуть и оттого часто пересушивает. Эй, хлопче! — тут оборотился он к мальчику в козацкой свитке, принесшему перину и подушки, — постели постель мне на полу посередине хаты! Смотри же, сена повыше наклади под подушку! да выдерни у бабы из мычки клочок пеньки, заткнуть мне уши на ночь! Надобно вам знать, милостивый государь, что я имею обыкновение затыкать на ночь уши с того проклятого случая, когда в одной русской корчме залез мне в левое ухо таракан. Проклятые кацапы, как я после узнал, едят даже щи с тараканами. Невозможно описать, что происходило со мною: в ухе так и щекочет, так и щекочет... ну, хоть на стену! Мне помогла уже в наших местах простая старуха. И чем бы вы думали? просто зашептыванием. Что вы скажете, милостивый государь, о лекарях? Я думаю, что они просто морочат и дурачат нас. Иная старуха в двадцать раз лучше знает всех этих лекарей.

— Действительно, вы изволите говорить совершенную-с правду. Иная точно бывает... — Тут он остановился, как бы не прибирая далее приличного слова.

Не мешает здесь и мне сказать, что он вообще не был щедр на слова. Может быть, это происходило от робости, а может, и от желания выразиться красивее.

— Хорошенько, хорошенько перетряси сено! — говорил Григорий Григорьевич своему лакею. — Тут сено такое гадкое, что того и гляди как-нибудь попадет сучок. Позвольте, милостивый государь, пожелать спокойной ночи! Завтра уже не увидимся: я выезжаю до зари. Ваш жид будет шабашовать, потому что завтра суббота, и потому вам нечего вставать рано. Не за-

будьте же моей просьбы: и знать вас не хочу, когда не приедете в село Хортыще.

Тут камердинер Григория Григорьевича стапил с него сюртук и сапоги и натянул вместо того халат, и Григорий Григорьевич повалился на постель, и казалось, огромная перина легла на другую.

— Эй, хлопче! куда же ты, подлец? Поди сюда, поправь мне одеяло! Эй, хлопче, подмости под голову сена! да что, коней уже напоили? Еще сена! сюда, под этот бок! да поправь, подлец, хорошенько одеяло! Вот так, еще! ох!..

Тут Григорий Григорьевич еще вздохнул раза два и пустил страшный носовой свист по всей комнате, всхрапывая по временам так, что дремавшая на лежанке старуха, пробудившись, вдруг смотрела в оба глаза на все стороны, но, не видя ничего, успокоивалась и засыпала снова.

На другой день, когда проснулся Иван Федорович, уже толстого помещика не было. Это было одно только замечательное происшествие, случившееся с ним на дороге. На третий день после этого приближался он к своему хуторку.

Тут почувствовал он, что сердце в нем сильно забилось, когда выглянула, махая крыльями, ветряная мельница и когда, по мере того как жид гнал своих кляч на гору, показывался внизу ряд верб. Живо и ярко блестел сквозь них пруд и дышал свежестью. Здесь когда-то он купался, в этом самом пруде он когда-то с ребяташками брел по шее в воде за раками. Кибитка въехала на греблю, и Иван Федорович увидел тот же самый старинный домик, покрытый очеретом; те же самые яблони и черешни, по которым он когда-то украдкою лазил. Только что въехал он на двор, как сбежались со всех сторон собаки всех сортов: бурые, черные, серые, пегие. Некоторые с лаем кидались под ноги лошадям, другие бежали сзади, заметив, что ось вымазана салом; один, стоя возле кухни и накрыв лапою кость, заливался во все горло; другой лаял издали и бегал взад и вперед, помахивая хвостом и как бы приговаривая: «Посмотрите, люди крещеные, какой я прекрасный молодой человек!» Мальчишки в запачкан-

ных рубашках бежали глядеть. Свинья, прохаживавшаяся по двору с шестнадцатью поросенками, подняла вверх с испытующим видом свое рыло и хрюкнула громче обыкновенного. На дворе лежало на земле множество ряден с пшеницею, просом и ячменем, сушившихся на солнце. На крыше тоже немало сушилось разного рода трав: петровых батоков, нечуй-ветера и других.

Иван Федорович так был занят рассматриванием этого, что очнулся тогда только, когда пегая собака укусила слазившего с козел жидка за икру. Сбежавшаяся дворня, состоявшая из поварихи, одной бабы и двух девок в шерстяных исподниках, после первых восклицаний: *«Та се ж паныч наш!»* — объявила, что тетушка садила в огороде пшеничку, вместе с девкою Палашкою и кучером Омельком, исправлявшим часто должность огородника и сторожа. Но тетушка, которая еще издали завидела рогожную кибитку, была уже здесь. И Иван Федорович изумился, когда она почти подняла его на руках, как бы не доверяя, та ли это тетушка, которая писала к нему о своей дряхлости и болезни.

### III

#### ТЕТУШКА

Тетушка Василиса Кашпоровна в это время имела лет около пятидесяти. Замужем она никогда не была и обыкновенно говорила, что жизнь девическая для нее дороже всего. Впрочем, сколько мне помнится, никто и не сватал ее. Это происходило оттого, что все мужчины чувствовали при ней какую-то робость и никак не имели духу сделать ей признание. «Весьма с большим характером Василиса Кашпоровна!» — говорили женихи, и были совершенно правы, потому что Василиса Кашпоровна хоть кого умела сделать тигре травы. Пьяницу мельника, который совершенно был ни к чему не годен, она, собственною своею мужественною рукою дергая каждый день за чуб, без всякого постороннего средства умела сделать золотом, а не человеком. Рост она имела почти исполинский, дородность и силу совершенно

соразмерную. Казалось, что природа сделала непростительную ошибку, определив ей носить темно-коричневый по будням капот с мелкими оборками и красную кашемировую шаль в день светлого воскресенья и своих именин, тогда как ей более всего шли бы драгунские усы и длинные ботфорты. Зато занятия ее совершенно соответствовали ее виду: она каталась сама на лодке, гребя веслом искуснее всякого рыболова; стреляла дичь; стояла неотлучно над косарями; знала наперечет число дынь и арбузов на баштане; брала пошлину по пяти копеек с воза, проезжавшего через ее греблю; взлезала на дерево и трусила груши, била ленивых вассалов своею страшною рукою и подносила достойным рюмку водки из той же грозной руки. Почти в одно время она бранилась, красила пряжу, бегала на кухню, делала квас, варила медовое варенье и хлопотала весь день и везде поспевала. Следствием этого было то, что маленькое именище Ивана Федоровича, состоявшее из осьмнадцати душ по последней ревизии, процветало в полном смысле сего слова. К тому ж она слишком горячо любила своего племянника и тщательно собирала для него копейку.

По приезде домой жизнь Ивана Федоровича решительно изменилась и пошла совершенно другою дорогою. Казалось, натура именно создала его для управления осьмнадцатидушным имением. Сама тетушка заметила, что он будет хорошим хозяином, хотя, впрочем, не во все еще отрасли хозяйства позволяла ему вмешиваться. *«Воно ще молода дытына,* — обыкновенно она говорила, несмотря на то что Ивану Федоровичу было без малого сорок лет, — *где ему все знать!»*

Однако ж он неотлучно бывал в поле при жнецах и косарях, и это доставляло наслаждение неизъяснимое его кроткой душе. Единодушный взмах десятка и более блестящих кос; шум падающей стройными рядами травы; изредка заливающиеся песни жниц, то веселые, как встреча гостей, то заунывные, как разлука; спокойный, чистый вечер, и что за вечер! как волен и свеж воздух! как тогда оживлено все: степь краснеет, синет и горит цветами; перепелы, дрофы, чайки, кузнечики, тысячи насекомых, и от них свист, жужжание, треск, крик и вдруг стройный хор; и все не молчит ни на минуту.



А солнце садится и кроется. У! как свежо и хорошо! По полю, то там, то там, раскладываются огни и ставят котлы, и вокруг котлов садятся усатые косари; пар от галушек несется. Сумерки сереют... Трудно рассказать, что делалось тогда с Иваном Федоровичем. Он забывал, присоединяясь к косарям, отведать их галушек, которые очень любил, и стоял недвижимо на одном месте, следя глазами пропадавшую в небе чайку или считая копы нажатого хлеба, унизывавшие поле.

В непродолжительном времени об Иване Федоровиче везде пошли речи как о великом хозяине. Тетушка не могла нарадоваться своим племянником и никогда не упускала случая им похвастаться. В один день,— это было уже по окончании жатвы, и именно в конце июля,— Василиса Кашпоровна, взявши Ивана Федоровича с таинственным видом за руку, сказала, что она теперь хочет поговорить с ним о деле, которое с давних пор уже ее занимает.

— Тебе, любезный Иван Федорович,— так она начала,— известно, что в твоём хуторе осьмнадцать душ; впрочем, это по ревизии, а без того, может, наберется больше, может будет до двадцати четырех. Но не об этом дело. Ты знаешь тот лесок, что за нашею левадою, и, верно, знаешь за тем же лесом широкий луг: в нем двадцать без малого десятин; а травы столько, что можно каждый год продавать больше чем на сто рублей, особенно если, как говорят, в Гадяче будет конный полк.

— Как же-с, тетушка, знаю: трава очень хорошая.

— Это я сама знаю, что очень хорошая; но знаешь ли ты, что вся эта земля по-настоящему твоя? Что ж ты так выпучил глаза? Слушай, Иван Федорович! Ты помнишь Степана Кузьмича? Что я говорю: помнишь! Ты тогда был таким маленьким, что не мог выговорить даже его имени; куда ж! Я помню, когда приехала на самое пущенье, перед филипповкою, и взяла было тебя на руки, то ты чуть не испортил мне всего платья; к счастью, что успела передать тебя мамке Матрене. Такой ты тогда был гадкий!.. Но не об этом дело. Вся земля, которая за нашим хутором, и самое село Хортыще было Степана Кузьмича. Он, надобно тебе объявить, еще тебя не было на свете, как начал ездить

к твоей матушке; правда, в такое время, когда отца твоего не бывало дома. Но я, однако ж, это не в укор ей говорю. Упокой господи ее душу! — хотя покойница была всегда неправа против меня. Но не об этом дело. Как бы то ни было, только Степан Кузьмич сделал тебе дарственную запись на то самое имение, об котором я тебе говорила. Но покойница твоя матушка, между нами будь сказано, была пречудного нрава. Сам черт, господи прости меня за это гадкое слово, не мог бы понять ее. Куда она дела эту запись — один бог знает. Я думаю, просто, что она в руках этого старого холостяка Григория Григорьевича Сторченка. Этой пузатой шельме досталось все его имение. Я готова ставить бог знает что, если он не утаил записи.

— Позвольте-с доложить, тетушка: не тот ли это Сторченко, с которым я познакомился на станции?

Тут Иван Федорович рассказал про свою встречу.

— Кто его знает! — отвечала, немного подумав, тетушка. — Может быть, он и не негодяй. Правда, он всего только полгода как переехал к нам жить; в такое время человека не узнаешь. Старуха-то, матушка его, я слышала, очень разумная женщина и, говорят, большая мастерица солить огурцы. Ковры собственные девки ее умеют отлично хорошо выделывать. Но так как ты говоришь, что он тебя хорошо принял, то поезжай к нему! Может быть, старый грешник послушается совести и отдаст, что принадлежит не ему. Пожалуй, можешь поехать и в бричке, только проклятая дитвора повыдергивала сзади все гвозди. Нужно будет сказать кучеру Омельке, чтобы прибил везде получше кожу.

— Для чего, тетушка? Я возьму повозку, в которой вы ездите иногда стрелять дичь.

Этим окончился разговор.

#### IV ОБЕД

В обеденную пору Иван Федорович въехал в село Хортыще и немного оробел, когда стал приближаться к господскому дому. Дом этот был длинный и не под

очеретяною, как у многих окружных помещиков, но под деревянную крышею. Два амбара в дворе тоже под деревянную крышею; ворота дубовые. Иван Федорович похож был на того франта, который, заехав на бал, видит всех, куда ни оглянется, одетых щеголеватее его. Из почтения он остановил свой возок возле амбара и подошел пешком к крыльцу.

— А! Иван Федорович! — закричал толстый Григорий Григорьевич, ходивший по двору в сюртуке, но без галстука, жилета и подтяжек. Однако ж и этот наряд, казалось, обременял его тучную ширину, потому что пот катился с него градом. — Что ж вы говорили, что сейчас, как только увидите с тетушкой, приедете, да и не приехали? — После сих слов губы Ивана Федоровича встретили те же самые знакомые подушки.

— Большею частию занятия по хозяйству... Я-с приехал к вам на минутку, собственно по делу...

— На минутку? Вот этого-то не будет. Эй, хлопче! — закричал толстый хозяин, и тот же самый мальчик в козацкой свитке выбежал из кухни. — Скажи Касьяну, чтобы ворота сейчас запер, слышишь, запер крепче! А коней вот этого пана распряг бы сию минуту! Прошу в комнату; здесь такая жара, что у меня вся рубашка мокра.

Иван Федорович, вошедши в комнату, решил не терять напрасно времени и, несмотря на свою робость, наступать решительно.

— Тетушка имела честь... сказывала мне, что дарственная запись покойного Степана Кузьмича...

Трудно изобразить, какую неприятную мину сделало при этих словах обширное лицо Григория Григорьевича.

— Ей-богу, ничего не слышу! — отвечал он. — Надобно вам сказать, что у меня в левом ухе сидел таракан. В русских избах проклятые кацапы везде поразводили тараканов. Невозможно описать никаким пером, что за мучение было. Так вот и щекочет, так и щекочет. Мне помогла уже одна старуха самым простым средством...

— Я хотел сказать... — осмелился прервать Иван Федорович, видя, что Григорий Григорьевич с умыслом

хочет поворотить речь на другое, — что в завещании покойного Степана Кузьмича упоминается, так сказать, о дарственной записи... по ней следует-с мне...

— Я знаю, это вам тетушка успела наговорить. Это ложь, ей-богу ложь! Никакой дарственной записи дядюшка не делал. Хотя, правда, в завещании и упоминается о какой-то записи; но где же она? никто не представил ее. Я вам это говорю потому, что искренно желаю вам добра. Ей-богу, это ложь!

Иван Федорович замолчал, рассуждая, что, может быть, и в самом деле тетушке так только показалось.

— А вот идет сюда матушка с сестрами! — сказал Григорий Григорьевич, — следовательно, обед готов. Пойдемте! — При сем он потащил Ивана Федоровича за руку в комнату, в которой стояли на столе водка и закуски.

В то самое время вошла старушка, низенькая, совершенный кофейник в чепчике, с двумя барышнями — белокурой и черноволосой. Иван Федорович, как воспитанный кавалер, подошел сначала к старушкиной ручке, а после к ручкам обеих барышень.

— Это, матушка, наш сосед, Иван Федорович Шпонька! — сказал Григорий Григорьевич.

Старушка смотрела пристально на Ивана Федоровича, или, может быть, только казалась смотревшею. Впрочем, это была совершенная доброта. Казалось, она так и хотела спросить Ивана Федоровича: сколько вы на зиму насоливаете огурцов?

— Вы водку пили? — спросила старушка.

— Вы, матушка, верно, не выпались, — сказал Григорий Григорьевич, — кто ж спрашивает гостя, пили ли он? Вы потчуйте только; а пили ли мы, или нет, это наше дело. Иван Федорович! прошу, золототысячником или трохимовской сивушки, какой вы лучше любите? Иван Иванович, а ты что стоишь? — произнес Григорий Григорьевич, оборотившись назад, и Иван Федорович увидел подходившего к водке Ивана Ивановича, в долгополом сюртуке с огромным стоячим воротником, закрывавшим весь его затылок, так что голова его сидела в воротнике, как будто в бричке.

Иван Иванович подошел к водке, потер руки, рассмотрел хорошенько рюмку, налил, поднес к свету, вылил разом из рюмки всю водку в рот, но, не проглатывая, пополоскал ею хорошенько во рту, после чего уже проглотил; и, закусивши хлебом с солеными опенками, оборотился к Ивану Федоровичу.

— Не с Иваном ли Федоровичем, господином Шпонькою, имею честь говорить?

— Так точно-с, — отвечал Иван Федорович.

— Очень много изволили перемениться с того времени, как я вас знаю. Как же, — продолжал Иван Иванович, — я еще помню вас вот какими! — При этом поднял он ладонь на аршин от пола. — Покойный батюшка ваш, дай боже ему царствие небесное, редкий был человек, Арбузы и дыни всегда бывали у него такие, каких теперь нигде не найдете. Вот хоть бы и тут, — продолжал он, отводя его в сторону, — подадут вам за столом дыни. Что это за дыни? — смотреть не хочется! Верите ли, милостивый государь, что у него были арбузы, — произнес он с таинственным видом, расставляя руки, как будто бы хотел обхватить толстое дерево, — ей-богу, вот какие!

— Пойдемте за стол! — сказал Григорий Григорьевич, взявши Ивана Федоровича за руку.

Все вышли в столовую. Григорий Григорьевич сел на обыкновенном своем месте, в конце стола, завесившись огромною салфеткою и походя в этом виде на тех героев, которых рисуют цирюльники на своих вывесках. Иван Федорович, краснея, сел на указанное ему место против двух барышень; а Иван Иванович не преминул поместиться возле него, радуясь душевно, что будет кому сообщать свои познания.

— Вы напрасно взяли куприк, Иван Федорович! Это индейка! — сказала старушка, обратившись к Ивану Федоровичу, которому в это время поднес блюдо деревенский официант в сером ффраке с черною заплатою. — Возьмите спинку!

— Матушка! ведь вас никто не просит мешаться! — произнес Григорий Григорьевич. — Будьте уверены, что гость сам знает, что ему взять! Иван Федорович, возьмите крылышко, вон другое, с пупком! Да что ж

вы так мало взяли? Возьмите стегнушко! Ты что разинул рот с блюдом? Проси! Становись, подлец, на колени! Говори сейчас: «Иван Федорович, возьмите стегнушко!»

— Иван Федорович, возьмите стегнушко! — проревел, став на колени, официант с блюдом.

— Гм, что это за индейки! — сказал вполголоса Иван Иванович с видом пренебрежения, оборотившись к своему соседу. — Такие ли должны быть индейки! Если бы вы увидели у меня индеек! Я вас уверяю, что жиру в одной больше, чем в десятке таких, как эти. Верите ли, государь мой, что даже противно смотреть, когда ходят они у меня по двору, так жирны!..

— Иван Иванович, ты лжешь! — произнес Григорий Григорьевич, вслушавшись в его речь.

— Я вам скажу, — продолжал все так же своему соседу Иван Иванович, показывая вид, будто бы он не слышал слов Григория Григорьевича, — что прошлый год, когда я отправлял их в Гадяч, давали по пятидесяти копеек за штуку. И то еще не хотел брать.

— Иван Иванович, я тебе говорю, что ты лжешь! — произнес Григорий Григорьевич, для лучшей ясности — по складам и громче прежнего.

Но Иван Иванович, показывая вид, будто это совершенно относилось не к нему, продолжал так же, но только гораздо тише.

— Именно, государь мой, не хотел брать. В Гадяче ни у одного помещика...

— Иван Иванович! ведь ты глуп, и больше ничего, — громко сказал Григорий Григорьевич. — Ведь Иван Федорович знает все это лучше тебя и, верно, не поверит тебе.

Тут Иван Иванович совершенно обиделся, замолчал и принялся убирать индейку, несмотря на то что она не так была жирна, как те, на которые противно смотреть.

Стук ножей, ложек и тарелок заменил на время разговор; но громче всего слышалось высмактывание Григорием Григорьевичем мозгу из бараньей кости.

— Читали ли вы, — спросил Иван Иванович после некоторого молчания, высовывая голову из своей брочки к Ивану Федоровичу, — книгу «Путешествие Коробейникова ко святым местам»? Истинное наслаждение



Иван Федорович Шпонька и его тетушка  
*Рисунок И. Калевского 1947*





души и сердца! Теперь таких книг не печатают. Очень сожалательно, что не посмотрел, которого году.

Иван Федорович, услышавши, что дело идет о книге, прилежно начал набирать себе соусу.

— Истинно удивительно, государь мой, как подумаешь, что простой мещанин прошел все места эти. Более трех тысяч верст, государь мой! Более трех тысяч верст! Подлинно, его сам господь сподобил побывать в Палестине и Иерусалиме.

— Так вы говорите, что он, — сказал Иван Федорович, который много наслышался о Иерусалиме еще от своего денщика, — был и в Иерусалиме?..

— О чем вы говорите, Иван Федорович? — произнес с конца стола Григорий Григорьевич.

— Я, то есть, имел случай заметить, что какие есть на свете далекие страны! — сказал Иван Федорович, будучи сердечно доволен тем, что выговорил столь длинную и трудную фразу.

— Не верьте ему, Иван Федорович! — сказал Григорий Григорьевич, не вслушавшись хорошенько, — все врет!

Между тем обед кончился. Григорий Григорьевич отправился в свою комнату, по обыкновению, немножко всхрапнуть; а гости пошли вслед за старушкою хозяйкою и барышнями в гостиную, где тот самый стол, на котором оставили они, выходя обедать, водку, как бы превращением каким, покрылся блюдечками с вареньем разных сортов и блюдами с арбузами, вишнями и дынями.

Отсутствие Григория Григорьевича заметно было во всем. Хозяйка сделалась словоохотнее и открывала сама, без просьбы, множество секретов насчет делания пастилы и сушения груш. Даже барышни стали говорить; но белокурая, которая казалась моложе шестью годами своей сестры и которой по виду было около двадцати пяти лет, была молчаливее.

Но более всех говорил и действовал Иван Иванович. Будучи уверен, что его теперь никто не собьет и не смешает, он говорил и об огурцах, и о посеве картофеля, и о том, какие в старину были разумные люди — куда против теперешних! — и о том, как всё,

чем далее, умнеет и доходит к выдумыванию мудрейших вещей. Словом, это был один из числа тех людей, которые с величайшим удовольствием любят познаться улаждающим душу разговором и будут говорить обо всем, о чем только можно говорить. Если разговор касался важных и благочестивых предметов, то Иван Иванович вздыхал после каждого слова, кивая слегка головою; ежели до хозяйственных, то высовывал голову из своей брички и делал такие мины, глядя на которые, кажется, можно было прочесть, как нужно делать грушевый квас, как велики те дыни, о которых он говорил, и как жирны те гуси, которые бегают у него по двору.

Наконец с великим трудом, уже ввечеру, удалось Ивану Федоровичу распрощаться; и, несмотря на свою сговорчивость и на то, что его насильно оставляли почевать, он устоял-таки в своем намерении ехать, и уехал.

## V

### НОВЫЙ ЗАМЫСЕЛ ТЕТУШКИ

— Ну что? выманил у старого лихodeя запись? — Таким вопросом встретила Ивана Федоровича тетушка, которая с нетерпением дожидалась его уже несколько часов на крыльце и не вытерпела, наконец, чтоб не выбежать за ворота.

— Нет, тетушка! — сказал Иван Федорович, слезая с повозки, — у Григория Григорьевича нет никакой записи.

— И ты поверил ему! Врет он, проклятый! Когда-нибудь попаду, право, поколочу его собственными руками. О, я ему поспущу жиру! Впрочем, нужно наперед поговорить с нашим подсудком, нельзя ли судом с него требовать... Но не об этом теперь дело. Ну, что ж, обед был хороший?

— Очень... да, весьма, тетушка.

— Ну, какие ж были кушанья, расскажи? Старуха-то, я знаю, мастерица присматривать за кухней.

— Сырники были со сметаной, тетушка. Соус с голубями, начиненными...

— А индейка со сливами была? — спросила тетушка, потому что сама была большая искусница готовить это блюдо.

— Была и индейка!.. Весьма красивые барышни, сестрицы Григория Григорьевича, особенно белокурая!

— А! — сказала тетушка и посмотрела пристально на Ивана Федоровича, который, покраснев, потупил глаза в землю. Новая мысль быстро промелькнула в ее голове. — Ну, что ж? — спросила она с любопытством и живо, — какие у ней брови?

Не мешает заметить, что тетушка всегда поставляла первую красоту женщины в бровях.

— Брови, тетушка, совершенно-с такие, какие, вы рассказывали, в молодости были у вас. И по всему лицу небольшие веснушки.

— А! — сказала тетушка, будучи довольна замечанием Ивана Федоровича, который, однако ж, не имел и в мыслях сказать этим комплимент. — Какое ж было на ней платье? хотя, впрочем, теперь трудно найти таких плотных материй, какая вот хоть бы, например, у меня на этом капоте. Но не об этом дело. Ну, что ж, ты говорил о чем-нибудь с нею?

— То есть как?.. я-с, тетушка? Вы, может быть, уже думаете...

— А что ж? что тут диковинного? так богу угодно! Может быть, тебе с нею на роду написано жить парочкою.

— Я не знаю, тетушка, как вы можете это говорить. Это доказывает, что вы совершенно не знаете меня...

— Ну вот, уже и обиделся! — сказала тетушка. *«Ще молода дытына»*, — подумала она про себя, — ничего не знает! нужно их свести вместе, пусть познакомятся!»

Тут тетушка пошла заглянуть в кухню и оставила Ивана Федоровича. Но с этого времени она только и думала о том, как увидеть скорее своего племянника женатым и понынчить маленьких внучков. В голове ее громоздились одни только приготовления к свадьбе, и заметно было, что она во всех делах суежилась гораздо

более, нежели прежде, хотя, впрочем, эти дела более шли хуже, нежели лучше. Часто, делая какое-нибудь пирожное, которое вообще она никогда не доверяла кухарке, она, позабывшись и воображая, что возле нее стоит маленький внучек, просящий пирога, рассеянно протягивала к нему руку с лучшим куском, а дворовая собака, пользуясь этим, схватывала лакомый кусок и своим громким чваканьем выводила ее из задумчивости, за что и бывала всегда бита кочергою. Даже оставила она любимые свои занятия и не ездила на охоту, особенно когда вместо куропатки застрелила ворону, чего никогда прежде с нею не бывало.

Наконец, спустя дня четыре после этого, все увидели выкаченную из сарая на двор бричку. Кучер Омелько, он же огородник и сторож, еще с раннего утра стучал молотком и приколачивал кожу, отгоняя беспрестанно собак, лизавших колеса. Долгом почитаю предупредить читателей, что это была именно та самая бричка, в которой еще ездил Адам; и потому, если кто будет выдавать другую за адамовскую, то это сущая ложь и бричка непременно поддельная. Совершенно неизвестно, каким образом спаслась она от потопа. Должно думать, что в Ноевом ковчеге был особенный для нее сарай. Жаль очень, что читателям нельзя описать живо ее фигуры. Довольно сказать, что Василиса Кашпоровна была очень довольна ее архитектурой и всегда изъявляла сожаление, что вывелись из моды старинные экипажи. Самое устройство брички, немного набок, то есть так, что правая сторона ее была гораздо выше левой, ей очень нравилось, потому что с одной стороны может, как она говорила, влезать малорослый, а с другой — великорослый. Впрочем, внутри брички могло поместиться штук пять малорослых и трое таких, как тетушка.

Около полудня Омелько, управившись около брички, вывел из конюшни тройку лошадей, немного чем моложе брички, и начал привязывать их веревкою к величественному экипажу. Иван Федорович и тетушка, один с левой стороны, другая с правой, влезли в бричку, и она тронулась. Попадавшиеся на дороге мужики, видя такой богатый экипаж (тетушка очень редко

выезжала в нем), почтительно останавливались, снимали шапки и кланялись в пояс. Часа через два кибитка остановилась пред крыльцом, — думаю, не нужно говорить: пред крыльцом дома Сторченка. Григория Григорьевича не было дома. Старушка с барышнями вышла встретить гостей в столовую. Тетушка подошла величественным шагом, с большою ловкостью отставила одну ногу вперед и сказала громко:

— Очень рада, государыня моя, что имею честь лично доложить вам мое почтение. А вместе с респектом позвольте поблагодарить за хлебосольство ваше к племяннику моему Ивану Федоровичу, который много им хвалится. Прекрасная у вас гречиха, сударыня! я видела ее, подъезжая к селу. А позвольте узнать, сколько коп вы получаете с десятины?

После сего последовало всеобщее лобызание. Когда же уселись в гостиной, то старушка хозяйка начала:

— Насчет гречихи я не могу вам сказать: это часть Григория Григорьевича. Я уже давно не занимаюсь этим; да и не могу: уже стара! В старину у нас, бывало, я помню, гречиха была по пояс, теперь бог знает что. Хотя, впрочем, и говорят, что теперь все лучше. — Тут старушка вздохнула; и какому-нибудь наблюдателю послышался бы в этом вздохе вздох старинного осьмнадцатого столетия.

— Я слышала, моя государыня, что у вас собственные ваши девки отличные умеют выделывать ковры, — сказала Василиса Кашпоровна и этим задела старушку за самую чувствительную струну. При этих словах она как будто оживилась, и речи у ней полились о том, как должно красить пряжу, как готовить для этого нитку. С ксвров быстро съехал разговор на соление огурцов и сушение груш. Словом, не прошло часу, как обе дамы так разговорились между собою, будто век были знакомы. Василиса Кашпоровна многое уже начала говорить с нею таким тихим голосом, что Иван Федорович ничего не мог расслушать.

— Да не угодно ли посмотреть? — сказала, вставая, старушка хозяйка.

За нею встали барышни и Василиса Кашпоровна, и все потянулись в девичью. Тетушка, однако ж,

дала знак Ивану Федоровичу остаться и сказала что-то тихо старушке.

— Машенька! — сказала старушка, обращаясь к белокурой барышне, — останься с гостем да поговори с ним, чтобы гостю не было скучно!

Белокурая барышня осталась и села на диван. Иван Федорович сидел на своем стуле как на иголках, краснел и потуплял глаза; но барышня, казалось, вовсе этого не замечала и равнодушно сидела на диване, рассматривая прилежно окна и стены или следуя глазами за кошкою, трусливо пробегавшею под стульями.

Иван Федорович немного ободрился и хотел было начать разговор; но казалось, что все слова свои растерял он на дороге. Ни одна мысль не приходила на ум.

Молчание продолжалось около четверти часа. Барышня все так же сидела.

Наконец Иван Федорович собрался с духом.

— Летом очень много мух, сударыня! — произнес он полудрожащим голосом.

— Чрезвычайно много! — отвечала барышня. — Братец нарочно сделал хлопушку из старого маменькиного башмака; но все еще очень много.

Тут разговор опять прекратился. И Иван Федорович никаким образом уже не находил речи.

Наконец хозяйка с тетушкою и чернявою барышнею возвратились. Поговоривши еще немного, Василиса Кашпоровна распростилась с старушкою и барышнями, несмотря на все приглашения остаться ночевать. Старушка и барышни вышли на крыльцо проводить гостей и долго еще кланялись выглядывавшим из брички тетушке и племяннику.

— Ну, Иван Федорович! о чем же вы говорили вдвоем с барышнею? — спросила дорогою тетушка.

— Весьма скромная и благонравная девица Марья Григорьевна! — сказал Иван Федорович.

— Слушай, Иван Федорович! я хочу поговорить с тобою сурьезно. Ведь тебе, славу богу, тридцать осьмой год. Чин ты уже имеешь хороший. Пора подумать и об детях! Тебе непременно нужна жена...

— Как, тетушка! — вскричал, испугавшись, Иван Федорович. — Как, жена! Нет-с, тетушка, сделайте

милость... Вы совершенно в стыд меня приводите... я еще никогда не был женат... Я совершенно не знаю, что с нею делать!

— Узнаешь, Иван Федорович, узнаешь, — промолвила, улыбаясь, тетушка и подумала про себя: *«Куды ж! ще зовсим молода дытына, ничего не знает!»* — Да, Иван Федорович! — продолжала она вслух, — лучшей жены нельзя сыскать тебе, как Марья Григорьевна. Тебе же она притом очень понравилась. Мы уже насчет этого много переговорили с старухой: она очень рада видеть тебя своим зятем; еще неизвестно, правда, что скажет этот греходей Григорьевич. Но мы не посмотрим на него, и пусть только он вздумает не отдать приданого, мы его судом...

В это время бричка подъехала к двору, и древние клячи ожили, чуя близкое стойло.

— Слушай, Омелько! коням дай прежде отдохнуть хорошенько, а не веди тотчас, распрягши, к водопою! они лошади горячие. Ну, Иван Федорович, — продолжала, вылезая, тетушка, — я советую тебе хорошенько подумать об этом. Мне еще нужно забежать в кухню, я позабыла Солохе заказать ужин, а она, негодная, я думаю, сама и не подумала об этом.

Но Иван Федорович стоял, как будто громом оглушенный. Правда, Марья Григорьевна очень недурная барышня; но жениться!.. это казалось ему так странно, так чудно, что он никак не мог подумать без страха. Жить с женою!.. непонятно! Он не один будет в своей комнате, но их должно быть везде двое!.. Пот проступал у него на лице, по мере того чем более углублялся он в размышление.

Ранее обыкновенного лег он в постель, но, несмотря на все старания, никак не мог заснуть. Наконец желанный сон, этот всеобщий успокоитель, посетил его; но какой сон! еще несвязнее сновидений он никогда не видывал. То снилось ему, что вокруг него все шумит, вертится, а он бежит, бежит, не чувствует под собою ног... вот уже выбивается из сил... Вдруг кто-то хватает его за ухо. «Ай! кто это?» — «Это я, твоя жена!» — с шумом говорил ему какой-то голос. И он вдруг пробуждался. То представлялось ему, что он уже женат,

что все в домике их так чудно, так странно: в его комнате стоит вместо одинокой — двойная кровать. На стуле сидит жена. Ему странно; он не знает, как подойти к ней, что говорить с нею, и замечает, что у нее гусиное лицо. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену, тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону — стоит третья жена. Назад — еще одна жена. Тут его берет тоска. Он бросился бежать в сад; но в саду жарко. Он снял шляпу, видит: и в шляпе сидит жена. Пот выступил у него на лице. Полез в карман за платком — и в кармане жена; вынул из уха хлопчатую бумагу — и там сидит жена... То вдруг он прыгал на одной ноге, а тетушка, глядя на него, говорила с важным видом: «Да, ты должен прыгать, потому что ты теперь уже женатый человек». Он к ней — но тетушка уже не тетушка, а колокольня. И чувствует, что его кто-то тащит веревкою на колокольню. «Кто это тащит меня?» — жалобно проговорил Иван Федорович. «Это я, жена твоя, тащу тебя, потому что ты колокол». — «Нет, я не колокол, я Иван Федорович!» — кричал он. «Да, ты колокол», — говорил, проходя мимо, полковник П\*\*\* пехотного полка. То вдруг снилось ему, что жена вовсе не человек, а какая-то шерстяная материя; что он в Могилеве приходит в лавку к купцу. «Какой прикажете материи? — говорит купец. — Вы возьмите жены, это самая модная материя! очень добротная! из нее все теперь шьют себе сюртуки». Купец меряет и режет жену. Иван Федорович берет под мышку, идет к жиду, портному. «Нет, — говорит жид, — это дурная материя! Из нее никто не шьет себе сюртука...»

В страхе и беспамятстве просыпался Иван Федорович. Холодный пот лился с него градом.

Как только встал он поутру, тотчас обратился к гадательной книге, в конце которой один добродетельный книгопродавец, по своей редкой доброте и бескорыстию, поместил сокращенный снотолкователь. Но там совершенно не было ничего, даже хотя немного похожего на такой бессвязный сон.

Между тем в голове тетушки созрел совершенно новый замысел, о котором узнаете в следующей главе.



## ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТО

*Быль, рассказанная дьячком \*\*\*ской церкви*

Ей-богу, уже надоело рассказывать! Да что вы думаете? Право, скучно: рассказывай, да и рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей, в последний раз. Да, вот вы говорили насчет того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом. Оно конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи... Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-богу, обморочит! Вот извольте видеть: нас всех у отца было четверо. Я тогда был еще дурень. Всего мне было лет одиннадцать; так нет же, не одиннадцать: я помню как теперь, когда раз побежал было на четвереньках и стал лаять по-собачьи, батяню закричал на меня, покачав головою: «Эй, Фома, Фома! тебя женить пора, а ты дуреешь, как молодой лошак!» Дед был еще тогда жив и на ноги, — пусть ему легко икнется на том свете, — довольно крепок. Бывало, вздувает...

Да что ж эдак рассказывать? Один выгребает из печки целый час уголь для своей трубки, другой зачем-то побежал за комору. Что, в самом деле!.. Добро бы поневоле, а то ведь сами же напросились. Слушать так слушать!

Батяню еще в начале весны повез в Крым на продажу табак. Не помню только, два или три воза снарядил

он. Табак был тогда в цене. С собою взял он трех годового брата — приучать заранее чумаковать. Нас осталось: дед, мать, я, да брат, да еще брат. Дед засеял баштан на самой дороге и перешел жить в курень; взял и нас с собою гонять воробьев и сорок с баштану. Нам это было нельзя сказать чтобы худо. Бывало, наешься в день столько огурцов, дынь, репы, цибули, гороху, что в животе, ей-богу, как будто петухи кричат. Ну, оно притом же и прибыльно. Проезжие толкнутся по дороге, всякому захочется полакомиться арбузом или дынею. Да из окрестных хуторов, бывало, нанесут на обмен кур, яиц, индеек. Житие было хорошее.

Но деду более всего любо было то, что чумаков каждый день возов пятьдесят проедет. Народ, знаете, бывалый: пойдет рассказывать — только уши развешивай! А деду это все равно что голодному галушки. Иной раз, бывало, случится встреча с старыми знакомыми, — деда всякий уже знал, — можете посудить сами, что бывает, когда соберется старье: тара, тара, тогда-то да тогда-то, такое-то да такое-то было... ну, и разольются! вспомнят бог знает когдашнее.

Раз, — ну вот, право, как будто теперь случилось, — солнце стало уже садиться; дед ходил по баштану и снимал с кавунов листья, которыми прикрывал их днем, чтоб не попеклись на солнце.

— Смотри, Остап! — говорю я брату, — вон чумаки едут!

— Где чумаки? — сказал дед, положивши значок на большой дыне, чтобы на случай не съели хлопцы.

По дороге тянулось точно возов шесть. Впереди шел чумак уже с сизыми усами. Не дошедши шагов — как бы вам сказать — на десять, он остановился.

— Здорово, Максим! Вот привел бог где увидеться! Дед прищурил глаза:

— А! здорово, здорово! откуда бог несет? И Болячка здесь? здорово, здорово, брат! Что за дьявол! да тут все: и Крутотрыщенко! и Печерыця! и Ковелек! и Стецько! здорово! А, га, га! го, го!.. — И пошли целоваться.

Волов распрягли и пустили пастись на траву. Возы оставили на дороге; а сами сели все в кружок впереди куреня и закурили люльки. Но куда уже тут до люлек? за рассказными да за раздобарами вряд ли и по одной досталось. После полдника стал дед потчевать гостей дынями. Вот каждый, взявши по дыне, обчистил ее чистенько ножиком (калачи все были тертые, мыкали немало, знали уже, как едят в свете; пожалуй, и за панский стол хоть сейчас готовы сесть), обчистивши хорошенько, проткнул каждый пальцем дырочку, выпил из нее кисель, стал резать по кусочкам и класть в рот.

— Что ж вы, хлопцы, — сказал дед, — рты свои разинули? танцуйте, собачьи дети! Где, Остап, твоя сопилка? А ну-ка козачка! Фома, берись в боки! ну! вот так! гей, гоп!

Я был тогда малый подвижной. Старость проклятая! теперь уже не пойду так; вместо всех выкрутасов ноги только спотыкаются. Долго глядел дед на нас, сидя с чумаками. Я замечаю, что у него ноги не постоят на месте: так как будто их что-нибудь дергает.

— Смотри, Фома, — сказал Остап, — если старый хрен не пойдет танцевать!

Что ж вы думаете? не успел он сказать — не вытерпел старичина! захотелось, знаете, прихвастнуть пред чумаками.

— Вишь, чертовы дети! разве так танцуют? Вот как танцуют! — сказал он, поднявшись на ноги, протянув руки и ударив каблуками.

Ну, нечего сказать, танцевать-то он танцевал так, хоть бы и с гетьманшею. Мы посторонились, и пошел хрен вывертывать ногами по всему гладкому месту, которое было возле грядки с огурцами. Только что дошел, однако ж, до половины и хотел разгуляться и выметнуть ногами на вихорь какую-то свою штуку, — не поднимаются ноги, да и только! Что за пропасть! Разогнался снова, дошел до середины — не берет! что хочь делай: не берет, да и не берет! ноги как деревянные стали! «Вишь, дьявольское место! вишь, сатанинское наваждение! впутается же прод, враг рода человеческого!»

Ну, как наделать страму перед чумаками? Пустился снова и начал чесать дробно, мелко, любо глядеть; до середины — нет! не вытанцовывается, да и полно!

— А, шельмовский сатана! чтоб ты подавился гнилою дынею! чтоб еще маленьким издохнул, собачий сын! вот на старость наделал стыда какого!..

И в самом деле сзади кто-то засмеялся. Оглянулся: ни баштану, ни чумаков, ничего; назади, впереди, по сторонам — гладкое поле.

— Э! ссс... вот тебе на!

Начал прищуривать глаза — место, кажись, не совсем незнакомое: сбоку лес, из-за леса торчал какой-то шест и виделся прочь далеко в небе. Что за пропасть! да это голубятня, что у попа в огороде! С другой стороны тоже что-то сереет; вгляделся: гумно волостного писаря. Вот куда затащила нечистая сила! Поколесивши кругом, наткнулся он на дорожку. Месяца не было; белое пятно мелькало вместо него сквозь тучу. «Быть завтра большому ветру!» — подумал дед. Глядь, в стороне от дорожки на могилке вспыхнула свечка.

— Вишь! — стал дед и руками подперся в боки, и глядит: свечка потухла; вдали и немного подалее загорелась другая. — Клад! — закричал дед. — Я ставлю бог знает что, если не клад! — и уже поплевал было в руки, чтобы копать, да спохватился, что нет при нем ни заступа, ни лопаты. — Эх, жаль! ну, кто знает, может быть, стоит только поднять дерн, а он тут и лежит, голубчик! Нечего делать, назначить по крайней мере место, чтобы не позабыть после!

Вот, перетянувши сломленную, видно вихрем, порядочную ветку дерева, навалил он ее на ту могилку, где горела свечка, и пошел по дорожке. Молодой дубовый лес стал редеть; мелькнул плетень. «Ну, так! не говорил ли я, — подумал дед, — что это попова левада? Вот и плетень его! теперь и версты нет до баштана».

Поздненько, однако ж, пришел он домой и галушек не захотел есть. Разбудивши брата Остапа, спросил только, давно ли уехали чумаки, и завернулся в тулуп. И когда тот начал было спрашивать:

— А куда тебя, дед, черти дели сегодня?

— Не спрашивай, — сказал он, завертываясь еще

крепче, — не спрашивай, Остап; не то поседеешь! — И захрапел так, что воробьи, которые забрались было на баштан, поподымались с перепугу на воздух. Но где уж там ему спалось! Нечего сказать, хитрая была бестия, дай боже ему царствие небесное! — умел отделаться всегда. Иной раз такую запоет песню, что губы станешь кусать.

На другой день, чуть только стало смеркаться в поле, дед надел свитку, подпоясаясь, взял под мышку заступ и лопату, надел на голову шапку, выпил кухоль сировцу, утер губы полою и пошел прямо к попову огороду. Вот минул и плетень, и низенький дубовый лес. Промеж деревьев вьется дорожка и выходит в поле. Кажись, та самая. Вышел и на поле — место точь-в-точь вчерашнее: вон и голубятня торчит; но гумна не видно. «Нет, это не то место. То, стало быть, подальше; нужно, видно, поворотить к гумну!» Поворотил назад, стал идти другою дорогою — гумно видно, а голубятни нет! Опять поворотил поближе к голубятне — гумно спряталось. В поле, как нарочно, стал накрапывать дождик. Побежал снова к гумну — голубятня пропала; к голубятне — гумно пропало.

— А чтоб ты, проклятый сатана, не дождал детей своих видеть!

А дождь пустился, как будто из ведра.

Вот, скинувши новые сапоги и обвернувши в хустку, чтобы не покорибились от дождя, задал он такого бегуна, как будто панский иноходец. Влез в курень, промокши насквозь, накрылся тулупом и принялся ворчать что-то сквозь зубы и приголубливать черта такими словами, каких я еще отроду не слыхивал. Признаюсь, я бы, верно, покраснел, если бы случилось это среди дня.

На другой день проснулся, смотрю: уже дед ходит по баштану как ни в чем не бывало и прикрывает лопухом арбузы. За обедом опять старичина разговорился, стал пугать меньшего брата, что он обменяет его на кур вместо арбуза; а пообедавши, сделал сам из дерева пищик и начал на нем играть; и дал нам забавляться дыню, свернувшуюся в три погибели, словно змею, которую называл он турецкою. Теперь таких дынь

я нигде и не видывал. Правда, семена ему что-то издалека достались.

Вечеру, уже повечерявши, дед пошел с заступом прокопать новую грядку для поздних тыкв. Стал проходить мимо того заколдованного места, не вытерпел, чтобы не проворчать сквозь зубы: «Проклятое место!» — взошел на середину, где не вытанцовалось позавчера, и ударил в сердцах заступом. Глядь, вокруг него опять то же самое поле: с одной стороны торчит голубятня, а с другой гумно. «Ну, хорошо, что догадался взять с собою заступ. Вон и дорожка! вон и могилка стоит! вон и ветка навалена! вон-вон горит и свечка! Как бы только не ошибиться».

Потихоньку побежал он, поднявши заступ вверх, как будто бы хотел им попотчевать кабана, затесавшегося на баштан, и остановился перед могилкой. Свечка погасла; на могиле лежал камень, заросший травой. «Этот камень нужно поднять!» — подумал дед и начал обкапывать его со всех сторон. Велик проклятый камень! вот, однако ж, упершись крепко ногами в землю, пихнул он его с могилы. «Гу!» — пошло по долине. «Туда тебе и дорога! Теперь живее пойдет дело».

Тут дед остановился, достал рожок, насыпал на кулак табаку и готовился было поднести к носу, как вдруг над головою его «чихи!» — чихнуло что-то так, что покачнулись деревья и деду забрызгало все лицо.

— Отворотился хоть бы в сторону, когда хочешь чихнуть! — проговорил дед, протирая глаза. Осмотрелся — никого нет. — Нет, не любит, видно, черт табаку! — продолжал он, кладя рожок в пазуху и принимаясь за заступ. — Дурень же он, а такого табаку ни деду, ни отцу его не доводилось нюхать!

Стал копать — земля мягкая, заступ так и уходит. Вот что-то звукнуло, Выкидавши землю, увидел он котел.

— А, голубчик, вот где ты! — вскрикнул дед, подсовывая под него заступ.

— А, голубчик, вот где ты! — запищал птичий нос, клюнувши котел.

Посторонился дед и выпустил заступ,

— А, голубчик, вот где ты! — заблеяла баранья голова с верхушки дерева.

— А, голубчик, вот где ты! — заревел медведь, высунувши из-за дерева свое рыло.

Дрожь проняла деда.

— Да тут страшно слово сказать! — проворчал он про себя.

— Тут страшно слово сказать! — пискнул птичий нос.

— Страшно слово сказать! — заблеяла баранья голова.

— Слово сказать! — ревнул медведь.

— Гм... — сказал дед, и сам перепугался.

— Гм! — пропищал нос.

— Гм! — проблеял баран.

— Гум! — заревел медведь.

Со страхом оборотился он: боже ты мой, какая ночь! ни звезд, ни месяца; вокруг провалы; под ногами круча без дна; над головою свесилась гора и вот-вот, кажись, так и хочет оборваться на него! И чудится деду, что из-за нее мигает какая-то харя: у! у! нос — как мех в кузнице; ноздри — хоть по ведру воды влей в каждую! губы, ей-богу, как две колоды! красные очи выкатились наверх, и еще и язык высунула и дразнит!

— Черт с тобою! — сказал дед, бросив котел. — На тебе и клад твой! Экая мерзостная рожа! — и уже ударился было бежать, да огляделся и стал, увидевши, что все было по-прежнему. — Это только пугает нечистая сила!

Принялся снова за котел — нет, тяжел! Что делать? Тут же не оставить! Вот, собравши все силы, ухватился он за него руками.

— Ну, разом, разом! еще, еще! — и вытащил! — Ух! Теперь понюхать табаку!

Достал рожок; прежде, однако ж, чем стал насыпать, осмотрелся хорошенько, нет ли кого: кажись, что нет; но вот чудится ему, что пень дерева пыхтит и дуется, показываются уши, наливаются красные глаза; ноздри раздулись, нос поморщился и вот так и собирается чихнуть. «Нет, не понюхаю табаку, — подумал дед, спрятавши рожок, — опять заплует сатана

очи!» Схватил скорее котел и давай бежать, сколько доставало духу; только слышит, что сзади что-то так и чешет прутьями по ногам... «Ай! ай, ай!» — покрикивал только дед, ударив во всю мочь; и как добежал до попова огорода, тогда только перевел немного дух.

«Куда это зашел дед?» — думали мы, дожидаясь часа три. Уже с хутора давно пришла мать и принесла горшок горячих галушек. Нет, да и нет деда! Стали опять вечерять сами. После вечера вымыла мать горшок и искала глазами, куда бы вылить помои, потому что вокруг все были гряды; как видит, идет прямо к ней навстречу кухва. На небе было-таки темненько. Верно, кто-нибудь из хлопцев, шая, спрятался сзади и подталкивает ее.

— Вот кстати, сюда вылить помои! — сказала и вылила горячие помои.

— Ай! — закричало басом.

Глядь — дед. Ну, кто его знает! Ей-богу, думали, что бочка лезет. Признаюсь, хоть оно и грешно немного, а право, смешно показалось, когда седая голова деда вся была окунута в помои и обвешана корками с арбузов и дыней.

— Вишь, чертова баба! — сказал дед, утирая голову полою, — как опарила! как будто свинью перед рождеством! Ну, хлопцы, будет вам теперь на бублики! Будете, собачьи дети, ходить в золотых жупанах! Посмотрите-ка, посмотрите сюда, что я вам принес! — сказал дед и открыл котел.

Что ж бы, вы думали, такое там было? ну, по малой мере, подумавши, хорошенько, а? золото? Вот то-то, что не золото: сор, дрязг... стыдно сказать, что такое. Плюнул дед, кинул котел и руки после того вымыл.

И с той поры заклил дед и нас верить когда-либо черту.

— И не думайте! — говорил он часто нам, — все, что ни скажет враг господа Христа, все солжет, собачий сын! У него правды и на копейку нет!

И, бывало, чуть только услышит старик, что в ином месте не спокойно:

— А ну-те, ребята, давайте крестить! — закричит к нам. — Так его! так его! хорошенько! — и начнет





Заколдованное место  
*Рисунок М. Клодта. 1891*



класть кресты. А то проклятое место, где не вытанцовалось, загородил плетнем, велел кидать все, что ни есть непотребного, весь бурьян и сор, который выгребал из баштана.

Так вот как морочит нечистая сила человека! Я знаю хорошо эту землю: после того нанимали ее у батька под баштан соседние козаки. Земля славная! и урожай всегда бывал на диво; но на заколдованном месте никогда не было ничего доброго. Засеют как следует, а взойдет такое, что и разобрать нельзя: арбуз не арбуз, тыква не тыква, огурец не огурец... черт знает что такое!



# **ПРИЛОЖЕНИЯ**



## ГАНЦ КЮХЕЛЬГАРТЕН

### *Идиллия в картинах*

Предлагаемое сочинение никогда бы не увидело света, если бы обстоятельства, важные для одного только автора, не побудили его к тому. Это произведение его восемнадцатилетней юности. Не принимаясь судить ни о достоинстве, ни о недостатках его и представляя это просвещенной публике, скажем только то, что многие из картин сей идиллии, к сожалению, не уцелели; они, вероятно, связывали более ныне разрозненные отрывки и дорисовывали изображение главного характера. По крайней мере мы гордимся тем, что по возможности споспешествовали свету ознакомиться с созданием юного таланта.

### КАРТИНА I

Светает. Вот проглянула деревня,  
Дома, сады. Все видно, все светло.  
Вся в золоте сияет колокольня,  
И блещет луч на стареньком заборе.  
Пленительно оборотилось все  
Вниз головой в серебряной воде:  
Забор, и дом, и садик в ней такие ж.  
Все движется в серебряной воде:  
Синеет свод, и волны облак ходят,  
И лес живой вот только не шумит.

На берегу, далеко вшедшем в море,  
Под тенью лип, стоит уютный домик  
Пастора. В нем давно старик живет.  
Ветшает он, и старенькая кровля  
Посунулась; труба вся почернела;  
И лепится давно цветистый мох  
Уж по стенам; и окна искосились;  
Но как-то мило в нем, и ни за что  
Старик его б не отдал. Вот та липа,  
Где отдыхать он любит, тож дряхлеет.  
Зато вокруг ней зеленые прилавки  
Из дерну свежего. В дуплистых норах  
Ее гнездятся птички, старый дом  
И сад веселой песнью оглашая.  
Пастор всю ночь не спал, да пред рассветом  
Уж вышел спать на чистый воздух;  
И дремлет он под липой в старых креслах,  
И ветерок ему свежит лицо  
И белые взвевает волоса.

Но кто прекрасная подходит?  
Как утро свежее, горит  
И на него глаза наводит?  
Очаровательно стоит?  
Взгляните же, как мило будит  
Ее лилейная рука,  
Его касаясь слегка,  
И возвратиться в мир наш нудит.  
И вот вполглаза он глядит,  
И вот спросонья говорит:

«О дивный, дивный посетитель!  
Ты навестил мою обитель!  
Зачем же тайная тоска  
Всю душу мне насквозь прохрдит  
И на седого старика  
Твой образ дивный сдалека  
Волнение странное наводит?  
Ты посмотри: уже я хил,  
Давно к живущему остыл,  
Себя погреб в себе давно я,



Со дня я на день жду покоя,  
О нем и мыслить уж привык,  
О нем и мелет мой язык.  
Чего ж ты, гостя молодая,  
К себе так пламенно влечешь?  
Или, жилища неба-рая,  
Ты мне надежду подаешь,  
На небеса меня зовешь?  
О, я готов, да недостойн.  
Велики тяжкие грехи:  
И я был злой на свете воин,  
Меня робели пастухи;  
Мне лютые дела не новость;  
Но дьявола отрекся я,  
И остальная жизнь моя —  
Заплата малая моя  
За прежней жизни злую повесть...»

Тоски, смятения полна,  
«Сказать, — подумала она, —  
Он бог знает куда заедет...  
Сказать ему, что он ведь бредит».

Но он в забвенье погружен.  
Его объемлет снова сон.  
Склонясь над ним, она чуть дышит.  
Как поживает! как он спит!  
Вдох чуть заметный грудь колышет;  
Незримым воздухом обвит,  
Его архангел сторожит;  
Улыбка райская сияет,  
Чело святое осеняет.

Вот он открыл свои глаза:  
«Луиза, ты ль? мне снилось... странно...  
Ты поднялась, шалунья, рано;  
Еще не высохла роса.  
Сегодня, кажется, туманно».

«Нет, дедушка, светло, свод чист;  
Сквозь рощу солнце светит ярко;

Не колыхнется свежий лист,  
И поутру уже все жарко.  
Узнаете ль, зачем я к вам? —  
У нас сегодня будет праздник.  
У нас уж старый Лодельгам,  
Скрыпач, с ним Фриц-проказник;  
Мы будем ездить по водам...  
Когда бы Ганц...» Добросердечный  
Пастор с улыбкой хитрой ждет,  
О чем рассказ свой поведет  
Младенец резвый и беспечный.

«Вы, дедушка, вы можете помочь  
Одни неслыханному горю:  
Мой Ганц страх болен; день и ночь  
Все ходит к сумрачному морю;  
Все не по нем, всему не рад,  
Сам говорит с собой, к нам скупен,  
Спросить — ответит невпопад,  
И весь ужасно как измучен.  
Ему зазнаться уж с тоской —  
Да эдак он себя погубит.  
При мысли я дрожу одной:  
Быть может, недоволен мной;  
Быть может, он меня не любит.  
Мне это — в сердце нож стальной.  
Я вас просить, мой ангел, смею...»  
И кинулась к нему на шею,  
Стесненной грудью чуть дыша;  
И вся зарделась, вся смешалась  
Моя красавица-душа;  
Слеза на глазках показалась...  
Ах, как Луиза хороша!

«Не плачь, спокойся, друг мой милый!  
Ведь стыдно плакать наконец, —  
Духовный молвил ей отец. —  
Бог нам дарит терпенье, силы;  
С твоей усердною мольбой  
Тебе ни в чем он не откажет.  
Поверь, Ганц дышит лишь тобой;

Поверь, он то тебе докажет.  
Зачем же мыслию пустой  
Душевный растравлять покой?»

Так утешает он свою Луизу,  
Ее к груди дряхлеющей прижав.  
Вот старая Гертруда ставит кофий,  
Горячий и весь светлый, как янтарь.  
Старик любил на воздухе пить кофий,  
Держа во рту черешневый чубук;  
Дым уходил и кольцами ложился.  
И, призадумавшись, Луиза хлебом  
Кормила с рук своих кота, который,  
Мурлыча, крался, слыша сладкий запах.  
Старик привстал с цвеченых старых кресел,  
Принес мольбу и руку внучке подал;  
И вот надел нарядный свой халат,  
Весь из парчи серебряной, блестящей,  
И праздничный неношенный колпак,—  
Его в подарок нашему пастору  
Из города привез недавно Ганц,—  
И, опираясь на плечо Луизы  
Лилейное, старик наш вышел в поле.  
Какой же день! Веселые вились  
И пели жавронки; ходили волны  
От ветру золотого в поле хлеба;  
Сгустились вот над ними деревья,  
На них плоды пред солнцем наливались  
Прозрачные; вдали темнели воды  
Зеленые; сквозь радужный туман  
Неслись моря душистых ароматов;  
Пчела-работница срывала мед  
С живых цветов; резвунья стрекоза  
Треща вилась; разгульная вдали  
Неслася песнь,— то песнь гребцов удалых,  
Редее лес, видна уже долина,  
По ней мычат игривые стада;  
А издали видна уже и кровля  
Луизина; краснеют черепицы,  
И ярко луч по краям их скользит.

## КАРТИНА II

Волнуем думой непонятной,  
Наш Ганц рассеянно глядел  
На мир великий, необъятный,  
На свой незнаемый удел.  
Доселе тихий, безмятежный,  
Он жизнью радостно играл;  
Душой невинною и нежной  
В ней горьких бед не прозревал;  
Земного мира уроженец,  
Земных губительных страстей  
Он не носил в груди своей,  
Беспечный, ветреный младенец.  
И было весело ему.  
Он разрезвлялся мило, живо  
В толпе детей; не верил злу;  
Пред ним цвел мир как бы на диво,  
Его подруга с детских дней,  
Дитя Луиза, ангел светлый,  
Блистая прелестью речей;  
Сквозь кольца русые кудрей  
Лукавый взгляд жег неприметно;  
В зеленой юбочке сама,  
Поет, танцует ли она —  
Все простодушно, в ней все живо,  
Все детски в ней красноречиво;  
На шейке розовый платок  
С груди слетает понемножку,  
И стройно белый башмачок  
Ее охватывает ножку.  
В лесу ль играет вместе с ним —  
Его обгонит, все проникнет;  
В куст притаясь, с желаньем злым,  
Ему вдруг в уши громко крикнет —  
И испугает; спит ли он —  
Ему лицо все разрисует,  
И, звонким смехом пробужден,  
Он покидает сладкий сон,  
Шалунью резвую целует,

Уходит за весной весна.  
Круг детских игр их стал уж скромн, —  
Меж ними резвость не видна;  
Огонь очей его стал томен,  
Она застенчиво-грустна.  
Они, понятно, угадали  
Вас, речи первые любви!  
Покуда сладкие печали!  
Покуда радужные дни!  
Чего б желать с Луизой милой?  
Он с ней и вечер, с ней и день,  
К ней привлечен он дивной силой,  
Как верно бродящая тень.  
Полны сердечного участия,  
Не наглядятся старики  
Их простодушные на счастье  
Своих детей; и далеки  
От них дни горя, дни сомнений:  
Их осеняет мирный Гений.

Но скоро тайная печаль  
Им овладела; взор туманен,  
И часто смотрит он на даль,  
И беспокоен весь и странен.  
Чего-то смело ищет ум,  
Чего-то тайно негодует;  
Душа, в волненье темных дум,  
О чем-то, скорбная, тоскует;  
Он как прикованный сидит,  
На море буйное глядит;  
В мечтанье все кого-то слышит  
При стройном шуме ветхих вод.

. . . . .  
Или в долине ходит думный;  
Глаза торжественно блестят,  
Когда несется ветер шумный  
И громы жарко говорят;  
Огонь мгновенный колет тучи;  
Дождя источники горячи  
Секутся звучно и шумят,

Иль в час полночи, в час мечтаний  
Сидит за книгою преданий,  
И, перевертывая лист,  
Он ловит буквы в ней немые:  
Глаголят в них века седые  
И слово дивное гремит.  
Час углубясь в раздумье целой  
С нее и глаз он не сведет;  
Кто мимо Ганца ни пройдет,  
Кто ни посмотрит — скажет смело:  
Назад далеко он живет.  
Чудесной мыслью очарован,  
Под дуба сумрачную сень  
Идет он часто в летний день,  
К чему-то тайному прикован;  
Он видит тайно чью-то тень,  
И к ней он руки простирает,  
Ее в забвенье обнимает.

А простодушна и одна  
Луиза-ангел, что же? где же?  
Ему всем сердцем предана,  
Не знает, бедненькая, сна;  
Ему приносит ласки те же;  
Его ручонкой обовьет,  
Его невинно поцелует;  
Он на минуту растоскует  
И снова то же запоеет.

Они прекрасны, те мгновенья,  
Когда прозрачною толпой  
Далеко милые виденья  
Уносят юношу с собой.  
Но если мир души разрушен,  
Забыт счастливый уголок,  
К нему он станет равнодушен  
И для простых людей высок.  
Они ли юношу наполнят?  
И сердце радостью ль исполнят?

Пока в жилище суеты  
Его подслушаем украдкой  
Доселе бывшие загадкой  
Разнообразные мечты.

### КАРТИНА III

Земля классических, прекрасных созиданий,  
И славных дел, и вольности земля!  
Афины, к вам, в жару чудесных трепетаний  
Душой приковываюсь я!  
Вот от треножников до самого Пирея  
Кипит, волнуется торжественный народ;  
Где речь Эсхинова, гремя и пламенея,  
Все своенравно вслед влечет,  
Как воды шумные прозрачного Иллиса.  
Велик сей мраморный изящный Парфенон!  
Колонн дорических он рядом обнесен;  
Минерву Фидий в нем переселил резцом,  
И блещет кисть Парразия, Зевксиса.  
Под портиком божественный мудрец  
Ведет высокое о дольном мире слово;  
Кому за доблести бессмертие готово,  
Кому позор, кому венец.  
Фонтанов стройных шум, нестройных песней клики;  
С восходом дня толпа в амфитеатр валит,  
Персидский кандис весь испещренный блестит,  
И вьются легкие туники.  
Стихи Софокловы порывисто звучат;  
Венки лавровые торжественно летят;  
С медоточивых уст любимца Эпикура  
Архонты, воины, служители Амура  
Спешат прекрасную науку изучить:  
Как жизнью жить, как наслаждение пить.  
Но вот Аспазия! Не смеет и дохнуть  
Смятенный юноша, при черных глаз сих встрече.  
Как жарки те уста! как пламенны те речи!  
И, темные как ночь, те кудри как-нибудь,  
Волнуясь, падают на грудь,  
На беломраморные плечи.

Но что при звуке чаш тимпанов дикий вой?  
Плющом увенчаны, вакхические девы  
Бегут нестройною, неистовой толпой  
В священный лес; все скрылось... что вы? где вы?..

Но вы пропали, я один.  
Опять тоска, опять досада;  
Хотя бы Фавн пришел с долины,  
Хотя б прекрасная Дриада  
Мне показалась в мраке сада.  
О, как чудесно вы свой мир  
Мечтою, греки, населили!  
Как вы его обворожили!  
А наш — и беден он, и сир,  
И расквadraчен весь на мили.

И снова новые мечты  
Его, смеясь, обнимают;  
Его воздушно поднимают  
Из океана суеты.

#### КАРТИНА IV

В стране, где сверкают живые ключи;  
Где, чудно сияя, блистают лучи;  
Дыхание амры и розы ночной  
Роскошно объемлет эфир голубой;  
И в воздухе тучи курений висят;  
Плоды мангустана златые горят;  
Лугов Кандагарских сверкает ковер;  
И смело накинута небесный шатер;  
Роскошно валится дождь яркий цветов, —  
То блещут, трепещут рои мотыльков;  
Я вижу там Пери: в забвенье она  
Не видит, не внемлет, мечтаний полна.  
Как солнца два, очи небесно горят;  
Как Гемасагара, так кудри блестят;  
Дыхание — лилий серебряных чад,  
Когда засыпает истомленный сад  
И ветер их вздохи развеет порой;  
А голос — как звуки сиринды ночной  
Или трепетанье серебряных крыл,



Когда ими звукнет, резвясь, Исразил,  
Иль плески Хиндары таинственных струй.  
А что же улыбка? А что ж поцелуй?  
Но вижу, как воздух, она уж летит,  
В края поднебесны, к родимым спешит.  
Постой, оглянися! Не внемлет она,  
И в радуге тонет, и вот не видна.  
Но воспоминанье мир долго хранит,  
И благоуханьем весь воздух обвит.

. . .

Живого юности стремленья  
Так испестрялися мечты.  
Порой небесного черты,  
Души прекрасной впечатленья,  
На нем лежали; но чего  
В волненьях сердца своего  
Искал он думою неясной,  
Чего желал, чего хотел,  
К чему так пламенно летел  
Душой и жадною и страстной,  
Как будто мир желал обнять, —  
Того и сам не мог понять.  
Ему казалось душно, пыльно  
В сей позаброшенной стране;  
И сердце билось сильно, сильно  
По дальней, дальней стороне.  
Тогда, когда б вы повидали,  
Как воздымалась буйно грудь,  
Как взоры гордо трепетали,  
Как сердце жаждало прильнуть  
К своей мечте, мечте неясной;  
Какой в нем пыл кипел прекрасной;  
Какая жаркая слеза  
Живые наполнила глаза.

## КАРТИНА VI

От Висмара в двух милях та деревня,  
Где ограничился лиц наших мир.  
Не знаю, как теперь, но Люненсдорфом

Она тогда, веселая, звалась.  
Уж издали белеет скромный домик  
Вильгельма Бауха, мызника. Давно,  
Женившись на дочери пастора,  
Его построил он! Веселый домик!  
Он выкрашен зеленой краской, крыт  
Красивою и звонкой черепицей;  
Вокруг каштаны старые стоят,  
Нависши ветвями, как будто в окна  
Хотят продраться; из-за них мелькает  
Решетка из прекрасных лоз, красиво  
И хитро сделана самим Вильгельмом;  
По ней висит и змейкой вьется хмель;  
С окна протянут шест, на нем белье  
Блестает белое пред солнцем. Вот  
В пролом на чердаке толпится стая  
Мохнатых голубей; протяжно клохчут  
Индейки; хлопая, встречает день  
Крикун петух, и по двору вот важно,  
Меж пестрых кур, он кучи разгребает  
Зернистые; гуляют тут же две  
Ручные козы и, резвяся, щиплют  
Душистую траву. Давно курился  
Уж дым из белых труб, курчаво он  
Вился и облака приумножал.  
С той стороны, где с стен валилась краска  
И серые торчали кирпичи,  
Где древние каштаны стлали тень,  
Которую перебегало солнце,  
Когда вершину их ветр резво колыхал,—  
Под тенью тех деревьевечно милых  
Стоял с утра дубовый стол, весь чистой  
Покрытый скатертью и весь уставлен  
Душистой яствой: желтый вкусный сыр,  
Редис и масло в фарфоровой утке,  
И пиво, и вино, и сладкий бишеф,  
И сахар, и коричневые вафли;  
В корзине спелые, блестящие плоды:  
Прозрачный грозд, душистая малина,  
И, как янтарь, желтеющие груши,  
И сливы синие, и яркий персик,

В затейливом виднелось все порядке.  
Сегодня праздновал живой Вильгельм  
Рождение дорогой своей супруги —  
С пастором и драгими дочерьми:  
Луизой старшей и меньшою Фанни.  
Но Фанни нет, она давно пошла  
Звать Ганца и не возвращалась. Верно,  
Он где-нибудь опять в раздумье бродит.  
А милая Луиза все глядит  
Внимательно на темное окно  
Соседа Ганца. Два шага всего ведь  
К нему; но не пошла моя Луиза:  
Чтоб не заметил он в ее лице  
Тоски докучливой, чтоб не прочел  
В ее глазах он едкого упрека.  
Вот говорит Вильгельм, отец, Луизе:  
«Смотри, ты Ганца пожури порядком:  
Зачем он к нам так долго не идет?  
Ведь ты его сама избаловала».  
И вот дитя Луиза так в ответ:  
«Боюсь журить прекрасного я Ганца:  
И без того он болен, бледен, худ...»  
«Что за болезнь, — сказала мать,  
Живая Берта, — не болезнь, тоска  
Незванная к нему сама пристала;  
Вот женится, и отпадет тоска.  
Так молодой побег, совсем пригложший,  
Опрыснутый дождем, вмиг зацветет;  
И что ж жена, как не веселье мужа?»  
«Речь умная, — седой пастор примолвил, —  
Все, верь, пройдет, когда захочет бог,  
И будь во всем его святая воля».  
Уже два раза он из трубки выбивал  
Золу и в спор вступал с Вильгельмом,  
Разговорясь про новости газет,  
Про злой неурожай, про греков и про турок,  
Про Мисолунги, про дела войны,  
Про славного вождя Колокотрони,  
Про Канинга, про парламент,  
Про бедствия и мятежи в Мадрите.  
Как вдруг Луиза вскрикнула и мигом,

Увидя Ганца, бросилась к нему.  
Воздушный стан ее обнявши стройный,  
С волнением юноша ее поцеловал.  
Оборотясь к нему, вот молвит пастор:  
«Эх, стыдно, Ганц, забыть своего друга!  
Да что, коли уже забыл Луизу,  
Об нас ли, стариках, и думать?» — «Полно  
Тебе все Ганца, папенька, журить, —  
Сказала Берта, — лучше сядем мы  
Теперь за стол, не то простынет все:  
И каша с рисом и вином душистым,  
И сахарный горох, каплун горячий,  
Зажаренный с изюмом в масле». Вот  
За стол они садятся мирно;  
И скоро вмиг вино все оживило  
И, светлое, смех в душу пролило.  
Старик скрыпач и Фриц на звонкой флейте  
Согласно грянули хозяйке в честь.  
Все понеслись и закружились в вальсе.  
Развеселясь, румяный наш Вильгельм  
Пустился сам с своей женой, как с павой;  
Как вихорь, песся Ганц с своей Луизой  
В бурливом вальсе; и пред ними мир  
Вертелся весь в чудесном, шумном строе.  
А милая Луиза нидохнуть,  
Ни посмотреть вокруг не может, вся  
В движенье потерялась. Ими  
Не налюбуясь, говорит пастор:  
«Любезная, прекрасная чета!  
Мила моя веселая Луиза,  
Прекрасен, и умен, и скромен Ганц;  
Сотворены они уж друг для друга  
И счастливо свою жизнь проведут.  
Благодарю тебя, о боже милосердый!  
Что ниспослал на старость благодать,  
Мои продлил дряхлеющие силы —  
Чтобы узреть таких прекрасных внучат,  
Чтобы сказать, прощаясь с ветхим телом:  
Прекрасное я видел на земли».

## КАРТИНА VII

С прохладой спокойный тихий вечер  
Спускается; прощальные лучи  
Целуют где-где сумрачное море;  
И искрами живыми, золотыми  
Деревья тронуты; и вдалеке  
Виднеют, сквозь туман морской, утесы,  
Все разноцветные. Спокойно все.  
Пастушьих лишь рожков унывный голос  
Несется вдаль с веселых берегов,  
Да тихий шум в воде всплеснувшей рыбы  
Чуть пробежит и вздернет море рябью,  
Да ласточка, крылом черпнувши моря,  
Круги по воздуху, скользя, дает.  
Вот заблестел вдали, как точка, катер;  
А кто же в нем, в том катере, сидит?  
Сидит пастор, наш старец седовласый,  
И с дорогой супругою Вильгельм;  
А резвая всегда шалунья Фанни,  
С удой в руках и свесившись с перил,  
Смеясь, ручонкою болтала волны;  
Возле кормы с Луизой милой Ганц.  
И долго все в молчанье любовались,  
Как за кормой широкая ходила  
Волна и в брызгах огнецветных, вдруг  
Веслом разорванная, трепетала;  
Как разъяснялась розовая дальность  
И южный ветер дыханье навевал.  
И вот пастор, исполнен умиления,  
Проговорил: «Как мил сей божий вечер!  
Прекрасен, тих он, как благая жизнь  
Безгрешного; она ведь так же мирно  
Кончает путь, и слезы умиления  
Священный прах, прекрасные, кропят.  
Пора и мне уж; срок назначен,  
И скоро, скоро я не буду ваш,  
Но эдак ли прекрасно опочию?..»  
Все прослезились. Ганц, который песню  
Наигрывал на сладостном гобое,

Задумался и выронил гобой;  
И снова сон какой-то осенил  
Его чело; далеко мчались мысли,  
И чудное на душу натекло.  
И вот ему так говорит Луиза:  
«Скажи мне, Ганц, когда еще ты любишь  
Меня, когда я пробудить могу  
Хоть жалость, хоть живое состраданье  
В душе твоей, не мучь меня, скажи, —  
Зачем один с какой-то книгой  
Ты ночь сидишь? (Мне видно все,  
И окнами ведь друг мы против друга.)  
Зачем дичишься всех? зачем грустишь?  
О, как меня твой грустный вид тревожит!  
О, как меня печаль твоя печалит!»  
И, тронутый, смутился Ганц;  
Ее к груди с тоскою прижимает,  
И брызнула невольная слеза.  
«Не спрашивай меня, моя Луиза,  
И беспокойством сим тоски не множь.  
Когда ж кажусь погружен в мысли —  
Верь, занят и тогда тобой одною,  
И думаю я, как бы отвратить  
Все от тебя печальные сомненья,  
Как радостью твое наполнить сердце,  
Как бы души твоей хранить покой,  
Оберегать твой детский сон невинный:  
Чтобы недоброе не приближалось,  
Чтобы и тень тоски не прикасалась,  
Чтоб счастье твое всегда цвело».  
Спустиась к нему головкою на грудь,  
В избытке чувств, в признательности сердца,  
Ни слова вымолвить она не может.  
По берегу неслася лодка плавно  
И вдруг причалила. Все вышли  
Вмиг из нее. «Ну! берегитесь, дети, —  
Сказал Вильгельм, — здесь сыро и роса,  
Чтоб не нажить несносного вам кашля».  
Дорогой Ганц наш мыслит: «Что же будет,  
Когда услышит то, чего и знать бы  
Не должно ей?» И на нее глядит,

И чувствует он в сердце укоризну:  
Как будто бы недоброе что сделал,  
Как будто бы пред богом лицемерил.

## КАРТИНА VIII

На башне бьет час полуночный,  
Так, это час, час дум урочный,  
Как Ганц один всегда сидит!  
Свет лампы перед ним дрожит  
И бледно сумрак освещает,  
Как бы сомненья разливает.  
Все спит. Ничей блудящий взор  
На поле никого не встретит;  
И, как далекий разговор,  
Волна шумит, а месяц светит.  
Все тихо, дышит ночь одна.  
Теперь его глубоких дум  
Не потревожит дневный шум:  
Над ним такая ж тишина.

А что ж она? Встает она,  
Садится прямо у окна:  
«Он не посмотрит, не приметит,  
А насмотрюсь я на него;  
Не спит для счастья моего!..  
Благослови, господь, его!»

Волна шумит, а месяц светит.  
И вот над нею вьется сон  
И голову невольно клонит.  
Но Ганц все так же в мыслях тонет,  
В глубь их далеко погружен.

### 1

Все решено. Теперь ужели  
Мне здесь душою погибать?  
И не узнать иной мне цели?

И цели лучшей не сыскать?  
Себя обречь бесславыю в жертву?  
При жизни быть для мира мертву?

2

Душой ли, славу полюбившей,  
Ничтожность в мире полюбить?  
Душой ли, к счастью не остывшей,  
Волненья мира не испытать?  
И в нем прекрасного не встретить?  
Существованья не отметить?

3

Зачем влечете так к себе вы,  
Земли роскошные края?  
И день и ночь, как птиц напевы,  
Призывный голос слышу я;  
И день и ночь мечтами скован,  
Я вами, вами очарован.

4

Я ваш! я ваш! из сей пустыни  
Вниду я в райские места;  
Как пилигрим бредет к святыне,  
. . . . .

Корабль пойдет, забрызжут волны;  
Им чувства вслед, веселья полны.

5

И он спадет, покров неясный,  
Под коим знала вас мечта,  
И мир прекрасный, мир прекрасный  
Отворит дивные врата,



Приветить юношу готовый  
И в наслажденьях вечно новый.

6

Творцы чудесных впечатлений!  
Резец ваш, кисть увижу я,  
И ваших пламенных творений  
Душа исполнится моя.  
Шуми ж, мой океан широкий!  
Неси корабль мой одинокий!

7

А ты прости, мой угол тесный,  
И лес, и поле! луг, прости!  
Кропи вас чаще дождь небесный!  
И дай бог долее цвести!  
По вас душа как будто страждет,  
В последний раз обнять вас жаждет.

8

Прости, мой ангел безмятежный!  
Чела слезами не кропи!  
Не предавайсь тоске мятежной  
И Ганца бедного прости!  
Не плачь, не плачь, я скоро буду,  
Я возвращусь — тебя ль забуду?..

КАРТИНА IX

Кто это позднею порой  
Ступает тихо, осторожно?  
Видна котомка за спиной,  
Посох за поясом дорожный.

Направо домик перед ним,  
Налево дальняя дорога,  
Идти путем он хочет сим  
И просит твердости у бога.  
Но мукой тайною томим,  
Назад он ноги обращает,  
И в домик тот он поспешает.

Одно окно открыто в нем;  
Облокотясь, пред тем окном  
Краса-девица поживает,  
И, вея ветер над ней крылом,  
Ей сны чудесные внушает;  
И, ими милая полна,  
Вот улыбается она.  
С душеволнением к ней подходит...  
Стеснилась грудь, дрожит слеза...  
И на прекрасную наводит  
Свои блестящие глаза.  
Он наклонился к ней, пылает,  
Ее целует и стенает.

И, вздрогнув, быстро он бежит  
Опять дорогою далекой;  
Но мрачен беспокойный вид,  
Но грустно в сей душе глубокой.  
Вот оглянулся он назад.  
Но уж туман окрестность кроет,  
И пуще юноши грудь ноет,  
Прощальный посылая взгляд.  
Ветр, пробудившись, суровой  
Качнул зеленою дубровой.  
Исчезло все в дали пустой.  
Сквозь сон лишь смутною порой  
Готлиб, привратник, будто слышал,  
Что из калитки кто-то вышел,  
Да верный пес, как бы в укор,  
Пролаял звучно на весь двор.

## КАРТИНА X

Не всходит долго светлый вождь.  
Ненастно утро; на поляны  
Валяются серые туманы;  
Звенит по кровлям частый дождь.  
С зарей красавица проснулась;  
Сама дивится, что она  
Проспала ночь всю у окна.  
Поправив кудри, улыбнулась,  
Но, против воли, взор живой  
Блеснул досадною слезой.  
«Что Ганц так долго не приходит?  
Он обещал мне быть чуть свет.  
Какой же день! тоску наводит;  
Туман густой по полю ходит,  
И ветер свистит; а Ганца нет».

Полна живого нетерпенья,  
Глядит на милое окно:  
Не отворяется оно.  
Ганц, верно, спит, и сновиденья  
Ему творят любой предмет;  
Но день давно уж. Рвут долины  
Ручьи дождя; дубов вершины  
Шумят; а Ганца нет как нет.

Уж скоро полдень. Неприметно  
Туман уходит; лес молчит;  
Гром в размышлении гремит  
Вдали... Дугою семицветной  
Горит на небе райский свет;  
Унизан искрами дуб древний;  
И песни звонкие с деревни  
Звучат; а Ганца нет как нет.

Что б это значило?.. находит  
Злодейка грусть; слух утомлен  
Считать часы... Вот кто-то входит...  
И в дверь... Он! он!.. ах, нет, не он!  
В халате розовом покойном,

В цветном переднике с каймой,  
Приходит Берта: «Ангел мой!  
Скажи, что сделалось с тобой?  
Ты ночь всю спала беспокойно;  
Ты вся томна, ты вся бледна.  
Не дождь ли помешал шумливый?  
Или ревущая волна?  
Или петух, буян крикливый,  
Всю ночь не ведающий сна?  
Иль потревожил дух нечистый  
Во сне покой девицы чистой,  
Навеял черную печаль?  
Скажи, тебя всем сердцем жаль!»

«Нет, не мешал мне дождь шумливый,  
И не ревущая волна,  
И не петух, буян крикливый,  
Всю ночь не ведающий сна;  
Не эти сны, не те печали  
Мне грудь младую взволновали,  
Не ими дух мой возмущен,  
Иной мне снился дивный сон.

Мне снилось: в темной я пустыне,  
Вокруг меня туман и глушь.  
И на болотистой равнине  
Нет места, где была бы сушь.  
Тяжелый запах; топко, вязко;  
Что шаг, то бездна подо мной:  
Боюсь я ступить ногой;  
И вдруг мне сделалось так тяжело,  
Так тяжело, что нельзя сказать...  
Где ни возьмись Ганц, дикий, странный, —  
Бежала кровь, струясь из раны, —  
Вдруг начал надо мной рыдать;  
Но вместо слез лились потоки  
Какой-то мутных воды...  
Проснулась я: на грудь, на щеки,  
На кудри русой головы  
Бежал ручьями дождь досадный;  
И было сердцу не отрадно,

Меня предчувствие берет...  
И я кудрей не выжимала;  
И я все утро тосковала;  
Где он? и что с ним? что нейдет?»

Стоит, качает головою,  
Разумная, пред нею мать:  
«Ну дочка! мне с твоей бедою,  
Не знаю, как уж совладать.  
Пойдем к нему, узнаем сами,  
Да будь святая сила с нами!»

Вот входят в комнату оне;  
Но в ней все пусто. В стороне  
Лежит, в густой пыли, том давний,  
Платон и Шиллер своенравный,  
Петрарка, Тик, Аристофан  
Да позабытый Винкельман;  
Куски изодранной бумаги;  
На полке — свежие цветы;  
Перо, которым, полн отваги,  
Передавал свои мечты.  
Но на столе мелькнуло что-то.  
Записка!.. с трепетом взяла  
Луиза в руки. От кого то?  
К кому?.. И что ж она прочла?..  
Язык лепечет странно пени...  
И вдруг упала на колени;  
Ее кручина давит, жжет,  
Гробовый холод в ней течет.

## КАРТИНА XI

Ты посмотри, тиран жестокий,  
На грусть убиты души!  
Как вянет цвет сей одинокий,  
Забывший в пасмурной глуши!  
Вглядишь, вглядишь в свое творенье:  
Ее ты счастья лишил  
И жизни радость претворил

В тоску ей, в адское мученье,  
В гнездо разоренных могил.  
О, как она тебя любила!  
С каким восторгом чувств живым  
Простые речи говорила!  
И как внимал речам ты сим!  
Как пламенен и как невинен  
Был этот блеск ее очей!  
Как часто ей, в тоске своей,  
Тот день казался скучен, длинен,  
Когда, раздумью предана,  
Тебя не видела она.  
И ты ль, и ты ль ее оставил?  
Ты ль отвернулся от всего?  
В страну чужую путь направил,  
И для кого? и для чего?  
Но посмотри, тиран жестокий:  
Она все так же, под окном,  
Сидит и ждет в тоске глубокой,  
Не промелькнет ли милый в нем.  
Уж гаснет день; сияет вечер;  
На все наброшен дивный блеск;  
Прохладный вьется в небе ветер;  
Волны чуть слышен дальний плеск,  
Уже ночь тени настигает;  
Но запад все еще сияет,  
Свирель чуть льется; а она  
Сидит недвижно у окна.

## Н О Ч Н Ы Е   В И Д Е Н И Я

Темнеет, тухнет вечер красный;  
Спит в упоении земля;  
И вот на наши уж поля  
Выходит важно месяц ясный.  
И все прозрачно, все светло;  
Сверкает море, как стекло.

В небе чудные вот тени  
Развились и свились,

И чудесно понеслись  
На небесные ступени.  
Прояснилось: две свечи;  
Двое рыцарей косматых;  
Два зубчатые мечи  
И чеканенные латы;  
Что-то ищут; стали в ряд.  
И зачем-то переходят,  
И дерутся, и блестят,  
И чего-то не находят...  
Все пропало, слилось с тьмой;  
Светит месяц над водой.

Блистательно всю рощу оглашает  
Царь соловей. Звук тихо разнесен.  
Чуть дышит ночь; земля сквозь сон  
Мечтательно певцу внимает.  
Лес не колышется; все спит,  
Лишь вдохновенна песнь звучит.

Показался дивной феи  
Слитый с воздуха дворец,  
И в окне поет певец  
Вдохновенные затеи.  
На серебряном ковре,  
Весь затканый облаками,  
Чудный дух летит в огне,  
Север, юг покрыл крылами.  
Видит: фея спит в плену  
За решеткою коральной;  
Перламутрную стену  
Рушит он слезой хрустальной.  
Обнялись... слились с тьмой...  
Светит месяц над водой.

Сквозь пар окрестность чуть сверкает.  
Какую кучу тайных дум  
Наводит моря странный шум!  
Огромный кит спиной мелькает;  
Рыбак закутался и спит;  
А море все шумит, шумит.

Вот из моря молодые  
Девы чудные плывут;  
Голубые, огневые,  
Волны белые гребут.  
Призадумавшись, колышет  
Грудь лилейную вода,  
И красавица чуть дышит...  
И роскошная нога  
Стелет брызги в два ряда...  
Улыбается, хохочет,  
Страстно манит и зовет,  
И задумчиво плывет,  
Будто хочет и не хочет,  
И задумчиво поет  
Про себя, младу сирену,  
Про коварную измену.  
А на тверди голубой  
Светит месяц над водой.

Вот в стороне глухой кладбище:  
Ограда ветхая кругом,  
Кресты, каменья... скрыто мхом  
Немых покойников жилище.  
Полет да крики только сов  
Тревожат сон пустых гробов.

Подымается протяжно  
В белом саване мертвец.  
Кости пыльные он важно  
Отирает, молодец.  
С чела давнего хлад веет,  
В глазе палевый огонь,  
И под ним великий конь,  
Необъятный, весь белеет  
И все более растет,  
Скоро небо обоймет;  
И покойники с покоем  
Страшной тянутся толпою.  
Земля колетса и — бух  
Тени разом в бездну... Уф!



И стало страшно ей; мгновенно  
Она прихлопнула окно.  
Все в сердце трепетном смятенно,  
И жар и дрожь попеременно  
По нем текут. В тоске оно.  
Внимание развлечено.  
Когда рукою беспощадной  
Судьба надвинет камень холодный  
На сердце бедное — тогда,  
Скажите, кто рассудку верен?  
Чья против зол душа тверда?  
Кто вечно тот же навсегда?  
В несчастье кто не суеверен?  
Кто крепкой не бледнел душой  
Перед ничтожною мечтой?

С боязнью, с горестию тайной  
В постель кидается она;  
Но ждет напрасно в ложе сна.  
В тьме прошумит ли что случайно,  
Скребунья-мышь ли пробежит, —  
От вежд коварный сон летит.

## КАРТИНА ХИ

Печальны древности Афин.  
Колонн, статуй ряд обветшалый  
Среди глухих стоит равнин.  
Печален след веков усталых:  
Изящный памятник разбит,  
Изломлен немощный гранит,  
Одни обломки уцелели.  
Еще доныне величав,  
Чернеет дряхлый архитрав,  
И вьется плющ по капители;  
Упал расщепленный карниз  
В давно заглохшие окопы.  
Еще блестит сей дивный фриз,  
Сии рельефные метопы;  
Еще доныне здесь грустит

Коринфский орден многолепный,—  
Рой ящериц по нем скользит,—  
На мир с презреньем он глядит;  
Все тот же он великолепный,  
Времен минувших вдавлен в тьму,  
И без вниманья ко всему.

Печальны древности Афин.  
Туманен ряд былых картин.  
Облокотясь на мрамор хладный,  
Напрасно путник алчет жадный  
В душе бывое воскресить,  
Напрасно силится развить  
Протекших дел истлевший свиток,—  
Ничтожен труд бессильных пыток;  
Везде читает смутный взор  
И разрушение и позор.  
Промеж колонн чалма мелькает,  
И мусульманин по стенам,  
По сим обломкам, камням, рвам,  
Коня свирепо напирает,  
Останки с воплем разоряет.  
Невыразимая печаль  
Мгновенно путника объемлет,  
Души он тяжкий ропот внемлет;  
Ему и горестно и жаль,  
Зачем он путь сюда направил.  
Не для истлевших ли могил  
Кров безмятежный свой оставил,  
Покой свой тихий позабыл?  
Пускай бы в мыслях обитали  
Сии воздушные мечты!  
Пускай бы сердце волновали  
Зерцалом чистой красоты!  
Но и убийственно и хладно  
Разворожились вы теперь;  
Безжалостно и беспощадно  
Пред ним захлопнули вы дверь,  
Сыны существенности жалкой,  
Дверь в тихий мир мечтаний, жаркой!—

И грустно, медленной стопой  
Руины путник покидает;  
Клянется их забыть душой,  
И все невольно помышляет  
О жертвах бренности слепой.

## КАРТИНА XVI

Ушло два года. В мирном Люненсдорфе  
По-прежнему красуется, цветет;  
Все те ж заботы, и забавы те же  
Волнуют жителей покойные сердца.  
Но не по-прежнему в семье Вильгельма:  
Пастора уж давно на свете нет.  
Окончив путь и тягостный и трудный,  
Не нашим сном он крепко опочил,  
Все жители останки провожали  
Священные с слезами на глазах;  
Его дела, поступки поминали:  
Не он ли нам спасением служил?  
Нас наделял своим духовным хлебом,  
В словах добру прекрасно поучая?  
Не он ли был утешою скорбящих,  
Сирот и вдов нетрепетным щитом?  
В день праздничный как кротко он, бывало,  
Всходил на кафедру! и с умилением  
Нам говорил про мучеников чистых,  
Про тяжкие страдания Христовы,  
А мы ему, растроганны, внимали,  
Дивилися и слезы проливали.

От Висмара когда кто держит путь,  
Встречается налево от дороги  
Ему кладбище: старые кресты  
Склонились, обшиты мхом  
И времени изведены резцом.  
Но промеж них белеет резко урна  
На черном камне, и над ней смиренно  
Два явора зеленые шумят,  
Далеко хладной обнимая тенью,

Тут бранные покоятся останки  
Пастора. Вызвались на свой же счет  
Сооружить над ним благие поселяне  
Последний знак его существования  
В сем мире. Надпись с четырех сторон  
Гласит, как жил, и сколько мирных лет  
Провел на пастве, и когда оставил  
Свой долгий путь и богу дух вручил.

И в час, когда стыдливый развивает  
Румяные восток свои власы,  
Подымется по полю свежий ветер,  
Посыплется алмазами роса,  
В своих кустах малиновка зальется,  
Полсолнца на земле, всходя, горит, —  
К нему идут младые поселянки  
С гвоздиками и розами в руках,  
Увешают душистыми цветами,  
Гирляндою зеленой обовьют —  
И снова в путь назначенный идут.  
Из них одна, молодая, остается  
И, опершись лилейною рукой,  
Над ним сидит в раздумье долго, долго,  
Как будто бы о непостижном мыслит.  
В задумчивой, скорбящей девице сей  
Кто б не узнал печальные Луизы?  
Давно в глазах веселье не блестит,  
Не кажется невинная усмешка  
В ее лице; не пробежит по нем,  
Хотя ошибкой, радостное чувство;  
Но как мила она и в грусти томной!  
О, как возвышенен невинный этот взгляд!  
Так светлый серафим тоскует  
О пагубном паденье человека,  
Мила была счастливая Луиза,  
Но как-то мне в несчастье милее.  
Осмынадцать лет тогда минуло ей,  
Когда преставился пастор разумный.  
Всей детскою она своею душой  
Богopodobного любила старца;  
И думает в душевной глубине:

«Нет, не сбылись живые упования  
Твои. Как, добрый старец, ты желал  
Нас обвенчать перед святым налоем,  
Навеки наш союз соединить.  
Как ты любил мечтательного Ганца!  
А он...»

Заглянем в хижину Вильгельма.  
Уж осень. Холодно. И дома он  
Вытачивал с искусством хитрым кружки  
Из крепкого с слоями бука,  
Затейливой резьбою украшая;  
У ног его, свернувшись, лежал  
Любимый друг, товарищ верный, Гектор,  
А вот разумная хозяйка Берта  
С утра уже заботливо хлопочет  
О всем. Толпится так же под окном  
Гусей ватага долгошейных; так же  
Неугомонные кудахчут куры;  
Чиликают нахалы воробы,  
Весь день в навозной куче роясь,  
Видали уж красавца снегиря;  
И осенью давно запахло в поле,  
И пожелтел давно зеленый лист,  
И ласточки давно уж отлетели  
За дальние, роскошные моря.  
Кричит разумная хозяйка Берта:  
«Так долго не годится быть Луизе!  
Темнеет день. Теперь не то, что летом;  
Уж сыро, мокро, и густой туман  
Так холодом всего и пронимает.  
Зачем бродить? беда мне с этой девкой;  
Не выкинет она из мыслей Ганца;  
А бог знает, он жив ли, или нет».  
Не то совсем раздумывает Фанни,  
За пальцами сидя в своем углу.  
Шестнадцать лет ей, и, полна тоски  
И тайных дум по идеальном друге,  
Рассеянно, невнятно говорит:  
«И я бы так, и я б его любила».

## КАРТИНА XVII

Унывна осени пора;  
Но день сегодняшний прекрасен:  
На небе волны серебра,  
И солнца лик блестящ и ясен.  
Один дорогой почтовой  
Бредет, с котомкой за спиной,  
Печальный путник из чужбины.  
Уныл, и томен он, и дик,  
Идет согнувшись, как старик;  
В нем Ганца нет и половины.  
Полупотухший бродит взор  
По злачным холмам, желтым нивам,  
По разноцветной цепи гор.  
Как бы в забвении счастливом,  
Его касается мечта;  
Но мысль не тем уж занята:  
Он в думы крепкие погружен;  
Ему покой теперь бы нужен.

Прошел он дальний, видно, путь;  
Страдает больно, видно, грудь;  
Душа страдает, жалко ноя;  
Ему теперь не до покоя.

О чем же думы крепки те?  
Дивится сам он суете:  
Как был измучен он судьбою;  
И зло смеется над собою,  
Что поверял своей мечтой  
Свет ненавистный, слабоумной;  
Что задивился в блеск пустой  
Своей душою неразумной;  
Что, не колеблясь, смело он  
Сим людям кинулся в объятья  
И, околдован, охмелен,  
В их злые верил предприятия.  
Как гробы, холодны они;  
Как тварь презреннейшая, низки;

Корысть и почести одни  
Им лишь и дороги и близки.  
Они позорят дивный дар:  
И попирают вдохновенье,  
И презирают откровенье;  
Их холоден притворный жар,  
И губительно их пробужденье.  
О, кто б нетрепетно проник  
В их усыпительный язык!  
Как ядовито их дыханье!  
Как ложно сердца трепетанье!  
Как их коварна голова!  
Как пустозвучны их слова!

И много истин он, печальный,  
Теперь изведal и узнал,  
Но сам счастливее ли стал  
Во глубине души опальной?  
Лучистой дальнею звездой  
Его влекла, тянула слава,  
Но ложен чад ес густой,  
Горька блестящая отравa.

Склоняется на запад день,  
Вечерняя длиннеет тень.  
И облаков блестящих, белых  
Ярчею алые края;  
На листьях темных, пожелтелых  
Сверкаст золота струя.  
И вот завидел странник бедный  
Свои родимые луга.  
И взор мгновенно вспыхнул бледный,  
Блеснула жаркая слеза.  
Рой прежних тех забав невинных  
И тех проказ, тех дум старинных —  
Все разом налегло на грудь  
И не дает ему дохнуть.  
И мыслит он: «Что это значит?..»  
И, как ребенок слабый, плачет.

## ДУМА

Благословен тот дивный миг,  
Когда в поре самопознанья,  
В поре могучих сил своих  
Тот, небом избранный, постиг  
Цель высшую существованья;  
Когда не грез пустая тень,  
Когда не славы блеск мишурный  
Его тревожат ночь и день,  
Его влекут в мир шумный, бурный;  
Но мысль, и крепка и бодра,  
Его одна объемлет, мучит  
Желаньем блага и добра;  
Его трудам великим учит.  
Для них он жизни не щадит.  
Вотще безумно чернь кричит:  
Он тверд средь сих живых обломков.  
И только слышит, как шумит  
Благословение потомков.

Когда ж коварные мечты  
Взволнуют жаждой яркой доли,  
А нет в душе железной воли,  
Нет сил стоять средь суеты,—  
Не лучше ль в тишине укромной  
По полю жизни протекать,  
Семьей довольствоваться скромной  
И шуму света не внимать?

## КАРТИНА XVIII

Выходят звезды плавным хором,  
Обозревают кротким взором  
Опочивающий весь мир;  
Блюдут сон тихий человека,  
Ниспосылают добрым мир,  
А злым — яд губительный упрека.



Зачем же, звезды, грустным вы  
Не посылаете покоя?  
Для горемычной головы  
Вы — радость, и, на вас покоя  
Свой грустный, стосковалый взор,  
Страстей он слышит разговор  
В душе, и вас он призывает,  
И вам он пени поверяет.  
По-прежнему всегда томна,  
Еще Луиза не разделась;  
Не спится ей; в мечтах она  
На ночь осенню загляделась.  
Предмет и тот же, и один...  
И вот восторг к ней в душу входит:  
Песнь стройную она заводит,  
Звучит веселый клавесин.

Внимая шуму листопада,  
Промеж деревьев, где сквозит  
Из стен решетчатых ограда,  
В забвенье сладостном, у сада,  
Наш Ганц, закутавшись, стоит.  
И что же с ним, когда он звуки  
Давно знакомые узнал —  
И голос тот, со дня разлуки  
Что долго, долго не слышал,  
И песню ту, что в страсти жаркой,  
В любви, в избытке дивных сил,  
Под строй души в напевах яркой,  
Ее, восторженный, сложил?  
Чрез сад она звенит, несется  
И в упоенье тихом льется:

Тебя зову! тебя зову!  
Твоей улыбкою чаруюсь,  
С тобой не час, не два сижу,  
С тебя очей я не свожу:  
Дивуюся не надивуюсь.

\* \* \*

Поешь ли ты — и звон речей  
Твоих, таинственный, невинный,  
Ударит в воздух ли пустынный —  
Звук в небе льется соловьиный,  
Гремит серебряный ручей.

\* \* \*

Приди ко мне, прижмись ко мне  
В жару чудесного волненья.  
Пылает сердце в тишине;  
Они горят, они в огне,  
Твои покойные движенья.

\* \* \*

Я без тебя грущу, томлюсь,  
И позабыть тебя нет силы.  
И пробуждаюсь ли, ложусь —  
Все о тебе молюсь, молюсь,  
Все о тебе, мой ангел милый.

\* \* \*

И вот почудилось ей:  
Чудесным заревом очей  
Возле нее блистает кто-то,  
И слышит вздох она кого-то,  
И страх и дрожь ее берет...  
И оглянулась...

«Ганц!..»

О, кто поймет  
Всю эту радость чудной встречи!  
И взоров пламенные речи!  
И этот чувств счастливый гнет!  
О, кто так пламенно опишет  
Сию душевную волну,  
Когда она грудь рвет и пышет,  
Терзает сердца глубину,  
А сам дрожишь, в веселье млеешь,

Ни дум, ни слов найти не смеешь;  
В восторге, в куче сладких мук  
Сольешься в стройный, светлый звук!

Опомнясь, Ганц глядит сквозь слезы  
В глаза подруги своея;  
И мыслит: «Полно, это грезы;  
Пусть же не просыпаюсь я.  
Она все та ж, и так любила,  
Меня всей детскою душой!  
Чело печалию накрыла,  
Румянец свежий иссушила,  
Губила век свой молодой;  
А я, безумный, бестолковой,  
Летел искать кручины новой!..»  
И спал страданий тяжкий сон  
С его души; живой, спокойный,  
Переродился снова он.  
На время бурей возмущен,  
Так снова блещет мир наш стройный;  
В огне закаленный булат  
Так снова ярче во сто крат.

Пируют гости, рюмки, чаши  
Кругом обходят и гремят;  
И старики болтают наши,  
И в танцах юноши кипят.  
Звучит протяжным, шумным громом  
Музыка яркая весь день;  
Ворочает веселье домом,  
Гостеприимно блещет сень.  
И поселянки молодые  
Чету влюбленную дарят:  
Несут фиалки голубые,  
Несут им розы огневые,  
Их убирают и шумят:  
«Пусть век цветут их дни младае,  
Как те фиалки полевые!  
Сердца любовью да горят,  
Как эти розы огневые!»

И в упоенье, в неге чувств  
Заране юноша трепещет, —  
И светлый взор весельем блещет;  
И беспритворно, без искусств,  
Оковы сбросив принужденья,  
Вкушает сердце наслажденья.  
И вас, коварные мечты,  
Боготворить уж он не станет, —  
Земной поклонник красоты.  
Но что ж опять его туманит?  
(Как непонятен человек!)  
Прощаясь с ними он навек, —  
Как бы по старом друге верном,  
Грустит в забвении усердном.  
Так в заключение школьник ждет,  
Когда желанный срок придет.  
Лета к концу его ученья —  
Он полон дум и упоенья,  
Мечты воздушные ведет:  
Он независимый, он вольный,  
Собой и миром всем довольный,  
Но, расставаясь с семьей  
Своих товарищей, душой  
Делил с кем шалость, труд, покой, —  
И размышляет он, и стонет,  
И с невыразною тоской  
Слезу невольную уронит.

## Э П И Л О Г

В уединении, в пустыне,  
В никем незнаемой глуши,  
В моей неведомой святыне,  
Так созидаются отныне  
Мечтанья тихие души.  
Дойдет ли звук подобно шуму,  
Взволнует ли кого-нибудь,  
Живую юноши ли думу,  
Иль девы пламенную грудь?  
Веду с невольным умилением

Я песню тихую мою  
И с неразгаданным волненьем  
Свою Германию пою.  
Страна высоких помышлений!  
Воздушных призраков страна!  
О, как тобой душа полна!  
Тебя обняв, как некий Гений,  
Великий Гете бережет,  
И чудным строем песнопений  
Свекает облако забот.

## ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ МАЛОРОССИЙСКОЙ ПОВЕСТИ «СТРАШНЫЙ КАБАН»

### I УЧИТЕЛЬ

Прибытие нового лица в благословенные места готт-  
вянские наделало более шуму, нежели пронесшиеся за  
два года пред тем слухи о прибавке рекрут, нежели вне-  
запно подымавшаяся цена на соль, вывозимую из Крыма  
украинскими степовиками. В шинке, по улицам, на  
мельнице, в винокурне только и речей было что про  
приезжего учителя. Догадливые политики в серых ко-  
бенях и свитах, пуская дым себе под нос с самым  
флегматическим видом, пытались определить влияние  
такого лица, которому судьба, казалось, при рожде-  
нии указала высоту, чуть-чуть не над головами всех  
мирян, которое живет в панских покоях и обедает за  
одним столом с обладательницею пятидесяти душ их  
селения. Поговаривали, что звания учителя для него  
мало, что, без всякого сомнения, влияние его будет  
накинуто и на хозяйственную систему; по крайней  
мере, уже верно, не от другого кого-либо будет зави-  
сеть наряднение подвод, отпуск муки, сала и проч. Не-  
которые с значительным видом давали заметить, что  
едва ли и сам приказчик не будет теперь нулем. Один

только *мирошник*<sup>1</sup>, Солопий Чубко, дерзнул утверждать, что старшинам со стороны его нечего опасаться, что готов он держать заклад об новой шапке из серых решетиловских смушков, если смыслит учитель, как остановить пятерню и поворотить застоявшийся жернов. Но важная осанка, блистательное торжество над дьячком, громоподобный бас, приведший в умиление всех прихожан, живы были во всеобщей памяти, и выгодное мнение об учителе подтверждалось. И если в честь гостя не было ни одного турнира между именитыми обитателями села, зато любезные сожительницы их не ударили себя лицом в грязь: одаренные тем звонким и пронзительным языком, который, по неисповедимым велениям судьбы, у женщин почти вчетверо быстрее поворачивается, нежели у мужчин, они гибко разворачивали его в опровержение и защиту достоинств учителя.

Трескотня и разноголосица, прерываемые взвизгиваньем и бранью, раздавались по мирным закоулкам села Мандрык. А как почтеннейшие обительницы его имели похвальную привычку помогать своему языку руками, то по улицам то и дело что находили кумушек, уцепившихся так плотно друг за друга, как подлипало цепляется за счастливца, как скряга за свой боковой карман, когда улица уходит в глушь и одинокий фонарь отливает потухающий свет свой на палевые стены уснувшего города. Более всего доставалось муженькам, пытавшимся разнимать их: очипки, черепья как град летели им на голову, и часто раздраженная кумушка, в пылу своего гнева, вместо чужого колотила собственного сожителя.

В это время педагог наш почти освоился в доме Анны Ивановны. Он принадлежал к числу тех семинаристов, *убоявшихся бездны премудрости*, которыми \*\*\*ская семинария снабжает не слишком зажиточных панков в Малороссии, рублей за сто в год, в качестве домашнего учителя. Впрочем, Иван Осипович дошел даже до богословия и залетел бы невесть куда, вероятно еще далее, если бы не шалуны его товарищи, которые

---

<sup>1</sup> Мельник. (Прим. Н. В. Гоголя.)

беспременно подсмеивались над усами и колючею его бородой. С годами, когда одни выходили совсем, а на место их поступали моложе и моложе,— ему, наконец, не давали прохода: то бросали цепким репейником в бороду и усы, то привешивали сзади побрякушки, то пудрили ему голову песком или подсыпали в табакерку его чемерки, так что Иван Осипович, наскуча быть безмолвным зрителем беспременно менявшегося ветреного поколения и детской игрушкой, принужден был бросить семинарию и определиться на *ваканцию* <sup>1</sup>.

Перемещение это сделало важную эпоху и перелом в его жизни. Беспременные насмешки и проказы шулунов заместило, наконец, какое-то почтение, какая-то особенная приязнь и расположение. Да и как было не почувствовать невольного почтения, когда он появлялся, бывало, в праздник в своем светло-синем сюртуке,— заметьте: в светло-синем сюртуке, это немаловажно. Долгом поставляю надумать читателя, что сюртук вообще (не говоря уже о синем), будь только он не из смурого сукна, производит в селах, на благословенных берегах Голтвы, удивительное влияние: где ни показывается он, там шапки с самых неповоротливых голов перелетают в руки, и солидные, вооруженные черными, седыми усами, загоревшие лица отмеривают в пояс почтительные поклоны. Всех сюртуков, полагая в то число и хламиду дьячка, считалось в селе три; но как величественная тыква гордо громоздится и заслоняет прочих поселенцев богатой *бакши* <sup>2</sup>, так и сюртук нашего приятеля затемнял прочих собратьев своих. Более всего придавали ему прелести большие костяные пуговицы, на которые толпами заглядывались уличные ребятишки. Не без удовольствия слышал наш щеголеватый наставник юношества, как матери показывали на них грудным ребятам, и малютки, протягивая ручонки, лепетали: «*Цяця, цяця!*» <sup>3</sup> За столом приятно

---

<sup>1</sup> Эти слова в украинских семинариях значат: пойти в домашние учителя. (Прим. Н. В. Гоголя.)

<sup>2</sup> Нива, засеянная арбузами, дынями, тыквами и т. п. (Прим. Н. В. Гоголя.)

<sup>3</sup> Хорошо, хорошо! (Прим. Н. В. Гоголя.)



было видеть, как чинно, с каким умилением почтенный наставник, завесившись салфеткой, отправлял всеобщий процесс житейского насыщения. Ни слова постороннего, ни движения лишнего: весь переселялся он, казалось, в свою тарелку. Опорожнив ее так, что никакие принадлежащие к гастрономии орудия, как-то: вилка и нож, ничего уже не могли захватить, отрезывал он ломтик хлеба, вздевал его на вилку и этим орудием проходил в другой раз по тарелке, после чего она выходила чистой, будто из фабрики. Но все это, можно сказать, были только наружные достоинства, выказывавшие в нем знание тонких обычаев света, и читатель даст большой промах, если заключит, что тут-то были и все способности его. Почтенный педагог имел необъятные для простолюдина сведения, из которых иные держал под секретом, как-то: составление лекарства против укушения бешеных собак, искусство окрашивать посредством одной только дубовой коры и острой водки в лучший красный цвет. Сверх того он собственноручно приготавливал лучшую ваксу и чернила, вырезывал для маленького внука Анны Ивановны фигурки из бумаги; в зимние вечера мотал мотки и даже прях.

Удивительно ли, если с такими дарованиями сделался он необходимым человеком в доме, если вся дворня была без ума от него, несмотря, что лицо его и окладом и цветом совершенно походило на бутылку, что огромный рот его, которого дерзким покушениям едва полагали преграду оттопырившиеся уши, поминутно строил гримасы, приневоливая себя выразить улыбку, и что глаза его имели цвет яркой зелени, — глаза, какими, сколько мне известно, ни один герой в летописях романов не был одарен. Но, может быть, женщины видят более нас. Кто разгадает их? Как бы то ни было, только и сама старушка, госпожа дома, была очень довольна сведениями учителя в домашнем хозяйстве, в умении делать настойку на шафране и *herba rabarbarum*, в искусном разматывании мотков и вообще в великой науке жить в свете. Ключнице более всего нравился щегольской сюртук его и умение одеваться; впрочем, и она заметила, что учитель имел удивительно умильный вид, когда изволил молчать или

кушать. Маленького внука забавляли до чрезвычайности бумажные петухи и человечки. Сам кудлатый Бровко едва только завидит, бывало, его, выходящего на крыльцо, как, ласково помахивая хвостом своим, побежит к нему навстречу и без церемонии целует его в губы, если только учитель, забыв важность, приличную своему сану, соизволит присесть под величественным фронтоном. Одни только два старшие внука и домашние мальчишки, с которыми проходил он *Аз — ангел, архангел, Буки — бог, божество, богородица*, — боялись красноречивых лоз грозного педагога.

В краткое пребывание свое Иван Осипович успел уже и сам сделать свои наблюдения и заключить в голове своей, будто на вогнутом стекле, миньютюрное отражение окружавшего его мира. Первым лицом, на котором остановилось почтительное его наблюдение, как, верно, вы догадаетесь, была сама владетельница поместья. В лице ее, тронутом резкою кистью, которою время с незапамятных времен расписывает род человеческий и которую, бог знает с каких пор, называют морщиною, в темно-кофейном ее капоте, в чепчике (покрой которого утратился в толпе событий, знаменовавших XVIII столетие), в коричневом шушуне, в башмаках без задков, глаза его узнали тот период жизни, который есть слабое повторение минувших, холодный, бесцветный перевод созданий пламенного, кипящего вечными страстями поэта, — тот период, когда воспоминание остается человеку как представитель и настоящего, и прошедшего, и будущего, когда роковые шестьдесят лет гонят холод в некогда бившие огненным ключом жилы и термометр жизни переходит за точку замерзания. Впрочем, вечные заботы и страсть хлопотать несколько одушевляли потухшую жизнь в чертах ее, а бодрость и здоровье были верною порукою еще за тридцать лет вперед. Все время от пяти часов утра до шести вечера, то есть до времени успокоения, было непрерывною цепью занятий. До семи часов утра уже она обходила все хозяйственные заведения, от кухни до погребов и кладовых, успевала побраниться с приказчиком, накормить кур и доморощенных

гусей, до которых она была охотница. До обеда, который не бывал позже двенадцати часов, завертывала в пекарню и сама даже пекла хлеба и особенного рода крендели на меду и на яйцах, которых один запах производил непостижимое волнение в педагоге, страстно привязанном ко всему, что питает душевную и телесную природу человека. Время от обеда до вечера мало ли чем заняться хозяйке? — красить шерсть, мерять полотна, солить огурцы, варить варенья, подслащивать наливки. Сколько способов, секретов, домашних средств производится в это время в действо! От наблюдательного взгляда нашего педагога не могло ускользнуть, что и Анна Ивановна не чужда была тщеславия, и потому положил он за правило рассыпаться, — разумеется, сколько позволяла природная его застенчивость, — в похвалах необыкновенному ее искусству и знанию хозяйничать; и это, как после увидел он, послужило ему в пользу: почтенная старушка до тех пор не закупоривала сладких наливок и варенья, покамест Иван Осипович, отведав, не объявлял превосходной доброты того и другого. Все прочие лица стояли в тени пред этим светилом — так, как все строения во дворе, казалось, пресмыкались пред чудным зданием с великолепным его фронтоном. Только для глаз проницательного наблюдателя заметны были их взаимные соотношения и особенный колорит, обозначававший каждого, и тогда ему открывалось, словно в муравьином рою, вечное движение, суматоха и ни на минуту не останавливавшийся шум. И педагог наш, как мы уже видели, умел угодить на вкус всех и, как могучий чародей, приковать к себе всеобщее почтение.

Непонятны только были причины, заставившие его сблизиться с кухмистером. Высокое ли уважение, которое Иван Осипович невольно чувствовал к его искусству, другое ли какое обстоятельство — мы этого не беремся решить. Довольно, что не прошло двух дней — и в Мандрыках воскресли Орест и Пилад нового мира. Но еще непонятнее была власть кухмистера над нашим педагогом, так что от природы скромный, застенчивый учитель, не бравший ничего в рот, кроме лекарственной настойки на буквицу и *herba rabarba-*

гим; невольно плелся за ним по шинкам и по всем за-коулкам, куда разгульный кухмистер наш показывал только нос свой. Ивану Осиповичу нравилось романи-ческое положение его местопребывания. Скоро осмот-рел он обступившие в неровный кружок просторный господский двор — кухню, сарай, амбары, конюшни и кладовые, с особенным удовольствием остановился на густо разросшемся саде, которого гигантские обита-тели, закутанные темно-зелеными плащами, дремали, увенчанные чудесными сновидениями, или, вдруг осво-бодясь от грез, резали ветвями, будто мельничными крыльями, мятежный воздух, и тогда по листьям ходили непонятные речи, и мерные величественные движения всего их тела напоминали древних лицедеев, вызывав-ших на поприще Мельпомены великие тени усопших. Но глаза нашего учителя искали своего предмета и лепились около не столь высокопарных жильцов сада, зато увешанных с ног до головы грушами и яблоками, которыми кипит роскошная Украина. Отсюда проди-рались они к кухне, за которою стлались плантации гороху, капусты, картофелю и вообще всех зелий, вхо-дящих в микстуру деревенской кухни. Не без особен-ного удовольствия вошел он в чистую, опрятно выбе-ленную и прибранную комнату, определенную для его помещения, с окошком, глядевшим на пруд и на лило-вую, окутанную туманом окрестность.

Мы имели уже случай заметить нечто о влиянии на-шего учителя на мандрыковских красавиц: потуплен-ные взгляды, перешептывание, низкие поклоны пока-зывали, что овладение им считала каждая из них не-маловажным делом. Впрочем, не мешает припомнить любезному читателю, что на Иване Осиповиче был си-ний фабричного сукна сюртук с черными, величиною с большой грош, костяными пуговицами; итак, ему очень было простительно перетолковать в свою пользу пере-мигиванья чернобровых проказниц. Но, к счастью или несчастью, чувство, так много известное бедному чело-вечеству, наносившее ему с незапамятных времен море нестерпимых мук, не касалось нашего педагога. В этом случае Иван Осипович был настоящий стоик и, несмо-тря на то что не дошел еще до *философии*, он твердо знал,

что ни один из философов, начиная от Сенеки, Сократа и до лектора \*\*\*ской семинарии, не ставил ни во что причудливую половину человеческого рода; ergo<sup>1</sup>, любви не существует. Такие положения, обратившиеся у него, наконец, в правила, были тверды, слишком тверды... «Номо пропонит, deus disponit»<sup>2</sup>, — говаривал часто лектор \*\*\*ской семинарии, отсчитывая удары линейкою ленивым своим слушателям; а потому и мы в следующей главе увидим небольшое обстоятельство, сильно поколебавшее философию учителя и надвинувшее облако недоразумения на ум его, доселе неуклонно шествовавший стезею своих великих наставников и бивший ровным пульсом в своей бутылкообразной сфере.

## П

### УСПЕХ ПОСОЛЬСТВА

(Кухмистер, несмотря на собственную сердечную рану, внезапно полученную им при виде мывшейся на берегу пруда Каторины, решается исполнить данное им учителю обещание и быть посланником и представителем его страсти. С таким намерением отправляется он в хату козака Харька Потылицы.)

Окончив туалет свой, Онисько не без боязни и тайного удовольствия переступил через порог. Бес как будто нарочно дразнил его (сам он после признавался в этом), поминутно рисуя перед ним стройные ножки соседки. «Эх, если бы не учитель! — повторял он несколько раз сам себе, — ну, что бы задумать ему немного позже влюбиться?..» И, в задумчивости, тихими шагами он мерял широкий выгон, по которому бежала его дорога. Разноголосный лай прорезал облекавшую его тучу задумчивости, и мысли его, как дикие утки, переполошась, разлетелись во все стороны. Подняв глаза, увидел он, что далее идти некуда. Перед ним торчали ворота, сквозь которые, как сквозь транспарант, светилось все недвижимое имущество козака. Мелькнула синяя запаска, огненная лента... Сердце в нем

---

<sup>1</sup> Следовательно (лат.).

<sup>2</sup> Человек предполагает, бог располагает (лат.).

вспрыгнуло... и белокурая красавица, разгоняя хворостиной докучных собак, встретила его, отворяя ворота.

Двор Харька представлял собой большой, на покато-сти к пруду, квадрат, обнесенный со всех сторон плетнем. Когда ворота были отперты, глаза ударялись прямо в чисто выбеленную хату с большими, неровной величины, окнами, с почерневшею от старости дубовою дверью, с низеньким из глины фундаментом (*прись-бою*), обремененным, по обыкновению малороссиян, бельем, мисками и каким-нибудь инвалидом-горшком, которому, несмотря на раны и увечье, не дают отставки и, в награду за ревностную службу, наливают помоями. По сторонам избы стояли с растрепанными крышами хлевы и амбары. Из-за хаты возвышалось гумно; из-за гумна еще выше подымалась голубятня, сверх которой уже ходили только одни облака и плавали голуби. К пруду, как богатая турецкая шаль, развернулся огород козака. Кучи соломы разнесены были по всему двору.

Катерина показалась немного удивленною приходом Ониська. Полагая, что его, без всякого сомнения, завлекла нужда к ее отцу, отворила вполовину только ворота и проговорила с некоторою застенчивостью:

— *Батька* нет дома, да вряд ли и к вечеру будет.

— *Нехай ему так легенько икнеться, як з тыну свирветься!* Чтобы я был за олух царя небесного, когда бы стал убирать постную кашу, когда перед самым носом вареники в сметане?

Белокурая красавица остановилась в недоумении, не зная, как понимать слова его. Улыбка, вызванная наружу этою странностью, показалась на лице ее и ожидала, казалось, изъяснения.

Кухмистер почувствовал сам, что выразился не совсем ясно и притом помянул отца ее немного шероховатыми словами; он продолжал:

— Нелегкая понесла бы меня к *батьке*, когда есть такая хорошенькая дочка.

— А, вот что! — проговорила Катерина, усмехнувшись и покраснев. — Милости просим! — и пошла вперед его к дверям хаты.

Девушки в Малороссии имеют гораздо более свободы, нежели где-либо, и потому не должно показаться удивительным, что красавица наша без ведома отца принимала у себя гостя.

— Ты пешком сюда пришел, Онисько? — спросила она его, садясь на *присьбе* у дверей хаты и стараясь принять степенный вид, хотя лукавая улыбка явно изменяла ей и заставляла против воли показать ряд красивых зубов.

— Как пешком? — «Что за нелегкая, неужели она знает про вчерашнее?» — подумал кухмистер. — Без всякого сомнения, пешком, моя красавица. Черт ли бы заставил меня запрягать нарочно панского *гнедого*, чтобы только перетащиться из одного двора в другой.

— Однако ж от кухни до *коморы* не так-то далеко.

Тут, не удержавшись более, она захохотала.

«Нет, плутовка! сам лукавый не хитрее этой девки!» — повторил сам себе несколько раз кухмистер и громогласно послал учителя к черту, позабыв и приятнь и дружбу их.

— Однако ж, моя красавица, я бы согласился, чтобы у меня пригорели на сковороде караси с свежепросольными *опенками*, лишь бы только ты еще раз этак засмеялась.

Сказав это, кухмистер не утерпел, чтоб не обнять ее.

— Вот этого-то я уж и не люблю! — вскрикнула, покраснев, Катерина и приняв на себя сердитый вид. — Ей-богу, Онисько, если ты в другой раз это сделаешь, то я прямехонько пушу тебе в голову вот этот горшок.

При сем слове сердитое личико немного прояснело, и улыбка, мгновенно проскользнувшая по нем, выговорила ясно: «Я не в состоянии буду этого сделать».

— Полно же, полно! *не возом зацепил тебя*. Есть из чего сердиться! как будто бог знает какая беда — обнять красную девушку.

— Смотри, Онисько: я не сержусь, — сказала она, садясь немного от него подалее и приняв снова веселый вид. — Да что ты, слышалось мне, упомянул про учителя?

Тут лицо кухмистра сделало самую жалкую мину и по крайней мере на вершок вытянулось длиннее обыкновенного.

— Учитель... Иван Осипович то есть... Тыфу, дьявольщина! у меня, как будто после запеканки, слова глотаются прежде, нежели успевают выскочить изо рта. Учитель... вот что я тебе скажу, *сердце!* Иван Осипович *вклепался*<sup>1</sup> в тебя так, что... ну, словом — рассказать нельзя. Кручинится да горюет, как покойная бурая, которую *пани* купила у жида и которая околела после *запала*. Что делать? сжалился над бедным человеком: пришел наудачу похлопотать за него.

— Хорошую же ты выбрал себе должность! — прервала Катерина с некоторою досадой. — Разве ты ему сват или *родич* какой? Я советовала бы тебе еще набрать из всего околотка бродяг к себе в кухню, а самому отправиться по миру выпрашивать под окнами для них милостыни.

— Да это все так; однако ж я знаю, что тебе любо, и слишком любо, что вздумалось учителю приволочнуться...

— Мне любо? Слушай, Онисько, если ты говоришь с тем, чтобы посмеяться надо мною, то с этого мало тебе прибудет. Стыдно тебе же, что ты обносишь бедную девушку. Если же вправду так думаешь, то ты, верно, уже наиглупейший из всего села. Слава богу, я еще не ослепла; слава богу, я еще при своем уме... Но ты не сдуру это сказал: я знаю, тебя другое что-то заставило. Ты, верно, думал... Нет, ты недобрый человек!

Сказав это, она отерла шитым рукавом своей сорочки слезу, мгновенно блеснувшую и прокатившуюся по жарко зардевшейся щеке, будто падающая звезда по теплому вечернему небу.

«Черт побери всех на свете учителей!» — думал про себя Онисько, глядя на зардевшееся личико Катерины, на котором по-прежнему показавшаяся улыбка долго спорила с неприятным чувством и, наконец, рассеяла его.

---

<sup>1</sup> То есть влюбился. (Прим. Н. В. Гоголя.)



— Убей меня гром на этом самом месте, — вскричал он, наконец, не могши преодолеть внутреннего волнения и обхватывая одной рукою кругленький стан ее, — если я не так же рад тому, что ты не любишь Ивана Осиповича, как старый Бровко, когда я вынесу ему помой.

— Нашел чему радоваться! поэтому ты станешь еще более скалить зубы, когда услышишь, что почти все девушки нашего села говорят то же.

— Нет, Катерина, этого не говори. Девушки-то любят его. Намедни шли мы с ним через село, так то и дело что выглядывают из-за плетня, словно лягушки из болота. Глянь направо — так и пропала, а с левой стороны выглядывает другая. Только дьявол поberi их вместе с учителем! Я бы отдал штоф лучшей третьс-пробной водки, чтоб узнать от тебя, Катерина, любишь ли ты меня хоть на копейку?

— Не знаю, люблю ли я тебя; знаю только, что ни за что бы на свете не вышла за пьяницу. Кому любить с ним? Несчастливая доля семье той, где выберется такой человек; в хату и не заглядывай: нищенство да голь; голодные дети плачут... Нет, нет, нет! Пусть бог милует! Дрожь обдаёт меня при одной мысли об этом...

Тут прекрасная Катерина пристально взглянула на него. Как осужденный, с поникнутою головою, погрузился кухмистер в свое протекшее. Тяжелые думы, порождения тайного угрызения сердечного, вырезывались на лице его и показывали ясно, что на душе у него не слишком было радостно. Пронзительный взор Катерины, казалось, прожигал его внутренность и подымал наружу все разгульные поступки, проходившие перед ним длинною, почти бесконечною цепью.

«В самом деле, на что я похож? кому угодно житье мое? только что досаждаю *пании*. Что я сделал до сих пор такого, за что бы сказал мне спасибо добрый человек? Все гулял да гулял. Да гулял ли когда-нибудь так, чтобы и на душе и на сердце было весело? Напьюсь, как собака, да и протрезвишься тоже, как собака, если не протрезвят тебя еще хуже. Нет! прах возьми... **собачья моя жизнь!**»

Прелестная Катерина, казалось, угадывала его философские рассуждения с самим собою и потому, положив на плечо ему смугленькую руку свою, прошептала вполголоса:

— Не правда ли, Онисько, ты не станешь более пить?

— Не стану, мое *серденько!* не стану; пусть ему всякая всячина! Все для тебя готов сделать.

Девушка посмотрела на него умильно, и восхищенный кухмистер бросился обнимать ее, осыпая градом поцелуев, какими давно не оглашался мирный и спокойный огород Харька.

Едва только влюбленные поцелуи успели раздаться, как звонкий и пронзительный голос страшнее грома поразил слух разнежившихся. Подняв глаза, кухмистер с ужасом увидел стоявшую на плетне Симониху.

— Славно! славно! Ай да ребята! У нас по селу еще и не знают, как парни целуются с девками, когда батька нет дома! Славно! Ай да мандрыковская овечка! Говорите же теперь, что лжет поговорка: в тихом омуте черти водятся. Так вот что делается! так вот какие пашни!..

Со слезами на глазах принуждена была красавица уйти в хату, зная, что ничем иным нельзя было избавиться от ядовитых речей содержательницы шинка.

— Типун бы тебе под язык, старая ведьма! — проговорил кухмистер, — тебе какое дело?

— Мне какое дело? — продолжала неутомимая шинкарька, — вот прекрасно! Парни изволят лазить через плетни в чужие огороды, девки подманивают к себе молодцов — и мне нет дела! Изволят *женихаться*, целуются — и мне нет дела! Ты слышал ли, Карпо? — вскричала она, быстро оборотясь к мимо проходившему мужику, который, не обращая ни на что внимания, шел, помахивая батоном, впереди так же медленно выступавшей коровы. — Слышал ли ты? постой на минуточку. Тут такая история. Харькова дочка...

— Тьфу, дьявол! — вскричал кухмистер, плюнув в сторону и потеряв последнее терпение. — Сам сатана перерядился в эту бабу. Постой, яга! разве не найду уже, чем отплатить тебе.

Тут кухмистер наш занес ногу на плетень и в одно мгновение очутился в панском саду.

Было уже не рано, когда он пришел на кухню и принялся стряпать ужин. Евдоха, однако ж, не могла не заметить во всем необыкновенной его рассеянности. Часто задумчивый кухмистер подливал уксусу в сметанную кашу или с важным видом надвигал свою шапку на вертел и хотел жарить ее вместо курицы. За ужином Анна Ивановна никак не могла понять, отчего каша была кисла до невероятности, а соус так пересолен, что не было никакой возможности взять в рот. Единственно только из уважения к понесенным им в тот день трудам оставили его в покое: в другое время это не прошло бы даром нашему герою.

— Нет, господин учитель! — твердил он, лежа на свою деревянную лавку и подмащивая под голову свою куртку, — не видать вам Катерины, как ушей своих! — И, завернув голову, как доморощенный гусь, погрузился в мечты, а с ними и в сон.

## ГЕТЬМАН

### ⟨I⟩ ⟨НЕСКОЛЬКО ГЛАВ ИЗ НЕОКОНЧЕННОЙ ПОВЕСТИ⟩

#### ⟨ГЛАВА I⟩

Был апрель 1645 года — время, когда природа в Малороссии похожа на первый день своего творения; самая нежная зелень убирала очнувшиеся деревья и степи. Этот день был перед самым воскресеньем Христовым. Он уже прошел, потому что молодая ночь давно уже обнимала землю, а чистый девственный воздух, разносивший дыхание весны, веял сильнее. Сквозь жидкую сеть вишневых листьев мелькали в огне окна деревянной церкви села Комишны. Старая, истерзанная временем, покрытая мхом церковь будто обновилась; вокруг нее, как рой пчел, толпились козаки из ближних и дальних хуторов, из которых едва десятая часть поместилась в церкви. Было душно, но что-то говорило светлым торжеством. Автор просит читателей вообразить себе эту картину XVII столетия. Мужественные, худощавые, с резкими чертами лица и бритые головы, опустившиеся вниз усы, падавшие на грудь, широкие плечи, атлетическая сила, при каждом почти заткнутый за пояс пистолет и сабля показывали уже, в какую эпоху собрались козаки. Странно было глядеть на это море голов, почти не волновавшееся. Благоговейное

чувство обнимало зрителя. Все здесь собравшееся было характер и воля; но и то и другое было тихо и безмолвно. Свет паникадила, отбрасываясь на всех, придавал еще сильнее выражение лицам. Это была картина великого художника, вся полная движения, жизни, действия и между тем неподвижная. Почти незаметно прибавилось одно новое лицо к молящимся. Оно возвышалось над другими почти целою головою; какой-то крепкий, смелый оклад, какая-то легкая беспечность выказывалась на нем. Оно было спокойно и вместе так живо, что, взглянувши, ожидал бы непременно услышать от него слово, чтобы увидеть его изменившимся, как будто бы оно непременно должно было все заговорить конвульсиями. Но между тем как все мало-помалу начали обращаться на него, вся масса двинулась из храма, для торжественного хода вокруг церкви, и замечательная физиономия смешалась с другими, выходя по церковной лестнице. У самого крыльца стояли несколько жидов, содержавшие, по воле польского правительства, откуп, и спорили между собою, намечая мелом пасхи, приносимые для освящения христианами. Нужно было видеть, как на лице каждого выходившего дрогнули скулы. Это постановление правительства было уже давно объявлено; народ с ропотом, но покорился силе. Оппозиционисты были ниспровержены. К этому, кажется, все уже привыкли, зная, что это так; но, несмотря на это, при виде этого постановления, приводимого в исполнение, он так изумился, как будто бы это была новость. Так преступник, знающий о своем осуждении на смерть, еще движется, еще думает о своих делах; но прочитанный приговор разом разрушает в нем жизнь. После перемены в лице рука каждого невольно опустилась к кинжалу или к пистолетам. Но ход окончился; все спокойно вошли в церковь при пении «Христос воскрес из мертвых!». Между тем совершенно наступило утро. Выстрелы из пистолетов и мушкетов потрясали деревянные стены церкви. На всех лицах просияла радость: у одних при мысли о пасхе, у девушек при целованье с козаками, <у тех> при попойке, как вдруг страшный шум извне заставил многих выйти. Перед разрушившеюся церковью собрались

в кучу, из которой раздавались брань и крик жидов. Три жида отбирали у дряхлого, поседевшего как лунь козака пасху, яйца и барана, утверждая, что он не вносил за них денег. За старика вступилось двое, стоявших около него; к ним пристали еще, и, наконец, целая толпа готовилась задавить жидов, если бы тот же самый широкоплечий, высокого росту, чья физиономия так поразила находившихся в церкви, не остановил одним своим мощным взглядом. «Чего вы, хлопцы, сдуру беснуетесь! У вас, видно, нет ни на волос божьего страха. Люди стоят в церкви и молятся, а вы тут черт знает что делаете. Гайда по местам!» Послушно все, как овцы, разбрелись по своим местам, рассуждая, что это за чудо такое, откуда оно взялось, и с какой стати ввязывается он, куда его не просят, и отчего он хочет, чтобы слушались. Но это каждый только думал, а не сказал вслух. Взгляд и голос незнакомца как будто имели волшебство: так были повелительны. Один жид стоял только, не отходя, и, как скоро оправился от первого страха незваною помощью, начал было снова приступать, как тот же самый и схватил его могучею рукою за ворот так, что бедный потомок Израилев съежился и присел на колени. «Ты чего хочешь, свиное ухо? Так тебе еще мало, что душа осталась в галанцах? Ступай же, тебе говорю, поганая жидовина, пока не оборвал тебе пейсики». После того толкнул он его, и жид расстлся на земле, как лягушка. Приподнявшись же немного, пустился бежать; спустя несколько времени возвратился с начальником польских улан. Это был довольно рослый поляк с глупо-дерзкою физиономиею, которая всегда почти отличает полицейских служителей. «Что это? Как это?.. Гунство, терем-те-те? Зачем драка, холопство проклятое? Лысый бес в кашу с смальцем! Разве? Что вы? Что тут, драка? Порвал бы вас собака!..» Блюститель порядка не знал бы, куда обратиться и на кого излить поток своих наставлений, приправляемых бранью, если бы жид не подвел его к старику козаку, которого волосы, вздуваемые ветром, как снежный иней серебрились. «Что ты, глупый холоп, вздумал? Что ты начал драку? Басе мазенята, гунство! Знаешь ты, что жид? Гунство

проклятое!.. Знаешь, что борода поповская не стоит подошвы?.. Черт бы тебя схватил в бане за пуп!.. У него еломец краше, чем ваша *холопска вяра*...» Тут он схватил за волосы старца и выдернул клочок серебряных волос его...

Глухое стенание испустил старый козак.

— Бей еще! Сам я виноват, что дожил до таких лет, что и счет уже им потерял. Сто лет, а может и больше, тому назад, меня драли за чуб, когда я был хлопцем у батька. Теперь опять бьют. Видно, снова воротились лета мои... Только нет, не то, не в силах теперь и руки поднять. Бей же меня!..

При сих словах двадцатилетний старец наклонил свою белую голову на руки, сложенные крестом на палке, и, подпершись ею, долго стоял в живописном положении. В словах старца было невероятно трогательное. Заметно было, что многие хватились рукою за сабли и пистолеты, но вид стольких усатых уланов на лошадях и несколько слов, сказанных незнакомцем, заставили всех принять положение молельщиков и креститься.

— Что ты врешь, глупый мужик, терем-те-те! Что<бы> я на тебе руки поганил, гунство проклятое! Лысый бес рогатый тебе в кашу! Гершко! возьми от него пасху! Пусть его одним овсяным сухарем разговееется. Вишь, гунство проклятое! — говорил блюститель правосудия, подвигаясь к ряду девичьему и ущипнув одну из них за руку. — Что за драка? Ох, славная девка! Вишь, драку!.. Ай да Параска! Ай да Пидорка! Вишь, глупый мужик... порвал бы его собака!.. Ай, ай, ай! Сколько тут жиру!..

Блюститель порядка, верно, себе позволил нескромность, потому что одна из девушек вскрикнула во все горло. В это время пасхи были освящены и обедня кончилась, и многие уже стали расходиться. Несколько только народу обступило козака, так заинтересовавшего толпу, который между тем подходил к исправлявшему звание алгизила.

— Славный у тебя ус, пан! — проговорил он, подступив к нему близко.

— Хороший! У тебя, холопа, не будет такого, — произнес он, расправляя его рукою.

— Славный! Только не туда ты, пан, крутишь его. Вот куда нужно крутить! — Мощный козак дернул сильную рукою так, что половина уса осталась у него.

Старый волокита закричал и заревел от боли. Лицо его сделалось цвета вареной свеклы.

— Рубите его, рубите, лайдака! — кричал он, но почувствовал себя в руках высокого козака и, увидя насмешливые лица всех, стал искать глазами своих воинов. Малеванный шут струсил...

— Как же тебе, пан, не совестно бить такого старика! А если бы твоего старого отца кто-нибудь стал бесчестить так поносно при всех, как ты обесчестил старейшего из всех нас? что тогда? Весело тебе было бы терпеть это? Ступай, пан! Если бы ты не у короля в службе был, я бы тебя не выпустил живого.

Выпущенный пленник побежал, отряхиваясь. За ним следом повалил народ. Между тем козак <2 нрзб>, отвязавши коня, привязанного к церковной ограде, готовился сесть, как был остановлен среднего роста воином, поседевшим человеком, который долго не отводил от него внимания и заглядывал ему в глаза с таким любопытством, как иногда собака, когда видит ядущего хлеб.

— Добродию! ведь я вас знаю.

— Может быть, и правда.

— Ей-богу, знаю. Не скажу, таки точно знаю. Ей-богу, знаю! Чи вы Острица, чи вы Омельченко?

— Может, и он.

— Ну, так! Я стою в церкви и говорю: вот то, что стоит возле его, то Острица. Ее-ей, Острица. Да, может быть, и нет. Может быть, и не Острица. Нет, Острица. Ей, тебе так показалось! Ну, как нет? Острица да и Острица. Как только послушал голос, ну, тогда и рукою махнул. Вот так точнехонько покойный батюшка — пусть ему легко икнется на том свете! — так же разумно, бывало, каждое слово отметит.

Острица внимательно начал в него всматриваться и нашел точно что-то знакомое. Небольшое продолговатое лицо его было уже прорыто морщинами. Нос, за-



гнувшись вниз, придавал ему несколько горбатое сложение и неподвижность членам; но зато узенькие серые глаза продирались довольно увертливо сквозь чашу насунувшихся бровей, которые, верно, придали бы лицу суровый вид, если бы нижняя часть лица, что-то простодушное и веселое в губах не давали ему противного выражения. Под кобеньком, надетым в рукава, виден был овчинный кожух, хотя воздух был довольно тепел и день был жарок.

— Я верю и не верю, что вижу опять вас. А что, добродию, — не во гнев будь сказано, — прошу извинить, только хотел бы узнать, что сделалось с теми, которые пошли с вами? Что Дигтяй, Кузубия? Воротились ли они с вами, или там остались, или ворон, может, где-нибудь доедает козацки косточки?

— Дигтяй твой сидит на колу у турецкого султана, а Кузубия гуляет с рыбами на дне Сиваша и тянет гнилую воду вместо горелки... Но... ну, после об этом поговорим. Я тебя тоже узнал. Здравствуй, старый Пудько! Христос воскрес!

— Воистину воскрес! — говорил, целуясь, Пудько. — Как на то, и крашанки нет. Жинка давала, боялся взять: народу такое множество... передавил бы на кисель. Так, добродию, как будто сердце знало...

— Ты, ты по-прежнему торгуешь всякою дрянью?

— А что ж делать? Нужно торговать. Еще слава богу, что продал табак. Прошлого году отец с полвоза накупил кремней, дрови, пороху, серы, ну и всего, что до мизерии относится. Напросился на дороге жидок один. «Свези, человеце, на Хыякивску ярмарку, — дам три рубля!» Свез его, как доброго, — и надул проклятый жидок, ей-богу надул! Хоть бы четвертку горелки дал, гаспид лысый. Знаете, что у меня чуть было ляхи не отняли всего скота? Кобылу взяли под верх вербуна. Теперь у меня только и конины, что Гнедко, — примолвил он, садясь на гнедого коня и видя, что Острианица поворотил коня ехать. — Эх, добродию! Если бы теперь кто сказал: «А ну, старый, гайда на войну бить ляхов!» — все бы продал, и жинку и детей бы покинул, пошел бы в компанейство. — При этом Пудько выпрямился и поскакал за Острианицею, который пришпорил

сильнее коня своего. — Скажите, добродию, пане сотнику, — говорил он, поравнявшись с ним, — может, вы теперь уже и не сотник, в другой роте какой значитесь? Скажите, до какой это поры дожили, что уже и храмы божии взяло на откуп жидовство? Как же это, добродию, не обидно? Каково было снести всякому христианину, что горелка находится у врагов христианства? А теперь и храмы божии! Тут, добродию, нужно нам взять вправо, ибо мимо валу нет уже проезду. Да, и забыл, что он при вас был подкопан. Говорят, как свечка полетел под самое небо. Боже ты мой! сколько народу перемерло! Так и Дигтяй, вы говорите, теперь сидит на колу? И Кузубия потонул! А какой важный, какой сильный народ был! Сколько, подумаешь, пропадает козачества! Вы слышите, как постукивают хлопцы из мушкетов, что земля дрожит? Мы сейчас будем ехать мимо площади, где веселится народ. Если вы в хутор свой едете, добродию, то и я с вами. Лучше там разговееюсь святою пасхою, чем дома с бабами. Пусть жинка и дочка остаются сами. Верно, добродию, что произошло меж народом, потому что все столпились в кучу и бросили всякое гулянье.

В самом деле, на открывшейся в это время из-за хат площади народ сросся в одну кучу. Качели, стрельба и игры были оставлены. Острианица, взглянуввши, тотчас увидел причину: на шесте был повешен вверх ногами жид, тот самый, которого он освободил из рук разгневанного народа. На ту же самую виселицу тащили храбреца с оборванным усом. Острианица ужаснулся, увидев это.

— Нужно поспешить, — говорил он, прищпорив коня. — Народ не знает сам, что делает. Дурни! Это на их же головы рушится. Стойте, козаки, рыцарство и посполитый народ! Разве этак по-козацки делается? — произнес он, возвыся голос.

— Что смотреть его! — слышался говор между молодежью. — В другой раз хочет у нас вытащить из рук.

— Послушайте, у кого есть свой разум.

— Он правду говорит, — говорило несколько умеренных.

— Молоды вы еще; я вам расскажу, как делают по-козацки. Когда один да выйдет против трех — то бравый козак; против десяти — еще лучше; один против одного — не штука; когда ж три на одного нападут — то все не козаки. Бабы они тогда, то, что... плюнуть хочется; для святого праздника не скажу срамного слова. Как же хотите теперь, братцы, напасть гурьбою на беззащитного, как будто на какую крепость страшную? Спрашиваю вас, братцы, — продолжал Остраница, заметив внимание, — как назвать тех?..

— А чем назвать его? — заговорили многие вполголоса. — Что ж есть хуже бабы или того, что он постыдился сказать? мы не знаем.

— Э, не к тому речь, паноче, своротил, — произнесло в голос несколько парубков. — Что ж? Разве мы должны позволить, чтоб всякая падаль топтала нас ногами?

— Глупы вы еще: невелик, видно, ус у вас, — продолжал Остраница. При этом многие ухватились за усы и стали покручивать их, как бы в опровержение сказанного им. — Слушайте, я расскажу вам одну сказку. Один школяр учился у одного дьяка. Тому школяру не далось слово божье. Верно, он был придурковат, а может быть, и лень тому мешала. Дьяк его поколотил дубинкою раз, а после в другой, а там и в третий. «Крепко бьется проклятая дубина», — сказал школяр, принес секиру и изрубил ее в куски. «Постой же ты!» — сказал дьяк, да и вырубил дубину толщиною в оглоблю и так погладил ему бока, что и теперь еще болят. Кто ж тут виноват: дубина разве?

— Нет, нет, — кричала толпа, — тут виноват, виноват король!..

Радуюсь, что наконец удалось успокоить народ и спасти шляхтича, Остраница выехал из местечка и прищпорил коня сильнее и услышал, что его нагоняет Пудько. Как-то тягостно ему было видеть возле себя другого. Множество скопившихся чувств нудило его к раздумью. Свежий, тихий весенний воздух и притом нежно одевающиеся деревья как-то расположили в такое состояние, когда всякий товарищ бывает скучен в глазах вечно упоительной природы. И потому Остра-

ница выдумал предлог отослать вперед Пудька в хутор и ожидать его там, а сам, сказав, что ему еще нужно заехать к одному пану, поворотил с дороги.

Этим распоряжением Пудько, кажется, не был недоволен, или, может, только принял на себя такой вид, потому что чрез это нимало не изменял любимой привычке своей говорить. Вся разница, что вместо Острицы он все это пересказывал своему Гнедку... «О, это разумная голова! Ты еще не знаешь его, Гнедко! Он тогда еще, когда было поднялось все наше рыцарство на ляхов, он славную им дал перепойку. Дали б и они ему перцу, когда бы не улизнул на Запорожье. А правда, неважно жид болтается на виселице? А пана напрасно было затянули веревкою за шею. Правда, у него недостает одной клепки в голове; ну, да что ж делать? Он от короля поставлен. Может, ты еще спросишь, за что ж жидка повесили? ведь и он от короля поставлен? Гм!.. ведь ты дурак, Гнедко! Он зато враг Христов, нашего бога святого.— Тут он ударил хлыстом своего скромного слушателя: убаюкиваемый его рассказами, <конь> развесил уши и начал ступать уже шагом.— Оно не так далеко и хутор, а все лучше раньше поспеть. Уже давно пора, хочется разговеться святою пасхою. Говори, мол: мне не пасхи, мне овса подавай. Потерпи немножко: у пана славный овес, и пшеницы дам вволю, а <меня> сивухою попотчуют. Я давно хотел у тебя спросить, Гнедко, что лучше для тебя, пшеница или овес? Молчишь? Ну, и будешь же век молчать, потому что бог повелел <говорить> только человеку да еще одной маленькой пташке...»

При этом он опять хлеснул Гнедка, заметив, что он заслушался и стал выступать, по-прежнему... Но, вместо того чтобы слушать рассуждения наших путешественников на седле и под седлом, обратимся к Острице, давно скакавшему по проселочной дороге.

## ГЛАВА 2

Как только рыцарь потерял из виду своего сотоварища, тотчас остановил рысь коня своего и поехал шагом. Солнце показывало полдень. День был ясный,

как душа младенца. Изредка два или три небольших облака, повиснув, еще более увеличивали собою яркость небесной лазури. Лучи солнечные были осязательно живительны; ветру не было, но щеки чувствовали как-то тонкое влияние свежести. Птицы чиликали и перепархивали по недавно разрытым нивам, на которых стройно, как будто лес житных игол, восходил молодой посев. Дорога входила в рытвины и была с обеих сторон сжата крутыми глинистыми стенами. Без сомнения, очень давно была прорыта эта дорога в горе, потому что по обеим сторонам обрыва поросла орешником, на самой же горе подымались по обеим сторонам высокие, как стрела, осокори. Иногда перемеживала их лоза, вся в отпрысках, иногда дуб толстый, которому сто лет, и, весь убранный повиликой, плющом, величаво расширял свою <верхушку?> над ними и казался еще выше от обросшего кустами подмостка. Местами дикая яблоня протягивалась искривленными своими кудрявыми ветвями на противоположную сторону и образовала над головою свод, и сыпала на голову путешественника серебро-розовые цветы свои, между тем как из деревьев часто выглядывал обрыв, весь в цветах и самых нежных первенцах весны. В другом месте деревья так тесно и часто перемешивались между собою, что образовали, несмотря на молодость листьев, совершенный мрак, на котором резко зеленели обхваченные лучами солнца молодые ветви. Здесь было изумительное разнообразие: листья осины трепетали под самым небом; клен простирал свои листья, похожие на зеленые лапки, узколистственный ясень рябил еще более, а терновник и дикий глод, оградивши их колючею стеною, скрывал пышные стволы и сучья, и только очень редко северная береза высывала из <чащи?> часть своего ослепительного, как рука красавицы, ствола. Уже дорога становилась шире, и, наконец, открылась равнина, раздольная, ограниченная, как рамами, синеватыми вдали горами и лесами, сквозь которые искрами серебра блескала прерванная нить реки, и под нею стлались хутора. Здесь путешественник наш остановился, встал с коня и, как будто в усталости или в желании собраться с мыслями, стал поваживать по лбу. Долго стоял он в та-

ком положении; наконец, как бы решившись на что, сел на коня и, уже не останавливаясь более, поехал в ту сторону, где на косогоре синели сады и, по мере приближения, становились белее разбросанные хаты. Посреди хутора, над прудом, находилась, вся закрытая вишневыми и сливными деревьями, светлица. Очеретяная ее крыша, местами поросшая зеленью, на которой ярко отливалась желтая свежая заплата, с белою трубою, покрытою китайскою черною крышею, была очень хороша. В ту минуту солнце стало кидать лучи уже вечерние, и тогда нежный серебро-розовый колер цветущих дерев становился пурпурным. Путешественник слез с коня и, держа его за повод, пошел пешком через плотину, стараясь идти как можно тише. Полощущиеся утки покрывали пруд; через плотину девочка лет семи гнала гусей.

— Дома пан?— спросил путешественник.

— Дома,— отвечала девочка, разинув рот и став совершенно в машинальное положение.

— А пани?

— И пани дома.

— А панночка? — Это слово произнес путешественник как-то тише и с каким-то страхом.

— И панночка дома.

— Умная девочка! Я дам тебе пряник. А как сделаешь то, что я скажу, дам другой, еще и злотый.

— Дай! — говорила простодушно девочка, протягивая руку.

— Дам, только пойди наперед к панночке и скажи, чтоб она на минуту вышла; скажи, что одна баба старая дожидается ее. Слышишь? Ну, скажешь ли ты так?

— Скажу.

— Как же ты скажешь ей?

— Не знаю.

Рыцарь засмеялся и повторил ей снова те самые слова; и, наконец, уверившись, что она совершенно поняла, отпустил ее вперед, а сам, в ожидании, сел под вербою.

Не прошло несколько минут, как мелькнула между деревьев белая сорочка, и девушка лет осьмнадцати стала спускаться к гребле. Шелковая плахта и кашемировая запаска туго обхватывали стан ее, так что формы

ее были как будто отлиты. Стройная роскошь совершенно нежных <членов> не была скрыта. Широкие рукава, шитые красным шелком и все в мережках, спускались с плеча, и обнаженное плечо, слегка зарумянившееся, выказывалось мило, как спелое яблоко, тогда как на груди под сорочкою упруго трепстали молодые перси. Сходя на плотину, она подняла дотоле опущенную голову, и черные очи и брови мелькнули, как молния. Это не была совершенно правильная голова, правильное лицо, совершенно приближавшееся к греческому: ничего в ней не было законно, прекрасно-правильно; ни одна черта лица, ничто не соответствовало с положенными правилами красоты. Но в этом своемнравном, несколько смугловатом лице что-то было такое, что вдруг поражало. Всякий взгляд ее полонил сердце, душа занималась, и дыхание отрывисто становилось.

— Откудова ты, человек добрый? — спросила она, увидев козака.

— А из Запорожья, панночка; зашел сюда по просьбе одного пана, коли милости вашей известно, — Остраницы.

Девушка вспыхнула.

— А ты видел его?

— Видел. Слушай...

— Нет, говори по правде! Еще раз: видел?

— Видел.

— Забожись!

— Ей-богу!

— Ну, теперь я верю, — повторила она, немного успокоившись. — Где ж ты его видел? Что, он не позабыл меня?

— Тебя позабыть, моя Ганночка, мое серденько, дорогой ты кристалл мой, голубочко моя! Разве хочется мне быть растоптану татарским конем?..

Тут он схватил ее за руки и посадил подле себя. Удивление девушки так было велико, что она краснела и бледнела, не произнося ни одного слова.

— Как ты сюда прилетел? — говорила она шепотом. — Тебя поймают. Еще никто не позабыл про тебя. Ляхи еще не вышли из Украйны.

— Не бойся, моя голубочка, я не один, не поймают. Со мною соберется кой-кто из наших. Слушай, Галю: любишь ли ты меня?

— Люблю,— отвечала она и склонила к нему на грудь разгоревшееся лицо.

— Когда любишь, слушай же, что я скажу тебе: убежим отсюда! Мы поедем в Польшу к королю. Он, верно, даст мне землю. Не то поедем хоть в Галицию или хоть к султану, и он даст мне землю. Мы с тобою не разлучимся тогда и заживем так же хорошо, еще лучше, чем тут, на хуторах наших. Золота у меня много, ходить есть в чем,— сукон, епанечек, чего захочешь только.

— Нет, нет, козак,— говорила она, кивая головою с грустным выражением в лице.— Не пойду с тобою. Пусть у тебя и золото, и сукна, и едамашки. Хотя я тебя больше люблю, чем все сокровища, но не пойду. Как я оставлю престарелую бедную мать мою? Кто приглядит за нею? «Глядите, люди,— скажет она,— как бросила меня родная дочка моя!» — Слезы покатились по ее щекам.

— Мы не надолго ее оставим,— говорил Острица,— только год один пробудем на Перекопе или на Запорожье, а тогда я выхлопочу грамоту от короля и шляхетства, и мы воротимся снова сюда. Тогда не скажет ничего и отец твой.

Галя качала головою все с тою же грустью и слезами на глазах.

— Тогда мы оба станем присматривать за матерью. И у меня тоже есть старая мать, гораздо старше твоей. Но я не сижу с ней вместе. Придет время, женюсь,— тогда и не то будет со мною.

— Нет, полно. Ты не то, ты — козак; тебе подавай коня, сбрую да степь, и больше ни о чем тебе не думать. Если бы я была козаком, и я бы закурила люльку, села на коня — и все мне (при этом она махнула грациозно рукой) трын-трава! Но что будешь делать? я козачка. У бога не вымолишь, чтоб переменял долю... Еще бы я кинула, может быть, когда бы она была на руках у добрых людей, хоть даже одна; но ты знаешь, каков отец мой. Он прибьет ее; жизнь ее, бедненькой



моей матери, будет горше полыни. Она и то говорит: «Видно, скоро поставят надо мною крест, потому что мне все снится — то что она замуж выходит, то что рядят ее в богатое платье, но всё с черными пятнами».

— Может быть, тебе оттого так жаль своей матери, что ты не любишь меня, — говорил Острица, поворачив голову на сторону.

— Я не люблю тебя? Гляди: я, как хмелинонька около дуба, вьюсь к тебе, — говорила она, обвиняя его руками. — Я без тебя не живу.

— Может быть, вместо меня какой-нибудь другой, с шпорами, с золотою кистью?.. что доброго! может быть, и лях?

— Тарас, Тарас! пощади, помилуй! Мало я плакала по тебе? Зачем ты укоряешь меня так? — сказала она, почти упав на колени и в слезах.

— О, ваш род таков, — продолжал все так же Острица. — Вы, когда захотите, подымете такой вой, как десять волчиц, и слез, когда захотите, напускаете вволю, хоть ведра подставляй, а как на деле...

— Ну, чего ж тебе хочется? Скажи, что тебе нужно, чтоб я сделала?

— Едешь со мною или нет?

— Еду, еду!

— Ну, вставай, полно плакать; встань, моя голубочка, Галочка! — говорил он, принимая ее на руки и осыпая поцелуями. — Ты теперь моя! Теперь я знаю, что тебя никто не отнимет. Не плачь, моя... За это согласен я, чтоб ты осталась с матерью до тех пор, пока не пройдет наше горе. Что делает отец твой?

— Он спал в саду под грушею. Теперь, я слышу, ведут ему коня. Верно, он проснулся. Прощай! Советую тебе ехать скорее и лучше не попадаться ему теперь: он на тебя сердит. — При этом Ганна вскочила и побежала в светлицу...

Острица медленно садился на коня и, выехавши, оборачивался несколько раз назад, как <бы> желая вспомнить, не позабыл ли он чего, и уже поздно, почти около полуночи, достигнул он своего хутора.

Небо звездилось, но одеяние ночи было так темно, что рыцарь едва мог только приметить хаты, почти подъехав к самому хутору. В другое время путешественник наш верно бы досадовал на темноту, мешавшую взглянуть на знакомые хаты, сады, огороды, нивы, с которыми срослось его детство. Но теперь столько его занимали происшествия дня, что он не обращал внимания, не чувствовал, почти не заметил, как заливавшиеся со всех сторон собаки прыгали перед лошадьёю его так высоко, что, казалось, хотели ее укусить за морду. Так человек, которого будят, открывает на мгновение глаза и тотчас их смежает: он еще не разлучился со сном, ленивою рукою берется он за халат, но это движение для того только, чтобы обмануть разбудившего его, будто он хочет встать; а между тем он еще весь в бреду и во сне, щеки его горят, можно читать целый водопад сновидений, и утро дышит свежестью, и лучи солнца еще так живы и прохладны, как горный ключ. Конь сам собою ускорил шаг, угадав родимое стойло, и только одни приветливые ветви вишен, которые перекидывались через плетень, стеснявший узкую улицу, хлестая его по лицу, заставляли его иногда братья рукою. Но это движение было машинально. Тогда только, когда конь остановился под воротами, он очнулся. «Кто такой?..» Наконец ворота отворились. Острица въехал в двор, но, к изумлению своему, чуть не наехал на трех уланов, спящих в мундирах. Это выгнало все мечты из головы его. Он терялся в догадках, откуда взялись польские уланы. Неужели успели уже узнать о его приезде? И кто бы мог открыть это? Если бы точно узнали, то как можно в таком скором времени совершить эту экспедицию? И где же делись его запорожцы, которые должны были еще утром поспеть в его хутор? Все это повергло его в такое недоумение, что <он> не знал, на что решиться: ехать ли опрометью назад, или остаться и узнать причину такой странности? Он был тронут тем самым, который отпер ему ворота. Первым движением его было схватиться за саблю, но, увидевши, что это запорожец, он опустил руку. «Но пойдёмте, доб-

родию, в светлицу: здесь не в обычае говорить и слишком многолюдно», — отвечал последний. В сенях вышла старая ключница, бывшая нянькою нашего героя, с каганцом в руках. Осмотревши с головы до ног, она начала ворчать:

— Чего вас черт носит сюда? Всё только пугают меня. Я думала, что наш пан приехал. Что вам нужно? Еще мало горелки выпили?

— Дурна баба! рассмотри хорошенько: ведь это пан ваш.

Горпина снова начала осматривать с ног до головы, наконец вскрикнула:

— Да это ты, мой голубчик! Да это ж ты, моя матушенька! Да это ж ты, мой сокол! Как ты переменялся весь! как же ты загорел! как же ты оброс! Да у тебя, я думаю, и головка не мыта, и сорочки никто не дал переменить.

Тут Горпина рыдала навзрыд и подняла такой вой, что лай собак, который было начал стихать, удвоился.

— Сумасшедшая баба! — говорил запорожец, отступивши и плюнувши ей прямо в глаза. — Чего сдуру ты заревела? Народ весь разбудишь.

— Довольно, Горпина, — прервал Острица. — Вот тебе, гляди на меня! Ну, насмотрелась?

— Насмотрелась, моя матинько родная! Как не наглядеться! Еще когда ты маленьким был, носила я на руках тебя, и как вырастал, все не спускала глаз, боже мой! А теперь вот опять вижу тебя! Охо, хо!

И старуха принялась рыдать.

— Слушай, Горпино! — сказал Острица, приметив, что ключница для праздника наградила себя порядочной кружкой водки. — Лучше ты принеси закусь что-нибудь и наперед подай святой пасхи, потому что я, грешный, целый день сегодня не ел ничего и даже не попробовал пасхи.

— Да ты ж вот ото и пасхи не отведывал, бедная моя головонька! Несчастливая горемыка я на этом свете! Охо, хо!

Тут потоки слез, разрешившись, хлынули целым водопадом, и, подперши щеку рукою, <ключница?>

снова была готова завывать, если б не увидела над собою замахнувшей руки запорожца.

— Добродию! позволь кием угомонить проклятую бабу! Что это за соромный народ! Пришла ж охота господу богу породить этакое племя! Или ему недосуг тогда был, или бог знает что ему тогда было...

Острианица вошел между тем в светлицу и, снявши с себя кобеняк, бросился на ковер. Дорога, голод и встречи привели его в такую усталость, что он растянулся на нем в совершенной бесчувственности, не обращая ни на что глаз своих, а потому наше дело представить описание светлицы, замечательной тем, что постройка ее принадлежала еще деду. Очень замечательная достопамятность в той стране, где древностей почти не было, где брани, вечные брани, производили жестокое опустошение и обращали в руины все то, что успевали сделать трудолюбие и общежительность. Это была просторная, более продолговатая, комната и вместе с тем низенькая, как обыкновенно строилось в тот век. Ничто в ней не говорило о прочности, как будто, кажется, строитель был твердо уверен, что ее существование должно быть эфемерно; но, однако ж, поправками, приделками ветхое строение простояло около пятидесяти лет. Стены были очень тонки, вымазаны глиною и выбелены снаружи и внутри так ярко, что глаза едва могли выносить этот блеск. Весь пол в комнате был тоже вымазан глиною, но так был чисто выметен, что на нем можно было лечь, не опасаясь запылить платья. В углу комнаты, у дверей, находилась огромная печь и занимала почти четверть комнаты; сторона ее, обращенная к окнам, была покрыта белыми изразцами, на которых синею краскою были нарисованы подобию человеческого лицам, с желтыми глазами и губами; другая сторона состояла из зеленых гладких изразцов. Окна были невелики, круглы; матовые стекла, пропускающая свет, не давали видеть ничего происходящего на дворе. На стене висел портрет деда Острианицы, воевавшего с знаменитым Баторием. Он был изображен почти во весь рост, в кольчуге, с парюю <пистолетов>, заткнутою за пояс; нижняя часть ног до колен не была только

видна. Потемневшие краски едва позволяли видеть суровое, мужественное лицо, которому жалость и все мягкое, казалось, было совершенно неизвестно. Над дверьми висела тоже небольшая картина, масляными красками, изображающая беззаботного запорожца с бочонком водки, с надписью: *«Козак, душа правдивая, сорочки не має»*, — которую и доньше можно иногда встретить в Малороссии. Против дверей — несколько икон, убранных калиною и зелеными цветами, а под ними, на длинной деревянной доске, нарисованы сцены из священного писания: тут был Авраам, прицеливающийся из пистолета в Исаака; святой Дамьян, сидящий на колу, и другие подобные. Подалее висело несколько турецких саблей, ружье и разной величины пистолеты; неподвижный под образами стол, накрытый чистою скатертью, шитою по краям красным шелком и потемневшим серебром; два странного вида складных стула. В этом состояло убранство комнаты...

Острианица между тем теперь только заметил, что стол был уставлен деревянными блюдами с яйцами, маслом и бараниною. Первым его делом было приблизиться к столу и утолить голод, который теперь начал сильнее докучать ему. В это время вошла старая ключница с пасхой, с сметаной, сыром... «Вот тебе, паночиньку мой, и разговены! Вот тебе и сметанка! — говорила <она>. — Куда ж как он проголодался, бедная дытына! Вот как не подавится, бедненький! А я-то думала, а я хлопотала, а я бегала, как бы ему, моему сердечному... А вот господь сподобил, опять вижу тебя. Охо, хо, хо!»

Горпина опять было хотела всплакнуть, но запорожец Пудько, который начал было подремывать, сидя возле насыщавшего свой голод рыцаря, устремил на нее глаза и проговорил:

— Ну, ну, ну! попробуй только зареветь!..

Это остановило намерение Горпины...

— Кушай, кушай, сынку мой! ешь на здоровье, ешь, я не мешаю тебе! Голубчик мой! Мы с тобою только раз христосовались. Похристосуемся, мое серденько, похристосуемся!..

— Еще и христосоваться! — проговорил Пудько сквозь сон и схватил вместо пуги Горпинину ногу. — Пошла, проклятая баба!

— Ступай, Горпино! полно тебе! — проговорил, поднявшись, Острианица. — А не то я, несмотря на то что ты стара и что нянчила меня, сниму со стены вот этот батог; видишь ты этот батог?

Горпина, которая привыкла бояться повелительного голоса своего пана, немедленно повиновалась.

— Ну, Пудько, где ж Тарас? Что он делает? Что я его не вижу?

— А что ж ему делать? Известно, что делает: спит где-нибудь.

— Ну, так пойдем же и мы спать! только не в душевой хате, а на вольной земле, под небом.

Запорожец натянул на себя кобеняк и пошел вслед за Острианицею из светлицы, в которой чуть было не упал, зацепившись за что-то лежавшее у порога, но голосу которое не дало, — завернувшееся в кожаную туловище. Острианица узнал Курника, но заметно было, что он хватил не меньше других, потому что в его словах была страшная противуположность тому, что он говорил в дверях. Даже самый образ выражения был не тот; множество слов вшивалось таких, которых странно и смешно было от него слышать. Заметно было, что на него много сделали влияния запорожцы. «Эх, славная конница у запорожцев! Торо, торо, торо, гайда, гоп, гоп, гоп! Эка славная конница у запорожцев! Торо, торо, гоп, гоп, гоп! Экая конница! Послушай, любезный, скажи мне: какая у тебя конница? У меня конница запорожская. Откуда ты, мужичок? Зачем ты пришел? Не могу, у меня конница запорожская! Торо, торо, торо, гоп, гоп, гоп!» — и тому подобное. Острианица попробовал было подойти к атаману, которого указал ему Пудько и который лежал, подмостивши себе под голову бочонок, но услышал от него одни совершенно бессвязные слова, из чего он заключил, что все гуляли как следует, и решился оставить их в покое и присоединиться к другим, которых храпение составляло самую фантастическую музыку. Скоро все уснули.

Однако ж Острица долго не мог заснуть; напрасно переворачивался он с боку на бок и пробовал все положения: сон убегал его, а думы незванные приходили и силою ложились в его мозгу. Итак, его приезд понапрасну; и столько приготовлений, столько забот — все по-пустому! Она не хочет ехать с ним. Так вот это та любовь, та горячая, безграничная любовь! Ей жаль матери: для матери готова она забыть свою любовь. Способна ли она для страсти, когда может еще думать при нем об другом, об отце или матери? Нет, нет! Где любовь настоящая, такая, как следует, там нет ни брата, ни отца. «Нет, я хочу,— говорил он, разбрасывая руками,— чтоб она или меня одного, или никого не любила. Целуй, прижимай меня! Пусть жар дыханья твоего пахнет мне на щеки! Обнимая дрожащие груди твои, прижму тебя к моим грудям... И еще при этом думать об другом!.. О, как чудно, как странно создана женщина! Как приводит она в бешенство! Весь горишь! пламень в сердце, душно, тоска, агония... а сама она, может, и не знает, что творит в нас; она себе так, как ни в чем не бывало, глядит беспечно и не знает, что за муку произвела». Но между тем луна, плывшая среди необозримого синего роскошного неба, и свежий воздух весенней ночи на время успокоили его мысли. Они излились в длинном монологе, из которого, может быть, <читатели> узнают сколько-нибудь жизнь героя. «И как же ей, в самом деле, оставить бедную мать, которая когда-то ее лелеяла и которую теперь она лелеет, для которой нет ничего и не будет уже ничего в мире, когда не будет ее дочери? Она одна для нее радость, пища, жизнь, защита от отца. Нет, права она. И странная судьба моя! Отца я не видал: его убили на войне, когда меня еще на свете не было. Матери я видел только посинелый и разрезанный труп. Она, говорят, утонула. Ее вытянули мертвую и из утробы ее вырезали меня, бесчувственного, неживого. Как мне спасли жизнь — сам не знаю. Кто спас? Зачем спас? Лучше бы пропал, не живши! Чужие призрели. Еще мал и глуп, я уже наездничал с запорожцами. Опять случай: меня полонили татары. Не годит-

ся жить меж ними христианину, пить кобылье молоко, есть конину. Однако ж я был весел душой: ну, вырвусь же когда-нибудь на волю! И вот приехал я на родину сирота сиротою. Не встретил никого знакомого. Хотя бы собака была такая, которая знала меня в детстве. Никого, никого! Однако ж, хотя грустная, а все-таки радость была — и печально и радостно! Больно было глядеть, как посмеивался католик православному народу, и вместе весело. Подожди, ляше, увидишь, как растопчет тебя вольный рыцарский народ! Что же? Вот тебе и похвалился! Увидел хорошую дивчину — и все позабыл, все к черту. Ох, очи, черные очи! Захотел бог погубить людей за беззаконья и послал вас. Собиралось компанейство отмстить за ругательства над Христовой верой и за бесчестье народу. Я ни об чем не думал, меня почти сплюю уже заставили схватиться за саблю. В недобрый час затеялась эта битва. Что-то делают теперь в Польше коронный гетьман, сейм и полковники? Грех лежать на печке. Еще бы можно было поправить; вражья потеря, верно б, была сильнее, когда бы ударил из засады я. Бежат все запорожцы, увидав, что и Галькин отец держит вражью сторону. А всё вы, черные брови, вы всему виной! И вот я снова приехал сюда с ватагою товарищей; но не правда, и месть, и жажда искупить себе славу силой и кровью завели меня, — всё вы, всё вы, черные брови! Дивно диво — любовь! Ни об чем не думаешь, ничего на свете не хочешь, только сидеть бы возле ней, уставивши на нее очи, прижавши ближе к себе, так, чтобы пылающие щеки коснулись щеки, и все бы глядеть. Боже, как хороша она была, смеясь! Вот она глядит на меня. Серденько мое, Галя, Галюночка, Галочка, Галюня, душка моя, крошка моя! Что-то теперь делаешь ты? Верно, лежишь и думаешь обо мне! Нет, не могу, не в силах оставить тебя, не оставляю ни за что... Как же придумать?.. Голова моя горит, а не знаю, что делать! Поеду к королю, упрошу Ивана Острицу: он добудет мне грамоту и королевское прощение, и тогда, тогда... бог знает, что тогда будет! Только все лучше, я буду близ нее жить...» Так раздумывал и почти разговаривал сам с собою Острица; уже он обнимал в мыслях и свою Галю, вместе уже



воображал себя с пею в одной светлице; они хозяйничают в этом земном рае... Но настоящее опять вторгалось в это обворожительное будущее, и герой наш в досаде снова разбрасывал руками; кобеняк слетел с плеч его. Его терзала мысль, каким образом объявить запорожскому атаману, что теперь уже он оставляет свое предприятие и, стало быть, помощь его больше не нужна.

## ГЛАВА 5

Как только проснулся Острица, то увидел весь двор, наполненный народом: усы, байбараки, жепские парчовые кораблики, белые намитки, синие кунтуши — одним словом, двор представлял игрушечную лавку, или блюдо винегрета, или, еще лучше, пестрый турецкий платок. Со всею этою кучею народа <он> должен был перецеловаться и принять неимоверное множество яиц, подносимых в шапках, в платках, уток, гусей и прочего — обыкновенную дань, которую подносили поселяне своему господину, который, с своей стороны, должен был отблагодарить угощением. Подносимое принято; и так как яйца, будучи сложены в кучу, казались пирамидою ядер, выставленных на крепости, <то> против этого хозяин выкатил две страшные бочки горелки для всех гостей, и хуторянцы сделали самое страшное вторжение. Поглаживая усы, толпа нетерпеливо ждала вступить в бой с этим драгоценным неприятелем. И между тем как одна толпа бросилась на столы, трещавшие под баранами, жареными поросятами с хреном, а другая к пустившему хмельный водопад, боясь послушаться власти атамана, который, наконец, гостей принимал, держа в руках плеть. Он хлестал ею одного из подчиненных своих, который стоял неподвижно, но только почесываясь и стараясь удерживать свои стечения при каждом ударе. Атаман приговаривал таким дружеским образом, что если бы не было в руках плети, то можно подумать, что он ласкает родного сына.

— Вот это тебе, голубчик, за то, чтоб ты знал, как почитать старших! Вот тебе, любезный, еще на придачу! А вот еще один раз! Вот тебе еще другой! Да, голубчик, не делай так! А вот это как тебе кажется?

А этот вкусен? Признайся, вкусен? Когда по вкусу, так вот еще! Что за славная плеть! Чудная плеть! Что, как вот это? Нашлись же такие искусники, что так хитро сплели! Что, танцуешь? Тебе, видно, весело? То-то, я знал, что будет весело. Я затем тебя и благословляю так...— Тут атаман, наконец увидев, что молодой преступник, несмотря на все старание устоять на месте, готов был закричать, остановился.— Ну, теперь подойди, да поклонись же, да ниже поклонись! —Принявший удары, с опущенными глазами, из которых ручьем полились слезы, приблизился и отвесил поклон в ноги.— Говори, любезный: «Благодарю, атаман, за науку!»

— Благодарю, атаман, за науку.

— Теперь ступай! Гайда! Задай перцю баранам и сивухе!

— Христос воскрес, атаман! Мы с тобою еще не христосовались.

— Воистину воскрес! — отвечал атаман.

— Нет ли у тебя в запасе губки? Охота забирает люльку затянуть.

При этом <Острица> вложил в зубы вытянутую из кармана трубку.

— Как не быть! Это занятие, когда материя не клеится.

— Я хотел сказать тебе дело,— примолвил Острица с некоторою робостью.

— Гм! — отвечал атаман, вырубывая огонь.

— Мое дело не клеится.

— Не клеится? — промолвил <атаман>, раскуривая трубку.— Погано!

— Вряд ли нам что-нибудь достанется здесь

— Не достанется?... Погано!

— Придется нам возвратиться ни с чем.

— Гм!..

— Что ж ты скажешь? — спросил Острица, удивленный таким неудовлетворительным ответом.

— Когда воротиться,— отвечал запорожец, сплевывая,— так и воротиться.

Острицу ободрило такое равнодушие.

— Только я не пойду с вами; я поеду на время в Варшаву.

— Гм! — отвечал атаман.

— Ты, может быть, сердит на меня, что я так обманул и поддел вас? Божусь, что я сам обманут!

При этом слове грянула музыка, и вместе с нею грянуло топанье танцующих. Атаман, с трубкою в зубах, ринулся в кучу танцующей компании, очистил около себя круг и пустился выбивать ногами и навприсядку.

## <ГЛАВА 6>

— Что он себе думает, этот дурень Острица? — говорил старый Пудько. — Щенок! Еще и родниться задумал со мною! Поганый нечестивец! Поди к матери своей, чтоб доносила наперед! И достало духу у него сказать это! Дурень, дурень! — говорил он, дергая рукою, как будто драл кого-нибудь за волоса. — Молод козак, ус еще не прошибся! — Старый Кузубия не мог вынести, когда видел, что младший равняется с старшими. — Знать должен, что кто задумал мстить, тот у того не жди уже милости. Скорее солнце посинеет, вместо дождя посыплются раки с неба, чем я позабуду прошлое. Пропаду, но не забуду! Не хочу! Не хочу! Жинко! Жинко! — Этим восклицанием обыкновенно оканчивал он свою речь, когда бывал сердит, и боже сохрани жинке не явиться тот же час! На эту речь, едва передвигая ноги, пришло, или, лучше сказать, приползло, иссохнувшее, едва живущее существо. Вид ее не вдруг <поражал>. Нужно было взглядеться в этот несчастный остаток человека, в это олицетворенное страдание, чтобы ощутить в душе неизъяснимо тоскливое чувство. Представьте себе длинное, все в морщинах, почти бесчувственное лицо; глаза черные, как уголь, некогда — огонь, буря, страсть, ныне неподвижные; губы какого-то мертвого цвета, но, однако ж, они были когда-то свежи, как румянец на спелом яблоке. И кто бы подумал, что эти слившиеся в сухие руны черты были когда-то чертовски очаровательны, что движение этих, некогда гордых и величественных, бровей дарило счастье, необитаемое на земле? И все прошло, прошло незаметно; образовалось, наконец, лишь бесчувственное терпение и безграничное повиновение.

## ⟨П⟩ КРОВАВЫЙ БАНДУРИСТ

### ГЛАВА ИЗ РОМАНА

В 1543 году, в начале весны, ночью, тишина маленького городка Лукомья была смущена отрядом рейстровых коронных войск. Ущербленный месяц, вырезываясь блестящим рогом своим сквозь беспрерывно обступавшие его тучи, на мгновение освещал дно провала, в котором лепился этот небольшой городок. К удивлению немногих жителей, успевших проснуться, отряд, которого прежде одно появление служило предвестием буйства и грабительства, ехал с какою-то ужасающею тишиною. Заметно было, что всю силу напряженного внимания его останавливал тащившийся среди его пленник в самом странном наряде, какой когда-либо налагало насилне на человека: он был весь с ног до головы увязан ружьями, вероятно для сообщения неподвижности его телу. Пушечный лафет был укреплен на спине его. Конь едва ступал под ним. Несчастный пленник давно бы свалился, если бы толстый канат не прирастил его к седлу. Осветить бы месячному лучу хоть на минуту его лицо — и он бы, верно, блеснул в каплях кровавого пота, катившегося по щекам его! Но месяц не мог видеть его лица, потому что оно было заковано в железную решетку. Любопытные жители, с разинутыми ртами, иногда решались подступить поближе, но, увидя угрожающий кулак или саблю одного из провожатых, пятились и бежали в свои щедушные домики, закутываясь покрепче в наброшенные на плеча татарские тулупы и продрогивая от свежести ночного воздуха.

Отряд минул город и приближался к уединенному монастырю. Это строение, составленное из двух совершенно противоположных частей, стояло почти в конце города, на косогоре. Нижняя половина церкви была каменная и, можно сказать, вся состояла из трещин, обожжена, закурена порохом, почерневшая, позеленевшая, покрытая крапивою, хмелем и дикими колокольчиками, носившая на себе всю летопись страны, терпевшей кровавые жатвы. Верх церкви с теми изгибистыми деревянными пятью куполами, которые установила

испорченная архитектура византийская, еще более изуродованная варваризмом подражателей, был весь деревянный. Новые доски, желтевшие между почерневшими старыми, придавали ей пестроту и показывали, что еще не так давно она была починена богомольными прихожанами. Бледный луч серпорогого месяца, продравшись сквозь кудрявые яблони, укрывавшие ветвями в своей гуще часть здания, упал на низкие двери и на выдавшийся над ними вызубренный карниз, покрытый небольшими своевольно выросшими желтыми цветами, которые на тот раз блеснули и казались огнями или золотою надписью на диком карнизе. Один из толпы с неизмеримыми, когда-либо виданными усами, длиннее даже локтей рук его, которого по замашкам и дерзкому повелительному взгляду признать можно было начальником отряда, ударил дулом ружья в дверь. Дряхлые монастырские стены отозвались и, казалось, испустили умирающий голос, уныло потевший в воздухе. После сего молчание снова заступило свое место. Брань на разных наречиях посыпалась из-под огромнейших усов начальника отряда: «Терем-те-те, поповство проклятое! А то я знаю, чем вас разбудить!» Раздался пистолетный выстрел, пуля пробила ворота и шлепнулась в церковное окно, стекла которого с дребезгом посыпались во внутренность церкви. Это произвело смятение в кельях, которые примыкали к церкви; показались огни; связка ключей загремела; ворота со скрипом отворились,—и четыре монаха, предшествуемые игуменом, предстали бледные, с крестами в руках.

— Изыдите, нечистые! крошеники! — произнес едва слышным дрожащим голосом настоятель. — Во имя отца и сына и святого духа, изыди, диаволе!

— Але то еще и брешет, поганый собака! — прогремел начальник языком, которому ни один человек не мог бы дать имени: из таких разнородных стихий был он составлен. — То брешешь, лайдак, же говоришь, что мы дьяволы; а то мы не дьяволы, мы коронные.

— Что вы за люди? Я не знаю вас! Зачем вы пришли смущать православную церковь? — произнес настоятель,

— Я тебе, псяюха, порохом прочищу глаза! Дай нам ключи от монастырских погребов!

— На что вам ключи от наших погребов?

— Я, глупый поп, не буду с тобою говорить! Але ты хочеш, басе мазенята, поговори з моим конем: нех тебе отвечает из-под...

— Принеси им, антихристам, ключи, брат Кась-ян! — простонал настоятель, оборотившись к одному монаху. — Только у меня нет вина! Как бог свят, нет! Ни одной бочки, ни бочонка, и ничего такого, что бы вам было нужно.

— А то мне какое дело! Ребята хотят пить. Я тебе говорю, же ты, глупый поп, сена, стойла и пшеницы не дашь лошадям, то я в костел ваш поставлю их и тебя сапогом до морды.

Настоятель, не говоря ни слова, возвел на них оловянные свои глаза, которые, казалось, давно уже не принадлежали миру сему, потому что не выражали никакой страсти, и встретился с злобно устремившимися на него глазами иезуита. Отворотившись от него, он остановил их на странном пленнике с железным наличником. Вид этот, казалось, порастил почти бесчувственного ко всему, кроме церкви, старца.

— За что вы схватили этого человека? Господи, накажи их трехипостасною силою своею! Верно, опять какой-нибудь мученик за веру Христову!

Пленник испустил только слабое стенание.

Ключи были принесены, и при свете сонно горевшей светильни вся эта ватага подошла ко входу пещеры, находившейся за церковью. Как только опустились они под земляные безобразные своды, могильная сырость обдала всех. В молчании шел начальствовавший отрядом, и непостоянный огонь светильни, окруженный туманным кружком, бросал в лицо ему какое-то бледное привидение света, тогда как тень от бесконечных усов его подымалась вверх и двумя длинными полосами покрывала всех. Одни только грубо закругленные оконечности лица его были определительно тронуты светом и давали разглядеть глубоко бесчувственное выражение его, показывавшее, что все мягкое умерло и застыло в этой душе; что жизнь и смерть —

трын-трава; что величайшее наслаждение — табак и водка; что рай там, где все дребезжит и валится от пьяной руки. Это было какое-то смешение пограничных наций. Родом серб, буйно искоренивший из себя все человеческое в венгерских попойках и грабительствах, по костюму и несколько по языку поляк, по жадности к золоту жид, по расточительности его козак, по железному равнодушию дьявол. Во все время казался он спокоен; по временам только шумела между усами его обыкновенная брань, особенно когда неровный земляной пол, час от часу уходивший глубже вниз, заставлял его оступаться. Тщательно осматривал он находившиеся в земляных стенах норы, совершенно обсыпавшиеся, служившие когда-то кельями и единственными убежищами в той земле, где в редкий год не проходило по степям и полям разрушение, где никто не строил крепких строений и замков, зная, как непрочно их существование. Наконец показалась деревянная, заросшая мхом, зацветшая гнилью, дверь, закиданная тяжелыми бревнами и камнями. Пред ней остановился он и оглядел ее значительно снизу доверху. «А ну!» — сказал он, мигнувши бровью на дверь, — и от брови, казалось, пахнул ветер. Несколько человек принялись и не без труда отвалили бревна. Дверь отворилась. Боже! какое обиталище открылось глазам! Присутствовавшие взглянули безмолвно друг на друга, прежде нежели осмелились войти туда. Есть что-то могильно-страшное во внутренности земли. Там царствует в оцепенелом величии смерть, распутившая свои костистые члены под всеми цветущими городами, под всем веселящимся, живущим миром. Но если эта дышащая смертию внутренность земли населена еще живущими, теми адскими гномами, которых один вид уже наводит содрогание, тогда она еще ужаснее. Запах гнили пахнул так сильно, что сначала заняло у всех дух. Почти исполинского роста жаба остановилась неподвижно, выпучив свои страшные глаза на нарушителей ее уединения. Это была четырехугольная, без всякого другого выхода, пещера. Целые лоскутья паутины висели толстыми клоками с земляного свода, служившего потолком. Обсыпавшаяся со сводов земля лежала кучами на полу. На одной из них тор-

чали человеческие кости; летавшие молниями ящерицы быстро мелькали по ним. Сова или летучая мышь была бы здесь красавицею.

— А чем не светлица? Светлица хорошая! — проревел предводитель. — Терем-те-те! Лысый бес начхай тебе в кашу! Але тебе, псяюхе, тут добре будет спать. Сам ложись на ковалки, а под голову подмости ту жабу али возьми ее за женку на ночь!

Один из коронных вздумал было засмеяться на это, но смех его так страшно, беззвучно отдался под сырими сводами, что сам засмеявшийся испугался. Пленник, который стоял до того неподвижно, был втолкнут на середину и слышал только, как заскрипела за ним дверь и глухо застучали заваливаемые бревна, свет пропал, и мрак поглотил пещеру.

Несчастный вздрогнул. Ему казалось, что крышка гроба хлопнулась над ним, а стук бревен, заваливших вход его, казался стуком заступа, когда страшная земля валится на последний признак существования человека и могильно-равнодушная толпа говорит, как сквозь сон: «Его нет уже, но он был».

После первого ужаса он предался какому-то бессмысленному вниманию, бездушному существованию, которому предается человек, когда удар бывает так ужасен, что он даже не собирается с духом подумать о нем и вместо того устремляет глаза на какую-нибудь безделицу и рассматривает ее. Тогда он принадлежит к другому миру и ничего не разделяет человеческого. Видит без мыслей; чувствует не чувствуя; странно живет. Прежде всего внимание его впилося в темноту. Все было на время забыто — и ужас ее, и мысль о погребении живого. Он всеми чувствами вселился в темноту. И тогда пред ним развернулся совершенно новый, странный мир. Ему начали показываться во мраке светлые струи — последнее воспоминание света! Эти струи принимали множество разных узоров и цветов. Совершенного мрака нет для глаза. Он всегда, как ни зажмурь его, рисует и представляет цвета, которые видел. Эти разноцветные узоры принимали или вид пестрой шали, или волнистого мрамора, или, наконец, тот вид, который поражает нас своею чудною необыкновен-



ностью, когда рассматриваем в микроскоп часть крылышка или ножки насекомого. Иногда стройный переплет окна, — которого, увы! не было в его темнице, — проносился перед ним. Лазурь фантастически мелькала в черной его раме, потом изменилась в кофейную, потом исчезала совсем и обращалась в черную, усеянную или желтыми, или голубыми, или неопределенного цвета крапинками. Скоро весь этот мир начал исчезать: пленник чувствовал что-то другое. Сначала чувство это было безотчетное; потом начало приобретать определенность. Он слышал на руке своей что-то холодное; пальцы его невольно дотронулись к чему-то склизкому. Мысль о жабе вдруг осенила его!.. он вскрикнул... и разом переселился в мир действительный. Мысли его окунулись вдруг в весь ужас существования. К тому еще присоединилось изнурение сил, ужасный спертый воздух: все это повергло его в продолжительный обморок.

Между тем отряд коронных войск разместился в монастырских кельях как дома, высылал монахов подчищать конюшни и пировал от радости, что, наконец, схватил того, кто им был нужен!

— Попался, псяхуха! — говорил усатый предводитель. — Хотел бы я знать, чего они так быстры на ноги, собачьи дети? Пойдем, хлопцы, доведемся, кто с ним был, лысый бес начхай ему в кашу!

Жолнеры опустили вниз и нашли пленника лежащего без чувств.

— Дай ему понюхать чего-нибудь!

Один из них немедленно насыпал ему на руку пороха, к которой прислонилась его голова, и зажег его. Пленник чихнул и поднял голову, будто после беспокойного сна.

— Толкните его дубиной! рассказывай, терем-те-те, бабий сын! Але кто с тобою разбойничал? Двенадцать дьяблов твоей матке! Где твои ребята?

Пленник молчал.

— А то я тебя спрашиваю, псяхуха! Скиньте с него паличник! Сорвите с него епанчу! А то лайдак! Але то я знаю добре твою морду: зачем ее прячешь?

Жолнеры принялись — разорвали верхнюю епанчу

тонкого черного сукна, которою закрывался пленник, сорвали налечник... и глазам их мелькнули две черные косы, упавшие с головы на грудь, очаровательная белизна лица, бледного, как мрамор, бархат бровей, обмершие губы и девственные обнаженные груди, стыдливо задрожавшие, лишенные покрова.

Начальник отряда коронных войск окаменел от изумления; команда тоже.

— Але то баба? — наконец обратился он к ним с таким вопросом.

— Баба! — отвечали некоторые.

— А то как могла быть баба? Мы козака ловили. Предстоящие пожали плечами.

— На цугундру бабу! Как ты, глупая баба, дьявол бы тебя!.. Але как ты смела?.. рассказывай, где тот псяюха, где Остржаница?

Полуживая не отвечала ни слова.

— То тебя заставят говорить, лысый бес начхай тебе в кашу! — кричал в ярости воевода. — Помайте ей руки!

И два жолнера схватили ее за обнаженные руки, близною равнявшиеся пыли волн. Раздирающий душу крик раздался из уст ее, когда они стиснули их жилистыми руками своими.

— Что? скажешь теперь, бесова баба?

— Скажу! — простонала жертва.

— Оставь ее! Рассказывай, где тот бабий сын, сто дьяблов его матке!

— Боже! — проговорила она тихо, сложив свои руки. — Как мало сил у женщины! Отчего я не могу стерпеть боли!

— То мне того не нужно! Мне нужно знать, где он?

Губы несчастной пошевелились и, казалось, готовы были что-то вымолвить, как вдруг это напряжение их было прервано неизъяснимо странным происшествием: из глубины пещеры послышались довольно внятно умоляющие слова: «Не говори, Ганулечка! Не говори, Галюночка!» Голос, произнесший эти слова, несмотря на тихость, был невыразимо пронзителен и дик. Он казался чем-то средним между голосом старика и ребенка. В нем было какое-то, можно сказать, нечеловеческое

выражение; слышавшие чувствовали, как волосы шевелились на головах и холод трепетно бегал по жилам; как будто это был тот ужасный черный голос, который слышит человек перед смертью.

Допросчик содрогнулся и положил невольно на себя крест, потому что он всегда считал себя католиком. Минуту спустя уже ему показалось, что это только почудилось. Жолнеры обшарили углы, но ничего не нашли, кроме жаб и ящериц.

— Говори! — проговорил снова неумолимый допросчик, однако ж не присовокупив на этот раз никакой брани.

Она молчала.

— А ну, принимайтесь! — При этом густая бровь воеводы мигнула предстоящим.

Исполнители схватили ее за руки.

И те снежные руки, за которые бы сотни рыцарей переломали копыя, те прекрасные руки, поцелуй в которые уже дарит столько блаженства человеку, эти белые руки должны были вытерпеть адские мучения! Не многие глаза выдержали бы то ужасное зрелище, когда один из них с варварским зверством свернул ей два пальца, как перчатку. Звук хрустевших костей был тих, но его, казалось, слышали самые стены темницы. Сердцу с не совсем оглохлыми чувствами не достало бы сил выслушать этот звук. Страшно внимать хрипению убиваемого человека; но если в нем повержена сила, оно может вынести и не тронуться его страданиями. Когда же врывается в слух стон существа слабого, которое ничто пред нашею силою, тогда нет сердца, которого бы даже сквозь самую ярость мести не ужалила ядовитая змея жалости.

Пленница ни звука не издала. Лицо ее только означилось мгновенным судорожным движением муки, и губы задрожали.

— Говори, я тебя!.. поганая лайдачка!.. — произнес воевода, которому муки слабого доставляли какое-то сладострастное наслаждение, которое он мог только сравнить с дорого доставшеюся рюмкою водки.

Но только что он произнес эти слова, как снова тот же нестерпимый голос так же явственно раздался и так

же невыносимо жалобно произнес: «Не говори, Гану-лечка!»

На этот раз страх запал глубже в душу начальника.

Все обратились в ту сторону, откуда слышался этот странный голос — и что же?..

Ужас оковал их. Никогда не мог предстать человеку страшнейший фантом!.. Это был... ничто не могло быть ужаснее и отвратительнее этого зрелища! Это был... у кого не потряслись бы все фибры, весь состав человека! Это был... ужасно! — это был человек... но без кожи. Кожа была с него содрана. Весь он был закипевший кровью. Одни жилы синели и простирались по нем ветвями!.. Кровь капала с него!.. Бандура на кожаной ржавой перевязи висела на его плече. На кровавом лице страшно мелькали глаза...

Невозможно было описать ужаса присутствовавших. Все обратилось, казалось, в неподвижный мрамор со всеми знаками испуга на лицах. Но, к удивлению, это появление, отнявши силу у сильных, возвратило ее слабому. Сбравши всю себя, всю душевную крепость, молодая узница тихо поползла к дверям и вступила в земляной коридор, которого гнилой воздух показался ей райским в сравнении с ее темницей...

1832

### ⟨III⟩ ГЛАВА ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА

Между тем посланник наш переехал границу, отделяющую ныне Пирятинский повет от Лубенского. Общих езжалых дорог тогда не было в Малороссии, но почти каждому известна была какая-нибудь проселочная — по мнению его, самая ближайшая. Часто такая дорога, уклоняясь от ровной поверхности, проскальзывала в рытвины, царапалась по косогору, вешалась над провалами, и один неровный, слегка протоптанный подковою коня след означал ее уклонения. Достаточно было только выехать в дорогу, чтобы выучиться не разбирать ночлегов. Главное же неудобство для путешественника, не ознакомленного с местами, было то, что он должен был, на расстоянии двадцати пяти или

пятидесяти ружейных выстрелов, выведывать и выспрашивать пути у жителей, которых показания всегда почти разногласили.

Пустив повода и наклонив голову, всадник наш давно уже погружен был в раздумье, и только изредка попадавшиеся кочки и пни срубленных деревьев, заставляя спотыкаться верного его товарища, борзого коня, перерезывали разом его думы, которые снова обычным ожерельем низались в голову его. В первый раз еще случалось ему выполнять такое поручение: ехать бог знает куда, в незаселенные степи Украйны! И кто этот Глечик?.. Какая нужда Казимиру до начальника какой-то шайки, называвшего себя полковником миргородского полку?.. Ему не объявлено было ничего удовлетворительного ни о характере, ни о силе его, ни о том, какие он имеет сношения и с кем... К чему же эта осторожность, какую нужно было иметь в речах с ним? Зачем перелетать такую даль, чтобы только доставить ему сведения о событиях, волновавших Варшаву? И чем мог быть полезен такой отдаленный союзник?.. Мысленно досадовал он на себя, что не выведал обстоятельно об этом от Бригитты: ей, без сомнения, сколько-нибудь были известны причины такого странного посольства.

Солнце медленно прощалось с землею. Живописные облака, обхваченные по краям огненными лучами, поминутно меняясь и разрываясь, летели по воздуху. Сумерки угрюмо надвигали сизую тень свою и притворяли мало-помалу ставни окошек, освещавших светлый божий мир. В это время путник наш после долгого степного странствия въехал в лес. Раздетые безжалостною осенью деревья сквозили, как решето, и, казалось, дрожали от вечернего холода. Желтые листья, как объедки и битые ковши от недавнего пиршества, валялись неприбранные, и один только шелест их, ходя по лесу, давал знать о присутствии в нем нашего всадника. Сквозь обнаженную вершину леса темнело небо; резкий ветер подымался с поля и мчал заунывные свои вопли в гущу леса. Путник поневоле задумался и остановил коня своего в нерешимости, что предпринять, потому что дорога совершенно исчезла и перед ним торчал один только лес да неизвестность; как вдруг громкий голос «цоб,

доб!» поразил слух его; тяжело нагруженный воз заскрышел, и пара волов показалась из-за деревьев. Надобно вообразить себя на месте путешественника, чтобы вполне почувствовать радость такой встречи. Луна в это время вырезалась на небе. Серебряный свет, перепутанный тенью от дерев, пал решеткою на землю, осветив далеко окрестность, и Лапчинский увидел перед собою дюжего пожилого селянина. Седые, закрученные вниз усы его гордо покоились на смуглом, означенном резкими мускулами лице, которое так простодушно отменяла какая-то азиатская беспечность. По черным бровям серебрилась седина; огонь вылетал из небольших карих глаз, и в огне том высвечивались попеременно то хитрость, то простодушие. На голове у него была черная козацкая шапка с синим верхом. Коротенький нагольный тулуп, затянутый яркоцветным поясом, служил непроницаемыми латами от холода; сверх этого одеяния вдобавку накинута был обыкновенный кобеняк из толстого смурого сукна, который и поныне носят малороссийские мужики. Из-за пояса торчали пищаль и изогнутая татарская сабля — оружие, которое в тогдашние смутные времена всякий козак, ратник и селянин почитал необходимостью всегда иметь при себе.

— Помогай боже! — сказал он, остановив волов и обнажив увенчанную только на верхушке кистью волос голову, в знак того уважения, какое обыкновенно оказывали тогда простые поселяне ратным людям. Надобно припомнить, что Лапчинский, в избежание неприятностей, каким бы он неминуемо подвергнулся от жителей, не терпевших всего, что только носило название ляха или принадлежало ляхам, принужден был переменить щегольской костюм свой на скромное одеяние козацкого десятника. Всадник наш отвечал легким наклоном головы на сие приветствие.

— Не знаешь ли, земляк, — молвил он с ласковым видом, — далеко ли отсюда до Ромодановского шляху?

— Не сумею, добродию, сказать вдруг; повремените немножко. — Тут принялся он высчитывать, что выражали машинально сгибаемые им пальцы. — До Ромодановского шляху!.. Как бы вам сказать... оно не так чтобы близко. Надобно знать, что козаки наши немного

было перетрусили: кто-то пронес слух, что все шляхетство собирается к нам на Сулу в гости. Спыхватились сдуру и разломали мосты; так вам, добродию, чтоб не пришлось давать больших объездов. Впрочем, бог его знает: я говорю это потому, что другие говорят... так, может быть, выберется и короткий путь; только, знаете, теперь время осеннее... то станется, что и далеко... Только опять же как подумаешь, то кажется, что и близко. Вот другое дело, если б были поставлены столбы по дороге, какие, без сомнения, сами добродию, если бывали в Польше, встречали по тамошним дорогам.

Не должно удивляться противоречиям, испестрявшим монолог нашего поселянина. Кроме действительной неизвестности, малороссияне любили поусомниться и в самом знакомом им деле. Малороссиянин и доньше ничего не скажет наобум, но раз десять поправит себя, а иногда с умыслом запутает своего слушателя так, что тот, к изумлению своему, видит, что до такого-то места и далеко и близко.

— Куда же по крайней мере мне теперь держать путь? — спросил странник, вперив испытующий взор на своего наставника.

Тут селянин наш осмотрел его хорошенько с головы до ног.

— А вы, добродию, хотите теперь ехать?

— Почему же не теперь?

— Бог с вами! теперь и наш брат, здешний, уже сильно подумавши разве, поедет. Знаешь, мосьпане! ведь нам стоит только проехать такое время, в какое добрый мужик успеет вымолотить полкопны жита, чтобы слышать собачий лай с моего двора. Все бы лучше опочить в теплой хате, а завтра хоть и с богом!

От такого предложения нельзя было отказаться путнику, который, кажется, того только и ожидал.

— А куда, — спросил дорогою поселянин наш своего будущего гостя, — лежит путь вам, мосьпане?

— Еду-то я далеко, на ту сторону Ворскла, к миргородскому полковнику Глечуку. Что, земляк, не знаешь ли и ты его?

— Как не знать этой старой собаки! А из каких мест бог несет?

— Из великой станицы, что под Лохвицею.

— Как же это, добродию, мы не слышали ничего про то, чтобы станица была под Лохвицею? — Тут вонзил он в него острый взор свой, который, казалось, хотел выпытать его душу. — И то сказать! где уже мужику знать все про войсковые дела; до нашего захолустья еще и слухи не дошли об этом.

Посланник наш спохватился, что не нужно бросать осторожности в рассказах и с простым селянином, и потому, собравшись немного с мыслями, продолжал:

— То есть, вот видишь, земляк, наверное я еще не могу сказать. В самой-то станице я не был, а встретившийся под Лохвицею запорожский сотник Шляйко, узнав, что я еду в эти места, дал мне грамотку к миргородскому полковнику. Летел он как угорелый; из расспросов его я ничего не мог узнать наверное. Недавно перед тем возвратился я из Варшавы... Видишь, он, может быть, имел причины не доверять мне... то есть... он... ты, думаю, понимаешь меня.

— Что вы говорите, добродию! Разве мужик поймет то, что толкуют паны? Ей-богу, нет; где нам понять! У нас и голова не так сделана, как у панов: черт знает что такое: больше на капусту похоже, чем на голову.

«О, да ты штука!» — подумал про себя Лапчинский и положил себе быть как можно осторожнее в словах.

Он во все это время ехал шагом, уравнивая легкую поступь своего гордого коня с ленивою выступкою тяжелых волов, впереди которых с флегматическою важностью шел селянин, помахивая батоном и потягивая коротенькую люльку<sup>1</sup>. Дым от нее обнимал облаками смуглое лицо его, которое, освещаясь иногда вспыхивавшим огоньком, казалось лицом какого-нибудь упыря, выказывавшимся по временам из непробудного болотного тумана и сеявшим искры чудного огня. Это заставляло Лапчинского чаще всматриваться ему в глаза, чтоб удостовериться, точно ли то был его товарищ. Но селянин наш сам отгонял всякое насчет его сомнение, не давая минуты задуматься своему гостю.

---

<sup>1</sup> Трубку. (Прим. Н. В. Гоголя.)



— Слыхали ль вы, добродию, про таковое диво? — говорил он, не выпуская изо рта своей трубки, — видишь ли сосну, вон далеко, далеко чернеет перед нами?

И путник, к удивлению своему, точно увидел сосну. Каким образом зашла она сюда, когда во всей почти этой стороне Малороссии, на расстоянии, может быть, по сту верст во все стороны, взор не отыскивал этой суровой жилицы севера? Невольно вперил он на нее глаза свои: она одна только посреди обнаженного леса сохраняла, казалось, жизнь. Но жизнь ли это? Это была мумия, которую с изумлением отыскивают между голыми скелетами, одну не сокрушенную тлением. В ней видны те же черты, та же прекрасная форма человека объемлет ее. Но, боже, в каком виде! Неотразимое, непонятное чувство тоски и ужаса врывается в душу при взгляде на жалкий обман, которым суетное искусство силится выхватить и удержать что-то похожее на жизнь.

— Это еще не большое диво, что сосна, а вот что диво. Лет за пятьдесят перед тем, как мы балагурим с вамп, жил, чуть ли не на вот этом месте, в хоробах великий пан. Воевода ли он был, сотник ли какой, или просто пан, этого я не умею сказать; знаю только, что он был лях и не нашей веры. Жил он, как все нечистые польские паны живут: дом с утра до вечера ходенем ходил от вина и от песен, и далече прохватывала дрожь крещеного человека, когда он слышал раздававшиеся из лесу крики. Хлопцы из дворни его то и дело что наездничали по хуторам да обирали бедных жителей. Этого мало. Стали обворовывать да обдирать божьи церкви, и такое делали... враг с ними! не хочу и говорить, что такое. Побить бы их всех, добродию, — так нельзя, потому что дворни одной у них было, может, с полторы сотни, да и на каждого бердыши, самопалы и вся сбруя ратная. Вот и вызвался один дьякон, как уже его звали и из какого приходу он был, ей-богу, добродию, не знаю, — вызвался и пришел в лес. Если бы теперь не ночь и не засыпало листьям, то я, может статья, показал бы вам останки этого дьявольского гнезда. На ту пору, — так, видно, сам бог уже хотел, — был у них какой-то окаянный праздник. Дьякон шел уже на-

пропало, сказал: «Господи, благослови!» — и, сколько доставало духу, толкнулся в ворота, запертые толпившимся народом. Цимбалы и бандуры бренчали и гудели, словно на свадьбе, а пьяные паны и дворня изо всей силы отдирали краковяк. Как только завидели дьякона, так, добродию, и закричали: «Зачем сюда принесло попа?» А пан говорит: «Гей, хлопцы! налейте-ка попу водки: пусть его танцует с нами, добрыми христианами, краковяк, да подгоняйте его хорошенько батожьем!» Дьякон, исполнившись, видно, святого духа, начал представлять нечестивым весь грех беззаконного житья их, и какие на том свете будут им муки, и как будут они плясать в пекле<sup>1</sup>, только не по своей воле, а подгоняемые горячими вилами чертей. «А, так ты еще и проповедь читаешь? Гей, хлопцы! поднимите попа на крылос, а чтоб не застудил горла, накиньте ему гластук на шею!» И тут же челядь, с нечеловечьим смехом и гиканьем, втащила несчастного дьякона на ту самую сосну, мимо которой лежит нам путь. Позвольте, добродию: тут-то и история. Сосна эта как раз стояла перед хоромами и, как нарочно еще, перед самыми окошками панской светлицы. Вот, как ночь уже разогнала всех: кого на лавку, кого под лавку, — пану нашему чудится, что на него каплет что-то холодное. «Что за нечистый! — подумал пан, — отчего это каплет?» Встал с постели, глядит: колючие ветви сосны царапаются к нему сквозь стену и, будто живые, вытягиваются длиннее, длиннее и как раз достают до него. Перекрестился, может быть в первый раз отроду, наш пан, когда увидел, что из них каплет человечья кровь, сначала холодная, как лед, а потом жжет, да и только! К окну — так и ноги подкосились: сосна вся посинела, как мертвец, и страшно кивает ему черною всклокоченною бородою. Сначала было думал пан, не хмель ли бродит у него в голове; так на следующую ночь то же диво, и вся дворня в один голос, что по лесу то и дело что отпевают усопшего таким страшным голосом, что всякого мороз драл по коже и волосы щетиною поднимались на голове. Чего уж ни делали: и погребли с честью тело дьякона, и принима-

---

<sup>1</sup> В аде. (Прим. Н. В. Гоголя.)

лись было рубить сосну, — так секира не берет: что ни ударят, топор вызубрится, а дерево стонет, будто дитя некрещеное. Решились, наконец, бросить это ока-  
янное место. Вот каждый день и соберется вся челядь, оседлают коней, заберут все с собою и выедут, еще чер-  
ти не бьюся на кулачки; едут, едут, до самого вечера: кажись, бог знает куда заехали! Остановятся ночевать — смотрят, знакомые всё места: опять тот же дикий лес, те же хоромы, а проклятая сосна, протягивая вет-  
ви, словно руки, хватает пана и обдает его кровавыми каплями, а черная всклокоченная борода так же жутко кивает ему... — Тут рассказчик наш стремительно уда-  
рил в слушателя огненными глазами своими, блистав-  
шими еще ярче посреди ночи, и, казалось, не без удо-  
вольствия заметил в нем впечатление, произведенное его рассказом. Действительно, путник наш не мог не ощутить какого-то тайно врывавшегося в душу страха и с беспокойством посматривал вокруг. В это время пс-  
равнялись они с сосной. Серебряный свет падал на пс-  
чальные ветви ее, и отбрасывавшиеся от них тени, будто продолжение их, переламливаясь о встречные де-  
ревья, ложились бесконечною лестницею на землю. Ве-  
тер слегка покачивал вершину, и когда путник, немно-  
го проехав, оглянулся назад, то ему показалось, что какой-нибудь неприязненный дух, приняв дикий, вели-  
чественный образ, медленно следовал за ним, печально покачивая угрюмою бородою и раскидывая темно-зе-  
леные объятия свои, в намерении схватить его.

— Что же далее случилось? — спросил он умолк-  
шего рассказчика, стараясь подавить невольную робость.

— Что? Круто пришлось пану: распустил всю свою дворню, стал схимником, и как отправил пятьдесят две панихиды за упокой души дьякона, тогда только стих-  
нуло чудо. Куда же делся после того схимник, этого никто не скажет вам. Дня за три до Купала каплет с этого дерева день и ночь роса. Говорят еще, что и сгуб-  
ленная чья-то душа таскается по лесу. Теща рассказы-  
вала года за четыре, когда была еще при памяти, что встретила однажды в лесу дьявола в красном жупане, в каком ходил и покойный пан... Цоб, цоб, цобе! гей! Вот мы, добродию, и приехали.

Лапчинский увидел действительно перед собою низенькие ворота, редко убитые впоперек положенными досками, какие и теперь можно видеть почти у каждого малороссийского поселянина. Лай собак залился по лесу, и старая женщина, в накиннутом на плеча тулупе, вышла отворить ворота. Глазам нашего путника представился небольшой дворик, обнесенный забором из болотного тростника, несколько сараев и хлевов, укрытых таким же тростником, и обыкновенная малороссийская хата. На дворе навален был ворох ульев, из которых многие развешаны были на деревьях, нагибавших со всех сторон любопытные ветви свои во двор, как будто низкая буколическая жизнь его могла доставить им, величественным, занимательное зрелище. Позади двора тянулось еще какое-то строение, которого за темнотою нельзя было распознать. По всему можно было заключить, что имение сие принадлежало слишком зажиточному козаку; в тогдашние времена не у всякого могло найтись подобное великолешие. Пока хозяин занимался выгрузкою своего вьюка, Лапчинскому было довольно времени рассмотреть внутренность этого обиталища. Все в нем было почти так же, как и ныне у простолюдинов Малороссии: против дверей несколько окон, перед ними стол, на котором заметил он ржаной хлеб и соль, не снимавшиеся с него никогда, в знак того, что гость во всякое время может найти радушный прием себе. Всю комнату обходили липовые, широкие и узкие, лавки; у дверей громоздилась печь с отверстием внизу, заслоненным частою решеткою, из-за которой выглядывали куры, гуси, индейки и домашние кролики. Каждый из сих бессловесных жильцов суетился по-своему: пищал, кудахтал, гоготал и давал знать, что он нимало не последнее из творений. На полу мальчишка лет четырех колотил огромным подсолнечником по опрокинутому горшку, между тем как другой, годом постарее, душил за горло кота, напевая какую-то песню, которую, верно, от частого повторения его матери, заучил навеки. Перед большим окованным сундуком сидела девочка лет одиннадцати, держа на руках грудного ребенка, плакавшего изо всех сил, несмотря на то что она, желая забавить его, побрякивала огромным зам-

ком и страдала малютку вошедшим гостем. На стене висели: серп, сабля, ружье, которого замок был развинчен и лежал близ него на полке, вероятно отложенный для подчинки, секира, турецкий пистолет, еще ружье, неопущенная коса и коротенькая нагайка — орудия, с незапамятных времен вечно враждовавшие между собою и которые непонятный человек заставляет мириться, несмотря на несходные их свойства.

— Прошу не погневаться, добродию, что заставил вас ждать немного! — сказал вошедший хозяин. — Так проклятая ярмарка ошеломила меня, что до сих пор в голове базар ходит. Счастье еще, что старухи моей нет дома, а то бы она вымыла мне голову. Дома только нас: я да теща.

При сем слове вошла та самая старуха, которая отворяла ворота. С каким-то грустным чувством рассматривал ее путник: казалось, перед ним стояла жертва могилы, в которой сильная природа нарочно удерживала жизнь, чтобы показать человеку всю ничтожность долголетия, к коему так жадно стремятся его желания. Могильное равнодушие разливалось на усеянных морщинами чертах ее. Ни искры какой-нибудь живости в глазах! мутные, они устремлялись порой на него; но тот бы обманулся, кто прочитал бы в них что-нибудь похожее на любопытство. Они ни на что не глядели; им все казалось смутно, как не совсем проснувшемуся человеку. Покамест предавался он таким чувствам, старуха отправилась на печь, всегдашнее свое жилище, весь мир свой, который так же казался ей просторен и люден, как и всякий другой; а хозяин обратился к детям своим.

— Ай да Федот! — говорил он, поднимая одною рукою под потолок мальчика с подсолнечником. — Где ты взял такой страшный сонечник?<sup>1</sup> Да этим ты как-нибудь человека убьешь. Ты что там делаешь, Карпо? кота душишь? Какой же я тебе гостинец привез! Ступай же, собачий сын! что ж ты стоишь и рот разинул? Вот, как видите, добродию, сто раз толкую, что я его батька; до сих пор не верит, ледача детина!<sup>2</sup> А ты, пла-

<sup>1</sup> Подсолнечник, по малороссийскому произношению. (Прим. Н. В. Гоголя.)

<sup>2</sup> Негодный ребенок. (Прим. Н. В. Гоголя.)

кса, долго будешь реветь? А подайте мне батог, вот я его! Давай его сюда, Маруся; я сейчас за окошко: пусть там съедят его волки либо ляхи...

— Тебя таки, земляк, бог наделил детьми? — сказал гость наш своему хозяину.

— Да, не без того, мосьпане! всех-то их у меня семеро. Два уже поженились на чужой стороне, только черт знает какое приданое взяли за невестами: по сажени земли, на которой ничего не родится, кроме полыни и бурьяну. Что ж ты, Федот, не скажешь спасибо? Пан дает пряник, а он и не поклонится. Не извольте целовать его! у него вся рожа выпачкана золою. Были мне с ним порядочные хлопоты. Услышал, что еду на ярмарку: «Возьми и меня, тату!» — «Да куда я тебя дену? там тебя задавят!» — «Нет, не задавят, возьми да возьми!» — «Да там теперь столько цыганов, что еще украдут тебя, и тогда поминай как звали». — «Возьми, да и только!» Что станешь делать? плачу такого натворил, что боже упаси! Насилу унял его обещанием привезти медового коня с золотой головою. Ну, Маруся, матери незачем дожидаться: давай-ка нам вечерять; баба уж, верно, спит! Так до кого, добродию, — продолжал он, вдруг оборотясь к гостю и садясь за стол, — говоришь ты, едешь? У меня под старость голова как дырявое ведро: сколько ни лей воды в него, все пусто; сколько ни толкуй умных речей, все позабудет.

— Как, земляк? разве я не сказал тебе, что до Глечика? — отвечал гость, немного удивленный такою странною забывчивостью.

— До миргородского полковника? так нечего тебе и забираться так далеко: не кто другой, как он, сидит перед тобою, мосьпане!

Если бы в это время пуля пролетела мимо ушей Лапчинского, он был бы менее удивлен. Так внезапно, так неожиданно напасть на него врасплох, когда все мысли его разбрелись... когда... Нет, не может быть: он ослышался! И глаза его неподвижно устремились на хозяина, как бы желая удостовериться в лживости того, о чем донес ему слух его.

— Мне нужно видеть полковника, я к нему имею дело, — говорил почти отрок семнадцати лет.

— Тебе полковника?.. — произнес с расстановкою сторожевой козак перед большою ставкою, рассматривая и переминая на своей ладони с какой-то недоверчивостью грубый крошеный табак — это странное растение, которое с такою изумительною быстротою разнесла во все концы мира новооткрытая часть света. Трубка давно у него была в зубах. — На что тебе полковник? — При этом <он> взглянул на просителя. Это был почти отрок, готовящийся быть юношею, лет шестнадцати, уже с мужественными чертами лица, воспитанного солнцем <и> здоровым воздухом, в полотняном крапеном кунтуше и шароварах. — С тобою не станет говорить полковник, — примолвил <козак, поглядев> на него почти презрительно и <1 нрзб> закинув назад алый рукав с золотым шнурком.

— Отчего же он не станет со мною говорить?

— Кто ж с тобою станет говорить? ты еще недавно молоко сосал. Если б у тебя был хоть суконный кунтуш да пищаль, тогда бы конечно... Ведь ты, верно, попович или школяр? Знаешь ли ты этот инструмент? — примолвил <козак> с видом самодовольной гордости, указав на трубку.

— Да думать...

Но молодой воин остановился, увидевши, что козак вдруг онемел, потупил глаза в землю и снял шапку, до того заломленную набекрень. Двое пожилых мужчин — один в коротком плаще с рукавами, выстеганными золотом, с узорно вычеканенными пистолетами, другой в шитом кафтане с серебряною привесною к поясу чернильницею — прошли мимо и вошли в ставку. Дрожая и бледнея, шмыгнул за ними молодой человек и вошел в ставку.

Молодой человек ударил поклон в самую землю от страха, увидевши, как вошедшие перед ним богатые кафтаны поклонились в пояс и почтительно потупили

глаза в землю с тем безграничным повиновением, которое так странно вмещалось вместе с необузданностью, чем особенно славились козацкие войска. Прямо на разостланном ковре сидел полковник. Ему, казалось на вид, было лет пятьдесят. Волоса у него стали седеть, сизые усы величаво опускались вниз. Длинный синий рубец на щеке и лбу тянулся по его почти бронзовому лицу. Кажется, нельзя было отыскать никакой резкой характерной черты, но просто оно выражало с спокойствием уверенность козака. Глядя на него, можно было тотчас узнать, что у него рука железная и мощно может управлять <1 нрзб>. На нем были широкие, синие с серебром, шаровары. Верхнее платье небрежно валялось на полу. Несколько пистолетов и ружей стояли, и висели по углам ставки уздечки; в углу куль соломы. Полковник сам своею рукой чинил свое седло, когда вошли к нему писарь и есаул.

— Здравствуйте, панове, мои верные, мои добрые товарищи. Вот вам приказ: не пускать далеко на попас, потому что татарва теперь рыскает по степям. Идти как можно подальше, избирайте траву повыше, и шапки даже не снимайте. Да чтоб козаки не стреляли по дорогам дрохв и гусей, потому что и порох избавят даром, да что за мясоед такой козаку? Сухари да вода — то козацкая еда. А вы, мой любый кум и мой любезный приятель (при этом он оборотился к писарю), сделайте сей же час прокличку и запишите всех, кто налицо. Да смотрите оба, что<бы> все было как следует; а то, я вам скажу, вчера я видел, как козак кланялся что<то> слишком часто <на> коне. Я хотел было <1 нрзб> его, да жаль было заряда: у меня пистолет был заряжен хорошим порохом...

2

— Мне нужно к полковнику. Я хочу видеть самого полковника.

— Тебе полковника? — говорил полунасмешливым и полупрезрительным тоном сторожевой козак, потряхивая откидными рукавами алого цвета с золотым шнурком и поглядевши пристально на просителя, почти



отрока, в темном длинном кунтуше.— Подожди немножко.

— Мне наскучило ждать, я устал и очень долго ожидаю.

— Подожди немножко.

— Да до коих пор ждать мне?

— А вот, пока подрастешь,— отвечал хладнокровно козак, готовя и прочищая свою трубку.

— Дядюшка, ты мой батька, мать моя родная, пусти к полковнику!

— Какого тебе дьявола нужно? Пан полковник не станет говорить с такими, как ты.

— Не будет говорить, так прогонит. Пусти только меня.

— Нельзя, пан полковник теперь спит.

— Лжет он. Я не сплю,— слышался голос из ставки.

Козак привстал. Молодой проситель вздрогнул; бледность вдруг осенила его лицо, и сердце начало так сильно биться, что другому можно было слышать его.

— Ну, ступай, иди. Чего же стал!

Но обеспамятевший насилу мог собраться с духом. В это время пошли в ставку есаул и полковой писарь. Обрадовавшись этому случаю, он скрепился и пошел вслед за ними.



# **ПРИМЕЧАНИЯ**



Собрание сочинений Н. В. Гоголя выпускается в шести томах и включает все законченные художественные произведения великого писателя, а также его избранные литературно-критические статьи и письма.

Предлагаемое издание печатается на основе текстов Собрания сочинений Н. В. Гоголя в шести томах, осуществленного Гослитиздатом в 1952 году. Шеститомник 1952 года печатался по текстам прижизненных изданий Гоголя с учетом текстологической работы, проведенной академиком Н. С. Тихоновым в 10-томном собрании сочинений Гоголя 1889 года и советскими текстологами в Полном академическом собрании сочинений писателя. В настоящее издание с целью устранения некоторой непоследовательности в решении отдельных текстологических вопросов внесены поправки и уточнения по последним прижизненным изданиям сочинений Гоголя: «Сочинениям Н. В. Гоголя», М. 1855, изд. Н. Трушковского, в той части, которая была просмотрена в корректуре самим автором в 1851 году, а также по «Сочинениям Николая Гоголя», СПб. 1842, изд. Н. Прокоповича. В отличие от шеститомника 1952 года, в настоящем издании печатаются две редакции второго тома «Мертвых душ» — первоначальная и последняя незаконченная редакция.

Произведения Гоголя располагаются в следующем порядке: I том — «Вечера на хуторе близ Диканьки», II том — «Миргород», III том — повести 1835—1842 гг., IV том — драматические произведения, V том — «Мертвые души» и VI том — избранные статьи и письма.

В приложениях к отдельным томам печатаются: юношеская поэма Гоголя «Ганц Кюхельгартен», редакция «Тараса Бульбы»

1835 года, редакция «Портрета» 1835 года, редакция «Ревизора» 1836 года, незаконченная историческая драма «Альфред», сцены из незаконченной комедии «Владимир третьей степени», наброски драмы из украинской истории и др.

Творческая история произведений, конкретно-исторические сведения, необходимые для понимания текста, а также краткие текстологические объяснения приведены в примечаниях к каждому тому. Примечаниям предпослана вступительная заметка, дающая общую историко-литературную характеристику произведений, помещаемых в данном томе.

Повести, вошедшие в состав «Вечеров», были написаны Гоголем в Петербурге в сравнительно короткий промежуток времени: между апрелем—маем 1829 и январем 1832 года. Одновременно писатель работал над историческим романом «Гетьман», оставшимся незаконченным. К концу мая 1831 года была готова не только первая книжка повестей, но и часть второй. В эти первые годы петербургской жизни, рассказывает П. Кулиш в статье «Несколько черт для биографии Н. В. Гоголя», он работал очень много, потому что к маю 1831 года у него уже готово было несколько повестей, составлявших первый том «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

В марте 1830 года, до появления отдельного издания «Вечеров», Гоголь напечатал в «Отечественных записках» «Вечер накануне Ивана Купала». Судя по письмам Гоголя, можно предположить, что непосредственно вслед за этой повестью были закончены «Майская ночь» и «Пропавшая грамота». «Сорочинскую ярмарку», которой открывается цикл повестей, Гоголь завершил несколько позднее. К 31 января 1832 года (дата цензурного разрешения второй книги) были закончены все повести этого цикла.

В сентябре 1831 года вышла первая книга «Вечеров на хуторе близ Диканьки», вторая — в начале 1832 года. Летом 1832 года Гоголь задумывает второе издание «Вечеров»; в письме М. Погодину из Васильевки от 20 июля он просит его дать «знать книгопродавцам, авось-либo не купят 2-го издания «Вечеров на хуторе». Много из здешних помещиков посылало в Москву и Петербург, нигде не могли достать ни одного экземпляра» (Н. В. Гоголь, т. X, стр. 237)<sup>1</sup>. Подготавливая второе изда-

---

<sup>1</sup> Здесь и далее все цитаты из статей и писем Н. В. Гоголя даются по тексту Полного собрания сочинений, изд. Академии наук СССР, тт. I—XIV, Л.—М. 1937—1952.

ние, Гоголь тщательно выправил первоначальный текст и в последующих переизданиях «Вечеров» уже почти не изменял его. Цензурное разрешение второго издания помечено 10 ноября 1834 года, но отпечатано оно было только в начале 1836 года.

Первая книга «Вечеров» вышла с рядом опечаток, исправленных Гоголем в особом приложении, начинавшемся с шутиливо-юмористического предисловия: «Не погневайтесь, господа, что в книжке этой больше ошибок, чем на голове моей седых волос. Что делать? Не доводилось никогда еще возиться с печатною грамотою. Чтoб тому тяжело икнулось, кто и выдумал ее! Смотришь, совсем как будто *Иже*; а приглядишься, или *Наш*, или *Покой*. В глазах рябит так, как будто бы кто стал пересыпать перед тобою отруби.

Вот сколько насчитал я ошибок! Те слова, что выставлены тут в левом столбце, если встретятся где, то прошу недосматривать, так как бы их там и не было, а читать, как они написаны в столбце с правой стороны».

В первом и втором издании «Вечеров» Гоголь предпослал каждой из частей особый словарь украинских слов. Включая «Вечера» в издание сочинений 1842 года, он объединил эти словарики с словарем для повестей «Миргорода». В настоящем издании словарики печатаются после авторских предисловий к каждой части, как это и было в первом и втором изданиях «Вечеров».

Издавая в 1842 году собрание своих сочинений, Гоголь предварил первый том, куда входили «Вечера», следующим предисловием: «Предпринимая издание сочинений моих, выходявших доселе отдельно и разбросанных частию в повременных изданиях, я пересмотрел их вновь: много незрелого, много необдуманного, много детски несовершенного! Что было можно исправить, то исправлено, чего нельзя, то осталось неисправленным, так, как было. Всю первую часть следовало бы исключить вовсе: это первоначальные ученические опыты, недостойные строгого внимания читателя; но при них чувствовались первые сладкие минуты молодого вдохновения, и мне стало жалко исключить их, как жалко исторгнуть из памяти первые игры невозвратной юности. Снисходительный читатель может пропустить весь первый том и начать чтение со второго». Столь строгая и безусловно субъективная оценка Гоголем своих ранних произведений, представлявшихся ему в пору создания «Мертвых душ» пройденным этапом, вызвала возражение Белинского. «Всякий период жизни человеческой прекрасен,— писал критик,— и должен иметь



свои песни и своих певцов: «Вечера на хуторе» есть одна из таких вечно звучных песен юности...», «порождение легкой, светлой юношеской фантазии». По словам Белинского, «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «не могли подвергнуться изменениям поэта, который уже давно смотрит на жизнь взором глубоким, пронзительным и грустно-важным. Для самого поэта эти образы, светлые, как майская ночь его Малороссии, радостные, как звучный смех его Оксаны, шаловливые, как затеи неугомонных парубков, товарищей удалого Левко, сладостно-задумчивые, как светлоокая панночка-утопленница, добродушно-насмешливые, как вечно веселая юность,— все эти образы навсегда остались милы поэту...» (В. Г. Б е л и н с к и й, т. VI, стр. 660) <sup>1</sup>.

Украинские повести Гоголя, прославлявшие красоту человеческой личности и природы, юное, сильное бытие народа, являли собой «совершенно новый, небывалый мир искусства» (т а м ж е, т. III, стр. 504). Создание цикла повестей «Вечеров», отмеченных демократизмом и народностью, было обусловлено общим развитием русской эстетической мысли. Интерес к жизни народа, обращение передовой русской литературы к историческому прошлому и фольклору возник под влиянием патриотического подъема в Отечественную войну 1812 года. На протяжении 20-х годов в прогрессивных литературных кругах неоднократно высказывались мысли о том, что с наибольшей полнотой черты народности, национальной самобытности выражены в истории народа, в народном искусстве. «...Нравы отечественные, летописи, песни и сказания народные — лучшие, чистейшие, вернейшие источники для нашей словесности», — утверждал поэт-декабрист В. Кюхельбекер в статье «О направлении нашей поэзии» («Мнемозина», ч. II, 1824, стр. 42). О непреходящем значении народного творчества как источника подлинного искусства писал М. Максимович в предисловии к первому изданию «Малороссийских песен» (1827), хорошо знакомому Гоголю. «Наступило, кажется, то время, когда познают истинную цену *народности*; начинает сбываться желание — да создастся поэзия истинно русская!»

Обращение Гоголя к народной теме, к жизни родной ему Украины было в известной мере вызвано и некоторыми существенными обстоятельствами жизни начинающего писателя. Гоголь

---

<sup>1</sup> Здесь и далее все цитаты из статей В. Г. Белинского даются по тексту Полного собрания сочинений, изд. Академии наук СССР, тт. I—XII, М. 1953—1956.

приехал в Петербург вскоре после окончания Нежинской гимназии высших наук в чаянии посвятить себя «служению государству», стать «истинно полезным для человечества», о чем писал он в своих письмах к родным и друзьям. Высокие гражданские идеалы Гоголя сложились еще в гимназические годы под влиянием передовых идей времени, ознаменованного подвигом декабристов. Большое влияние на юношу оказали прогрессивные лекции по «естественному праву» профессора Н. Г. Белюсова, который развивал в них «крамольные» мысли о незаконности деспотической власти, о свободе и независимости человеческой личности. В гимназии Гоголь познакомился с «Полярной звездой», увлекался чтением вольнолюбивых стихов Рыльева и Пушкина. Духовные искания юного Гоголя, его мечты о высокой и благородной деятельности нашли свое отражение в романтической поэме-идиллии «Ганц Кюхельгарген», начатой им в гимназии и изданной в Петербурге в июне 1829 года. В этом «произведении восемнадцатилетней юности» отразилась и растущая неудовлетворенность поэта мещанским мирком «существователей», которые, по образному выражению Гоголя, «задавили корою своей земности... высокое назначение человека» (Н. В. Гоголь, т. X, стр. 98). Однако эта поэма, написанная в традициях пассивного романтизма Жуковского, не имела успеха, и Гоголь после ее выхода скупил и уничтожил весь тираж. Неудача «Ганца Кюхельгартена» во многом, видимо, повлияла на обращение Гоголя от стихов к прозе, от условной идиллической обстановки вымышленной книжной Германии — к жизни близкого ему народа. Не осуществились и патриотические мечты юноши о служении отечеству во имя «счастья граждан». Гоголь очень скоро разочаровывается в Петербурге, куда он так стремился и где его впервые поразила резкость социальных контрастов. В холодной самованной столице, в городе чиновников и департаментов, где «никакой дух не блесит в народе», Гоголю становится особенно дорога с детских лет полюбившаяся жизнь простого люда Украины, его нравы, предания и песни.

Начало творческого пути Гоголя совпало с такими важнейшими литературными событиями, как появление глав «Евгения Онегина», «Полтавы» и «Бориса Годунова» Пушкина, выход в свет «Литературной газеты», издававшейся пушкинским окружением. Именно в этот период в литературных кругах велись ожесточенные споры о сущности романтизма, о народности

искусства, о путях развития русской литературы. «Борис Годунов» Пушкина заставил молодого писателя по-новому взглянуть на жизнь и литературу. Истинной народностью, глубиной идейного содержания, значительностью характеров трагедия Пушкина явилась для Гоголя, которому близки были передовые устремления эпохи, знаменем нового направления. Восторженная оценка, данная писателем «поэме» Пушкина в статье о «Борисе Годунове», была своего рода клятвой в верности тем высоким благородным идеалам, которые в его глазах олицетворял Пушкин. В этой статье Гоголь определил свой путь писателя-гражданина как бескорыстное служение правде.

Обращение молодого Гоголя к жизни Украины также отвечало интересам передовых людей России. В борьбе украинского народа за свою национальную независимость, в его демократической народной культуре было много общего с историей и культурой русского народа. В русской художественной литературе 20-х годов об Украине рассказывали повести О. Сомова, романы Нарежного («Бурсак», «Два Ивана»). Поэмы Рылеева («Войнаровский», «Наливайко») и особенно пушкинская «Полтава» воскрешали образы далекого героического прошлого Украины.

О широком интересе русских читателей к украинской культуре сообщал Гоголь матери в письме от 30 апреля 1829 года, прося ее прислать комедии своего отца и ряд этнографических сведений и фольклорных материалов: «Здесь так занимает всех все малороссийское», — объяснял он свою просьбу. В этом же письме Гоголь писал: «...вы много знаете обычаи и нравы малороссиян наших, и потому, я знаю, вы не откажетесь сообщать мне их в нашей переписке. Это мне очень, очень нужно» (Н. В. Гоголь, т. X, стр. 142 и 141). Исследователи творчества Гоголя, опираясь на это письмо, и считают апрель — май 1829 года временем начала работы над циклом «Вечеров». Гоголь просит прислать ему «обстоятельное описание» украинской свадьбы, а также народных поверий и обычаев: «Еще несколько слов о колядках, о Иване Купале, о русалках. Если есть, кроме того, какие-либо духи или домовые, то о них подробнее, с их названиями и делами; множество носится между простым народом поверий, страшных сказаний, преданий, разных анекдотов и проч... Все это будет для меня чрезвычайно занимательно» (там же, стр. 141). Даже судя по этому письму к матери, можно предположить, что к весне 1829 года замысел «Вечеров» сложился в творческом воображении писателя. Многие

из того, что сообщила Гоголю мать, было использовано в «Вечерах», вошло в художественную ткань повестей, уточнило бытовые и этнографические подробности. Гоголь и сам прекрасно знал жизнь и фольклор Украины. Можно сказать, что писатель был внутренне подготовлен к созданию своей поэтической книги о народе — «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Васильевка, расположенная неподалеку от Миргорода, в которой прошли детские годы писателя, была типичным уголком украинской провинции. Гоголь еще подростком познакомился с жизнью народа, узнал быт и нравы украинской деревни. В годы детства и отрочества будущего писателя окружала та среда, которую он с такой полнотой и яркостью показал в «Вечерах» и «Миргороде». В усадьбу Гоголей съезжались соседние помещики и «полупанки», досужие сплетники и балагуры, запечатленные впоследствии в его повестях. Весь уклад дома Гоголей, их семейные традиции помещиков средней руки связаны были с украинскими национальными обычаями. Мальчиком Гоголь слушал прохожих слепцов-бандуристов, певших старинные «думы», смотрел народный «вертеп» (кукольный театр) с его традиционными героями — удалым запорожцем, цыганом, чертом и прочими персонажами, воскресшими затем на страницах «Вечеров».

Насколько Гоголь выделялся по своему облику и привычкам среди сынков богатых аристократических семей, свидетельствуют записки его одноклассника В. И. Любича-Романовича: «...Он искал сближения лишь с людьми себе равными, например со своим «дядькою», прислугою вообще и с базарными торговцами на рынке Нежина в особенности». Любич-Романович с раздражением отмечал его пристрастие к «мужикам», рассказывая о том, что Гоголь во время посещения гимназистами церкви «толкал мужика вперед» или давал крестьянину деньги на свечку, «... он только того и хотел, чтобы мужик потерял своим зипуном о блестящие мундиры и попачкал бы их своей пыльцой» («Исторический вестник», 1902, кн. 2, стр. 551, 554—555). Другой соученик Гоголя по гимназии, Ю. Н. Артынов, рассказывал, что Гоголь постоянно ходил в Магерки — предместье Нежина, имея «много знакомых между крестьянами. Когда у кого из них бывала свадьба или другое что, или когда просто выгадывался погодливый праздничный день, то Гоголь уж непременно был там» («Русский архив», 1877, кн. III, стр. 191). «Народность» самой личности писателя обращала на себя внимание современников.

Гоголь, «не будучи, в отличие от Кольцова, выходцем из народа по своему происхождению,—писал Герцен,— был им по своим вкусам и по складу ума» (А. И. Герцен, Собр. соч., М. 1956, т. 3, стр. 474).

Интерес к фольклору, к народному творчеству очень рано возник у Гоголя. Детская любовь к народным сказкам, преданиям и песням с годами переросла в сознательную склонность. Страстный собиратель и знаток народных песен, Гоголь называл их «звонкими, живыми летописями», народные песни явились для писателя ценнейшим источником познания живой души народа. Песня — это, по словам Гоголя, «народная история, живая, яркая, исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа. Если его жизнь была деятельна, разнообразна, своевольна, исполнена всего поэтического, и он, при всей многосторонности ее, не получил высшей цивилизации, то весь пыл, все сильное, юное бытие его выливается в народных песнях» (Н. В. Гоголь, т. VIII, стр. 90).

Еще в 1826 году, в Нежинской гимназии Гоголем была начата «Книга всякой всячины, или Подручная энциклопедия». Основное место в «Книге» занимали записи фольклора, выписки из исторических документов. В этой своеобразной «энциклопедии» были записаны и «Вирша, говоренная гетману Потемкину запорожцами», и указ гетмана Скоропадского, а наряду с этим отрывки из «Энеиды» Котляревского, народные украинские песни, пословицы и загадки. В гоголевской «энциклопедии» встречаются этнографические заметки о быте украинских крестьян, записи поверий, свадебного обряда, описания различных блюд и т. п. Примечательно, что «Книгу всякой всячины» Гоголь продолжал вести на протяжении нескольких лет и после окончания гимназии. Многие из материалов, имеющих в «Книге всякой всячины», было использовано Гоголем в «Вечерах» (см. примечания к «Вечеру накануне Ивана Купала», «Майской ночи» и др.) и даже в «Миргороде».

Воссоздавая в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» жизнь народа Украины, Гоголь не пошел ни путем «бурлескного» изображения крестьянской жизни, ни путем ее сентиментальной идеализации, отличавших литературу конца XVIII—начала XIX века. Крестьянин в «ирои-комических» поэмах В. Майкова, Осилова, комедиях Сумарокова обычно попадал в нелепые комические положения, натуралистически подчеркивались отрицательные черты крестьянского быта. Даже в романах В. Наруж-

ного, несмотря на его демократические устремления, крестьянин рисовался грубым, неразвитым существом. В творениях кн. А. Шаликова, Вл. Измайлова и прочих «чувствительных путешественников» жизнь украинской деревни изображалась условно-идиллическими красками, — авторов прежде всего занимала экзотика деревенской жизни, а крестьяне представлялись ими как аркадские пастухи и пастушки, «любезные поселяне».

Порывая с натуралистическим бытописанием, а также с традицией дворянского сентиментализма, Гоголь обратился непосредственно к самой действительности, к поэзии народной жизни и на этой основе создал неповторимые образы простых людей Украины. В этом ему помогало не только хорошее знание деревенского быта, но и молодая украинская литература, представленная такими произведениями, как «Энеида» И. П. Котляревского, «Гараськины оды» и басни Гулака-Артемовского, комедии Гоголя-отца, одного из первых украинских писателей реалистической школы.

Опираясь на молодую украинскую литературу, Гоголь в то же время продолжал традиции русского сатирического искусства, как это и подчеркнул Пушкин в своем отзыве на второе издание «Вечеров», поставив эти повести в связь с творчеством Фонвизина. Сатирическая журналистика XVIII века, журналы Новикова, а также творчество Крылова подготовили почву для книги молодого писателя.

Для целого ряда повестей «Вечеров» можно установить сюжетные источники, восходящие к записям как украинского, так и русского фольклора. Предание о черте, выгнанном из пекла и отыскивающим свое имущество, положенное в основу «Сорочинской ярмарки», восходит к народным легендам и сказкам. Близок к народным преданиям и сюжет «Вечера накануне Ивана Купала», передающий поверье о папоротнике, который цветет огненным цветом в ночь под Иванов день. Это поверье записал сам Гоголь в своей «Книге всякой всячины». К фольклорным мотивам восходит и сюжет «Пропавшей грамоты», напоминающий народные рассказы о пребывании в гостях у чертей музыкантов, сапожников и т. п. Народную легенду о «великом грешнике» использовал Гоголь в «Страшной мести». Многие эпитафии к повестям взяты автором из украинских народных песен, а отдельные сцены (например, начало «Сорочинской ярмарки», сцена свидания Левко и Ганны) развивают мотивы широкоизвестных украинских песен и дум. Бытовые комические персонажи повестей наделены Го-

голем чертами, которые восходят к украинскому фольклору, в частности к интермедиям кукольных вертепов. Муж-простак, плутоватый цыган, хвастливый запорожец, дьяк, ухаживающий за чужой женой, бойкая речистая баба вроде Хиври — излюбленные персонажи украинского кукольного театра. Повести «Вечеров» искрятся неисчерпаемым гоголевским юмором, едким, когда он высмеивает таких персонажей, как разбитная Солоха или самодовольный и жестокий Голова; мягким, лирическим, когда он рассказывает о капризной красавице Оксане или удалых похождениях кузнеца Вакулы.

Так же как в народных преданиях и сказках, правдивые картины быта в повестях Гоголя, колоритные жанровые сцены, раскрывающие нравы деревенской жизни, тесно переплетены с фантастическими мотивами. Сказочность «Вечеров» принципиально отличается от мистической фантастики немецких романтиков — Тика, Гофмана и других, — в произведениях которых народные предания, легенды являлись лишь как доказательство ирреальности, иллюзорности действительности.

Фантастика в повестях Гоголя выражает представления самого народа, его наивную веру в сверхъестественные существа. Подобно тому как в народной поэзии, в сказках враждебные человеку явления показаны в образе «нечистой силы», носителями зла в повестях Гоголя выступают фантастические персонажи — черти, ведьмы, русалки. Они наделены теми же отрицательными моральными чертами, которые свойственны «высшему лакейству», провинциальному чиновничеству, местной знати. «Нечистая сила» выведена в «Вечерах» в бытовом реальном плане, в ней нет ничего демонического; собственно фантастическое чаще всего используется Гоголем как своего рода художественный прием комического изображения быта и нравов. Черт в «Ночи перед рождеством» похож на губернского стряпчего не только по своей внешности, но и по всем повадкам; характерно, в этом смысле, пропическое замечание автора, что не только черт, но и вся уездная «знать» лезет в «люди». В гоголевских повестях — «Ночи перед рождеством», «Майской ночи...», «Заколдованном месте» — «народно-фантастическое так чудно сливается в художественном воспроизведении с народным-действительным, — писал Белинский, — что оба эти элемента образуют собою конкретную поэтическую действительность, в которой никак не узнаешь, что в ней быль и что сказка, по все пошеволе принимаешь за быль» (В. Г. Белинский, т. II;

стр. 509). «Сорочинская ярмарка» — жизненная, исполненная народного юмора история о том, как глуповатый Черсвик решился наперсдор своею жене выдать за парубка Грицько свою дочь. Таинственная «красная свитка», чудесное появление свиного рыла не заключают ничего фантастического, а являются проделками цыган, дурачащих и пугающих Солопия и его супругу. В «Пропавшей грамоте» похождений деда переданы рассказчиком как пьяное наваждение загулявшего запорожца. Несмотря на сказочный колорит своих повестей, Гоголь в них, по словам Белинского, «математически верен действительности» (В. Г. Б е л и н с к и й, т. V, стр. 567).

Народность повестей Гоголя не только в том, что он пользуется фольклорными сюжетами, не в этнографической точности воспроизведения быта и нравов, а в глубоком проникновении в национальный характер, в самую сущность народной жизни. Именно эти черты сближали повести Гоголя с пушкинскими произведениями. «Всечера на хуторе близ Диканьки» роднит со сказками Пушкина, например со сказкой «О попе и о работнике его Балде» и меткий народный юмор, образность и красочность языка, и понимание роли фантастики как действенного средства сатирического изображения. «Отличительная черта в наших нравах, — писал Пушкин, — есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться» (А. С. П у ш к и н, т. XI, стр. 34)<sup>1</sup>. «Сказочность» и для Гоголя и для Пушкина важна прежде всего как яркое выражение национального своеобразия народного характера.

«Главное влияние Пушкина на Гоголя, — утверждал Белинский, — заключалось в той народности, которая, по словам самого Гоголя, «состоит не в описании сарафана. Но в самом духе народа» (В. Г. Б е л и н с к и й, т. VIII, стр. 77—78). Гоголь писал «Вечера» в то время, когда Пушкин работал над своими сказками — и в этом факте, возможно, сказалась закономерность развития русской литературы, обращавшейся все шире к народным источникам. К моменту завершения первой книги «Вечеров» состоялось долгожданное знакомство Гоголя с Пушкиным на вечере у П. А. Плетнева (в мае 1831 года). Сближению с Пушкиным способствовал и переезд Гоголя в Павловск, по соседству с Царским Селом, где поэт проводил лето 1831 года. «Почти каждый ве-

<sup>1</sup> Здесь и далее все цитаты из статей и писем А. С. Пушкина даются по тексту Полного собрания сочинений, изд. Академии наук СССР, тт. I—XVI, М.—Л. 1937—1949.



чер,—вспоминал Гоголь в письме к Давилевскому в ноябре 1831 года,—собирались мы: Жуковский, Пушкин и я» (Н. В. Гоголь, т. X, стр. 214). А несколько раньше, в сентябре 1831 года, он писал Жуковскому: «...Пушкин окончил свою сказку! («Сказка о царе Салтане». — Н. С.) Боже мой, что-то будет далее? Мне кажется, что теперь воздвигается огромное здание чисто русской поэзии, страшные граниты положены в фундамент, и те же самые зодчие выведут и стены и купол на славу векам... Как прекрасен удел ваш, Великие зодчие!.. Когда-то приобщусь я этой божественной сказки?» (там же, стр. 207—208). Это письмо Гоголя важно для понимания тех эстетических задач, которые ставил перед собой писатель в пору создания «Вечеров на хуторе близ Диканьки», — приобщиться к чисто русской поэзии, то есть выражающей национальный характер народа.

Подобно тому как и в народной поэзии, в «Вечерах» уживались комическое и трагическое, задорный народный юмор, проникновенная лирика украинских песен и героический былинный пафос казачьих «дум». В этой многогранности оттенков, красок, мотивов, в гармоническом слиянии эпического и лирического начал, романтических и реалистических тенденций в изображении народного характера — своеобразие, сила и прелесть гоголевских повестей.

Гоголь, начав свой творческий путь как преемник и убежденный продолжатель Пушкина, во многом расширил и демократизировал пушкинские принципы народности искусства. Создатель «Вечеров» в еще большей степени приблизил литературу к жизни, языку, народному творчеству, к самому мышлению народа. В гоголевских повестях почти стирается грань между литературным языком (в его узком понимании) и народной речью. Гоголь смело обращается и к украинскому языку (в передаче бытовых подробностей, в обрисовке комических персонажей), который в глазах русского читателя имел еще более «просто-народный» характер.

Основывая свое повествование не на формах книжного стиля, а на устном «сказе», на живой разговорной речи, Гоголь тем самым наиболее полно выражал народный характер своих повестей. Рассказчики «Вечеров» (например, дьячок Фома Григорьевич) наряду с небылицами приводят много бытовых и комических подробностей, да и самые фантастические приключения передают необычайно конкретно, подчеркивая и в них жизненные детали, комические ситуации. Гоголь точно и выразительно вос-

производит самую речь простодушного и вместе с тем немного болтливового рассказчика, с ее казалось бы излишними, порой прозаическими отступлениями, с характерными народными оборотами, расширяя традиционные рамки русского литературного языка. Рассказчики повестей, за исключением «горохового панича», высмеянного Рудым Паньком за то, что описывает все «вычурно да хитро, как в печатных книжках», выступают носителями народного начала, разделяя и наивную веру народа в сверхъестественное, в «нечистую силу», и его неприязнь к панству, к «высшему лакейству». Образ рассказчика не только внешне объединяет повести «Вечеров», но и придает им внутреннее единство, большую убедительность рассказу и, таким образом, играет важную роль в осуществлении идейного замысла всего цикла. Не случайно в первом издании «Опыта биографии Н. В. Гоголя» Кулиш, говоря о жизненной правдивости «Вечеров», особо выделил предисловия Рудого Панька. «Надобно быть жителем Малороссии,— писал он,— или, лучше сказать, малороссийских захолустий, лет тридцать назад, чтобы постигнуть, до какой степени общий тон этих картин верен действительности. Читая эти предисловия, не только чуешь знакомый склад речей, слышишь родную интонацию разговоров, но видишь лица собеседников и обоняешь налитанную запахом пирогов со сметаной или благоуханием сотов атмосферу, в которой жили эти прототипы гоголевской фантазии» (П. Кулиш, Опыт биографии Н. В. Гоголя, СПб. 1854, стр. 5).

Украина, показанная Гоголем в «Вечерах», впервые предстала перед русским читателем во всем ее национальном своеобразии. В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголь стремится к поэтизации народной жизни, утверждает радостное, оптимистическое восприятие мира, отсюда и романтическая вдохновенная приподнятость повествования, явившаяся одной из важнейших особенностей гоголевского стиля. Необычайная яркость, красочность сравнений, метафор, эпитетов характеризуют стиль «Вечеров». На эту черту дарования Гоголя обратил внимание Белинский, заметивший, что Гоголь не пишет, а как бы рисует кистью. Своеобразие творческой манеры раннего Гоголя во многом и состояло в обращении к этой «словесной живописи», к зрительной наглядности изображения, к передаче полноты ощущения жизни.

Белинский, развивая свои мысли об особенностях гоголевского художественного метода, писал в статье «О русской повести...»: «Гоголь сделался известен своими «Вечерами на хуторе».

Это были поэтические очерки Малороссии, очерки, полные жизни и очарования. Все, что может иметь природа прекрасного, сельская жизнь простолюдинов обольстительного, все, что народ может иметь оригинального, типического,— все это радужными цветами блестит в этих первых поэтических грезах Гоголя (В. Г. Б е л и н с к и й, т. I, стр. 301).

Молодой Гоголь в своих поисках идеала прекрасного обращается к народу в целом, как носителю положительных свойств человека вообще. Не в повседневной жизни людей, не в их подневольном быту нашел писатель это высокое, поэтическое начало, а в тех проявлениях народного характера, в тех чертах, которые раскрывались всем героическим прошлым народа. В известной мере этим и объясняется то обстоятельство, что Гоголь в «Вечерах» не показывает картин крепостного права. Самые события в повестях «Вечеров» приурочены преимущественно к тем временам, когда на Украине еще не было крепостного права. Так, действие и в повести «Вечер накануне Ивана Купала» происходит, когда «козаковал почти всякий», когда еще памятливы были «молодецкие дела Подковы, Кожуха, Сагайдачного» и других казацких гетманов. «Заколдованное место» и «Пропавшая грамота» рассказаны дьячком Фомой Григорьевичем со слов его деда-запорожца. «Ночь перед рождеством» отнесется к 70-м годам XVIII века, ко времени уничтожения Запорожской Сечи. «Страшная месть» посвящена борьбе с польской шляхтой в XVI веке. Лишь «Майская ночь» и «Сорочинская ярмарка» показывали современную жизнь. Важно учесть и особенность исторического развития Украины, отмеченную Герценом. Крепостное право на Украине появилось поздно, и «одно столетие крепостного состояния,— писал Герцен,— не могло уничтожить все, что было независимого и поэтического в этом славном народе» (А. И. Герцен, Собр. соч., М. 1956, т. 3, стр. 475). Этим также в значительной степени объясняется обращение Гоголя к родной ему Украине, в его поисках цельных свободолобивых талантливых людей.

Однако, создавая полные очарования, радости и света картины жизни Малороссии, Гоголь был далек от идиллического восприятия действительности. Уже в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» проявилось свое, гоголевское видение мира. Наряду с рассказчиками, которые не поднимаются над уровнем взглядов и отношений своих героев, в «Вечерах» слышится и другой голос, голос самого автора, выражающий стремление к прекрасному и

вместе с тем сознающий его неосуществимость. С авторским лирическим началом неразрывно связана внутренняя «диалектика» повестей, философский подтекст всего цикла. В жизнерадостный светлый мир «Вечеров» вторгаются печальные, а порой и трагические ноты. Даже такая радостная солнечная повесть, как «Сорочинская ярмарка», завершается грустным авторским монологом о зыбкости и кратковременности человеческого счастья.

Гоголь чувствует непрочность цельного и простого уклада народной жизни, который разрушается в условиях нарастания социальных противоречий. За пределами гармоничного мира, показанного в «Сорочинской ярмарке» или в «Ночи перед рождением», находится полная противоречий и драматических конфликтов действительность. Драматическая тема «Вечеров» представлена двумя повестями — «Вечером накануне Ивана Купала» и «Страшной местию». Трагическая идея «Вечера накануне Ивана Купала» и «Страшной мести» также тесно связана с народным представлением о сущности зла, о нравственном долге человека. Но если «нечистая сила» в других повестях обычно рисуется писателем насмешливо-пародийными чертами, то демонические герои этих повестей, олицетворяющие злые, враждебные силы, изменники и предатели окружаются атмосферой таинственности, мистического ужаса. Правда, при всей фантастичности сюжета Гоголь видит истоки преступления в отрыве от народа, от его жизни и интересов.

Сатирическая обличительная тенденция «Вечеров» с наибольшей полнотой и выразительностью сказалась в повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка». Идейный замысел «Вечеров на хуторе близ Диканьки», художественная структура всего цикла определялись противопоставлением героических черт в жизни народа, его свободолюбивых стремлений — тусклому, безобразному миру «существователей». В этом глубокий внутренний смысл и органичность включения в «Вечера» повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», резко оттеняющей своим сатирическим изображением духовной пустоты и паразитизма помещичьей среды то благородное, истинно прекрасное начало, которое Гоголь увидел в народе. Это противопоставление проходит в дальнейшем через все творчество Гоголя, по-разному на разных этапах раскрываясь в художественных образах его произведений.

«Иван Федорович Шпонька...» — повесть из мелкопоместного быта помещиков — выделяется среди повестей «Вечеров»

не только своей темой, но и зрелостью художественного метода, типической обобщенностью образов. Шпонька начинает собой галерею гоголевских существователей — от него прямой путь к героям повести «О том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», далее к Подколесину в «Женитьбе». Мелкость мыслей и чувств, унылость и бездарность, боязнь жизни характеризуют облик этого гоголевского персонажа.

Сохраняя и в повести о Шпоньке образ простодушного, лукавого рассказчика, Гоголь, однако, делает его уже не представителем деревенской среды, а носителем иного социального сознания, мелким «панком», живущим в Гадяче. В этой повести уже в полной мере проявилась сила гоголевской иронии, гоголевского «гумора», как говорит Белинский. Повесть написана в манере типичной для зрелых творений Гоголя, когда сатирическое звучание произведения возникает в результате резкого контраста между «эпической» обстоятельностью и серьезностью, с которой ведется рассказ, и бессодержательностью описываемой жизни. Повесть о Шпоньке, вошедшая во вторую книгу «Вечеров», предвосхищала, по сути, следующий цикл гоголевских повестей — «Миргород».

Первые читатели «Вечеров» — наборщики — сразу же оценили демократический характер повестей Гоголя. В письме к Пушкину от 21 августа 1831 года Гоголь рассказывал: «Любопытнее всего было мое свидание с типографией. Только что я просунулся в двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке. Это меня несколько удивило. Я к фактору, и он после некоторых ловких уклонений наконец сказал, что: *штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, очень до чрезвычайности забавны и наборщикам принесли большую забаву*. Из этого я заключил, что я писатель совершенно во вкусе черни» (Н. В. Гоголь, т. X, стр. 203). Несмотря на шутливый тон рассказа Гоголя, чувствуется глубокое удовлетворение писателя тем, что книга пришлась по душе демократическому читателю.

Пушкин — великий учитель Гоголя — явился и первым критиком «Вечеров», увидевшим талант молодого писателя, «несбыкновенность» его повестей. «Поздравляю Вас с первым Вашим торжеством,— писал Гоголю Пушкин,— с фырканьем наборщиков и изъяснениями фактора. С нетерпением ожидаю и

другого: толков журналистов и отзыва остренького сидельца» (т. е. Полевого.— Н. С.) (А. С. Пушкин, т. XIV, стр. 215).

В открытом письме к Воейкову (от сентября 1831 года), помещенном в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» (1831, № 79 от 3 октября), Пушкин радостно приветствует появление «Вечеров». «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки»,— писал Пушкин.— Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился». Приведя рассказ Гоголя о том, как встречены были «Вечера» наборщиками, Пушкин заключает: *«Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселою книгою, а автору сердечно желаю дальнейших успехов»*. В этой же статье, предвидя выступления реакционной критики, Пушкин открыто просит поддержать молодого писателя, «если журналисты, по своему обыкновению, нападут на *неприличие* его выражений, на *дурной тон* и проч...» (А. С. Пушкин, т. XI, стр. 216).

Отношение Пушкина к гоголевским «Вечерам» оставалось неизменным. Спустя пять лет в рецензии на второе издание он еще раз повторил свою мысль о новаторском характере книги Гоголя, появлению которой «так необыкновенно в нашей литературе». Яркая самобытность «Вечеров», их демократизм и подлинная народность, жизнерадостность сразу же завоевали любовь русского читателя. По словам Пушкина, «все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего, этим свежим картинам малороссийской природы, этой веселости, простодушной и вместе лукавой. Как изумились мы русской книге, которая заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина!» (там же, т. XII, стр. 27).

Как и предполагал Пушкин, «Вечера» были встречены недоброжелательно современной критикой, увидевшей в повестях Гоголя выражение вкусов «черни», «желание подделаться под малорусизм». В «Московском телеграфе» появилась довольно резкая статья Н. Полевого, «остренького сидельца», по выражению Пушкина. В гоголевских повестях Полевой видел лишь «бедность воображения», «недостатки слога», «несуменье увлекать читателя подробностями». «Должно было рассказывать сказки,— поучал критик,— или просто, как они хранятся в народном предании, или пересоздавать их, смело, творчески, на что

большой мастер старик В. Скотт. Далее, при недостатках слога при несвойственной роли, при бедности воображения, вы еще... не умеете сражаться с читателем... не умеете увлекать его подробностями...» Полевой противопоставляет Гоголю как идеального «сказочника» романтика Бестужева-Марлинского. «Посмотрите-ка на одного сказочника, который написал «Лейтенант Белозор». Вот художник!» («Московский телеграф», 1831, № 17, стр. 94, 95).

В отзыве на вторую книгу «Вечеров», пытаясь объяснить, в чем он видит ее достоинство, Полевой замечал, что «...автор во многих местах очень хорошо воспользовался юмором своих земляков и многое представил в живописном истинном виде. Его пейсантизм веселость дала ему средства оживить свои рассказы». Однако и теперь «Вечера» воспринимались Полевым как легковесные забавные повестушки, после прочтения которых «...ни одна мысль, ни одна картина, ни одно выражение не западает в душу». Современная Гоголю буржуазная либеральная критика не поняла истинного существа гоголевского юмора. «Автор беспрестанно берется за то оружие,— писал Полевой,— которым лучше владеет он, за насмешку; но насмешка, и насмешка в продолжение целой книги, становится, наконец, утомительна» («Московский телеграф», 1832, № 6, стр. 263—265).

В своей критике «Вечеров» Полевой не остался одинок. Журнал Булгарина и Греча «Сын отечества и Северный архив» поместил огромную статью А. Царынного (Стороженко), в которой подробнейшим образом разбирались «ошибки» Гоголя в описании украинского быта. Восторженный отзыв Пушкина о «Вечерах» Царынный назвал лишь «кратковременной прихотью поэта» (1832, т. XXV, № 1—4). После выхода в свет второго издания «Вечеров» «Библиотека для чтения» напечатала статью Сенковского. «В продолжение двух томов вы только и видите, что малороссийских мужиков, казаков, дьячков, мастеровых,— сетовал критик.— Публика г. Гоголя утирает нос полою своего балахона и жестоко пахнет дегтем, и все его повести или, правильнее, сказки имеют одинаковую физиономию. Литература эта, конечно, невысока» («Библиотека для чтения», 1836, т. 15, стр. 3). Сенковского, одного из ближайших соратников Булгарина, несомненно раздражал прежде всего откровенный демократизм «Вечеров» — книги о народе. Впоследствии упреки в «низменности» творчества Гоголя нередко раздавались со страниц реакционной и либеральной критики.

Наряду с недоброжелательными и тенденциозными отзывами о «Вечерах» в современной печати появились статьи, авторы которых стремились раскрыть положительные, с их точки зрения, стороны первых повестей Гоголя. Некоторые статьи были полемически направлены против выступлений Н. Полского. Вокруг «Вечеров» развернулись идейные споры, явившиеся отражением идеологической борьбы различных течений в литературе первой половины XIX века. Несомненный интерес представляет коротенькое примечание Л. А. Якубовича к цитированному выше письму Пушкина в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» (1831, № 79). «Повести свои,— замечает он,— рассказывает пасичник *Рудый Панек* без вычур, без хитрости, без требований на ученость и славу. Лица его не подмалеваны, нет общих мест, пошлых и тошных, происшествия не притянуты за волосы, веселость не поддельная, остроумие не выкраденное: в них все *просто* — и потому все прекрасно! — ибо первое условие прекрасного — *простота*». Народный характер повестей Гоголя был отмечен во французском журнале «Le Miroir, journal de littérature et de théâtres» (1831, № 35 от 28 октября, в этом номере был перепечатан отзыв Пушкина). В анонимной заметке, принадлежавшей, как это теперь установлено, одному из сотрудников «Литературной газеты», О. М. Сомову, обращалось внимание на необычное «название, под которым только что вышел занимательный сборник украинских повестей. Они... все носят наивный и правдивый национальный характер. Под псевдонимом пасичника Рудого Панька автор описывает нравы, обычаи и язык добрых обитателей Украины». Свое коротенькое выступление Сомов завершает мыслью, имеющей большое принципиальное значение. «Какой рудник для разработки,— писал он,— представляет собою наша народность!» Не развертывая этого положения и, возможно, не вкладывая в него того смысла, который впоследствии был раскрыт Белинским, Сомов, однако, затронул одну из основных проблем в творчестве Гоголя.

Несмотря на ряд справедливых и содержательных мыслей, высказанных в рецензиях по поводу «Вечеров», критика 1831—1832 годов в целом носила узкий характер и интересна прежде всего как факт литературной борьбы. Она не ставила перед собой задачи глубокого осмысления творчества Гоголя. Разрешение этой проблемы в русской критике прежде всего связано с именем Белинского. «Нет сомнения,— писал П. В. Аннен-



ков,— что Белинский... начал первый объяснять смысл и значение его произведений. Можно думать, что Белинский уяснил самому Гоголю его призвание и открыл ему глаза на самого себя» (П. В. Анненков, Н. В. Станкевич, Переписка и его биография, М. 1857, стр. 77). О решающей роли критики Белинского в осмыслении творчества Гоголя современниками писал Гончаров: «Без него, смело можно сказать, и Гоголь не был бы в глазах большинства той колоссальной фигурой, в какую он, освещенный критикой Белинского, сразу стал перед публикой» И. А. Гончаров, Собр. соч., М. 1955, т. 8, стр. 55).

Известно намерение Белинского дать подробный разбор произведений Гоголя от «Вечеров на хуторе близ Диканьки» до «Мертвых душ». Однако замысел этот не осуществился. Высказывания Белинского о «Вечерах» разбросаны по отдельным статьям критика.

Первый же отзыв о «Вечерах», данный Белинским в «Литературных мечтаниях», содержит высокую оценку дарования их автора. Подобно Пушкину, Белинский сразу же обратил внимание на необычность таланта Гоголя, отметив, как наиболее типические черты, юмор, лиризм и народность гоголевских повестей. «Г-н Гоголь, так мило прикинувшийся *Пасичником*, принадлежит к числу необыкновенных талантов. Кому не известны его «Вечера на хуторе близ Диканьки»? Сколько в них остроумия, веселости, поэзии и народности?..» (В. Г. Белинский, т. I, стр. 97).

В своих статьях Белинский развивал идею о народности повестей Гоголя, видя в этом «необходимое условие истинно художественного произведения». Уже в статье «Ничто о ничем» Белинский писал о творчестве Гоголя: «...возьмем сочинения г. Гоголя. В них поэтизируется по большей части жизнь собственно народа, жизнь массы, и автору очень естественно было бы впасть в простонародность, но он остался только народным, и в том же самом смысле, в котором народен Пушкин» (там же, т. II, стр. 25).

Любовь к народу, знание действительности, умение видеть и понимать прекрасное в жизни народа и народном творчестве — вот что, по мнению Белинского, позволило Гоголю открыть в своих повестях «новый, небывалый мир» искусства. «Приученная к топу и манере повестей Марлинского, русская публика не знала, что и подумать о «Вечерах» Гоголя. Это был

совершенно новый мир творчества, которого никто не подозревал и возможности» (там же, т. VIII, стр. 80). В исполненных юмора и «веселого комизма» повестях Гоголя Белинский увидел не просто смех ради смеха, в чем, собственно, и упрекали Гоголя критики типа Полевого и Шевырева, а выражение полноты жизни. «Это комизм веселый... Здесь поэт как бы сам любит созданными им оригиналами. Однако ж эти оригиналы не его выдумка, они смешны не по его прихоти... всякое лицо говорит и действует у него в сфере своего быта, своего характера и того обстоятельства, под влиянием которого оно находится» (там же, т. V, стр. 566—567). Белинский первый отметил как одну из характернейших особенностей творческой манеры Гоголя — гармоническое сочетание комического и лирического начал — «комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния» (там же, т. I, стр. 284). В своей полемике с Шевыревым Белинский развил эту мысль: «В его «Вечерах на хуторе», в повестях «Невский проспект», «Портрет», «Тарас Бульба» смешное перемешано с серьезным, грустным, прекрасным и высоким... Его талант состоит в удивительной верности изображения жизни в ее неуловимо разнообразных проявлениях. Этого-то и не хотел понять г. Шевырев: он видит в созданиях г. Гоголя один комизм, одно смешное» (там же, т. II, стр. 137).

Верность действительности в произведениях Гоголя ничего не имела общего с бесстрастным созерцательным изображением жизни. В своей известной статье «О романе из народной жизни в России» Герцен писал: «...в душе его — точно два потока. Пока он в покоях начальников департамента, губернаторов, помещиков... до тех пор он печален, неумолим, он владеет даром сарказма, который порой заставляет смеяться до судорог, а порой будит презрение, граничащее с ненавистью. Когда же он, напротив, встречается с ямщиками из Малороссии, когда он переносится в мир украинских казаков или шумно пляшущих у трактира крестьян... тогда Гоголь — совсем иной человек. Талант его все тот же, но Гоголь всажен, человечен, полон любви; его ирония уже не ранит, не отравляет; отзывчивая, поэтическая душа переливается через край...» (А. И. Герцен, Собр. соч., М. 1958, т. 7, стр. 129). По словам Чернышевского, «Вечера на хуторе близ Диканьки» производят сильнейшее впечатление на читателя «именно своею задушевностью и теплотою», когда он описывает жизнь полюбившихся ему украинских парубков,

простых людей (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, стр. 61).

«Вечера на хуторе близ Диканьки» — особый самостоятельный этап в творчестве Гоголя. Объединив в себе романтические и реалистические тенденции в их гармоническом единстве, украинские повести явились предтечей всего дальнейшего творчества Гоголя. Подобно Пушкину, Гоголь шел от романтического восприятия жизни к утверждению реализма. Мир народной жизни, народная героиня «Вечеров» вновь предстанет в эпических образах «Тараса Бульбы», но уже овеянных пафосом исторической трагедии. Мягкий юмор и комизм ранних повестей возвысятся до суровой сатиры «Ревизора», и «кроткий» Шпонька вырастет в страшные утратой всего человеческого, глубоко типические образы героев «Мертвых душ».

### СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА

«Сорочинская ярмарка» напечатана в 1831 году, в первой книжке «Вечеров». Повесть впервые была написана в начале 1830 года, а завершена лишь в 1831 году. Дата, поставленная во втором издании «Вечеров» — «1829», — может относиться только к самому началу работы над повестью.

«Сорочинская ярмарка» в большей степени, чем другие повести цикла, связана с традициями украинской литературы. В повести ощутимо влияние комедии В. А. Гоголя «Простак, или Хитрость женщины, перехитренная солдатом». Отношения персонажей комедии — Романа, Параски и дьяка, их характеристики, смешные положения, в которые они попадают (например, сцена неудачного свидания Параски с дьяком, близкой сцене свидания Хиври с попovichем в «Сорочинской ярмарке»), бытовой колорит пьесы — все это говорит о связи повести Гоголя с комедией его отца. Следует отметить, что в письме к матери от 30 апреля 1829 года Гоголь просит выслать ему «Простак».

О близости повести с украинской литературой свидетельствуют и эпиграфы к «Сорочинской ярмарке», взятые большей частью из комической поэмы И. П. Котляревского «Энеида» (к гл. III, IV, VIII), а также из комедий Гоголя-отца «Простак...» и «Собака-овца» (к гл. II, VI, VII, X) и из басни Гулака-Артемовского «Пан и собака» (гл. XII).

В повести широко использованы мотивы украинского фольклора, народные легенды и сказки о черте, выгнанном из пекла, о поисках чертом своего имущества и т. п. (см. М. Драгоманов «Малорусские народные преданья и рассказы», Киев, 1876).

Некоторые эпиграфы повести восходят к украинским народным песням (гл. I, V, IX, XI, XIII).

Стр. 14. *Мені нудно в хаті жить... Де гуляють парубки!* — Мне тоскливо жить в хате, вези меня из дому туда, где много шума, где все девушки танцуют, где парни веселятся.

Стр. 18. *Що, боже ти мій... усієї ярмарки.* — Господи, боже мой, чего нет на той ярмарке! Колеса, стекло, деготь, табак, ремень, лук, торговцы всякие... так, что если бы в кармане было хоть тридцать рублей, то и тогда бы не закупил всей ярмарки.

Стр. 20. *Чи бачиш, він який парнище?.. брагу, хлище!* — Видишь ты, какой парнище? На свете мало таких. Сивуху, словно брагу, хлещет.

Стр. 23. *Хоть чоловікам не онеє... треба угодити...* — Хоть мужьям и не нравится, но коль жена, видишь ли, хочет того, то нужно угодить.

Стр. 24. *Не хилися явороньку... Ще ти молоденький!* — Не клонись, явор, ты еще зелененький; не печалься, казак, ты еще молоденький!

Стр. 26. *От біда... не без лиха буде.* — Вот беда: Роман идет, вот теперь он как раз поколотит меня, да и вам, пан Фома, не ждять добра.

Стр. 28. *Та тут чудасія, мосьпане!* — Да тут чудеса, мило-стивый государь!

Стр. 32. *Піджав хвіст... табака.* — Поджав хвост, как собака, как Каин, затрясся весь, из носа потек табак.

Стр. 33. *Ще спереду... на черта!* — Спереди еще так-сяк, а сзади, ей-же-ей, похож на черта!

Стр. 34. *Чур тобі ... навождение!* — Чур меня, чур, сгинь, дьявольское наваждение!

Стр. 36. *За мое ж жито... й побито.* — За мое же жито, да меня и побили.

Стр. 37. *«Чим, люди добрі...» ...узявшись за боки.* — «Чем это я так, люди добрые, провинился? За что вы изводите меня? — сказал бедняга. — За что вы так издеваетесь надо мною? За что, за что?» — сказал он, схватившись за бока, и разразился потоком горьких слез.

Стр. 38. *Не бійся, матінко!.. вороги мовчали!* — Не бойся, матушка, не бойся, в красные сапожки обуйся, топчи врагов под ноги, чтоб твои подковки бренчали, чтоб твои враги молчали.

Стр. 39. *Зелененький барвіночку... Присунься ще ближче!* — Зелененький барвинок, стелись низенько! А ты, милый, чернобровый, придвинься близехонько! Зелененький барвинок, стелись еще ниже! А ты, милый, чернобровый, придвинься еще ближе!

#### ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВАНА КУПАЛА

Впервые эта повесть была напечатана в февральской и мартовской книжках «Отечественных записок» за 1830 год, без подписи автора. В журнальном тексте повесть озаглавлена «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала. Малороссийская повесть (из народного предания), рассказанная дьячком Покровской церкви».

Издатель «Отечественных записок», бездарный литератор П. Свиньин при напечатании повести в журнале внес в нее много поправок, пытаясь освободить гоголевский текст от украинизмов и пригладить его стилистически. Гоголь был этим крайне раздражен и прекратил сотрудничество в журнале. В письме к матери от 3 июня 1830 года, посылая ей очередной номер «Отечественных записок», Гоголь замечал: «В этой книжке, равно и во всех последующих, Вы не встретите уже ни одной статьи моей» (Н. В. Гоголь, т. X, стр. 181). Напечатав повесть в первой книге «Вечеров», Гоголь не только устранил все «исправления» Свиньина, но и зло высмеял редактора в предисловии к повести, от имени рассказчика, Фомы Григорьевича, возмущенного редакторским самоуправством.

Полемический характер «Предисловия» был раскрыт современниками Гоголя. О. М. Сомов, автор рецензии на первую книгу «Вечеров», писал о предисловии Пасичника: «Пасичник, я слышал, человек, всегда готовый высказать самые резкие истины, да еще и языком малороссийского прямодушия. Он, пожалуй, в состоянии повторить г. Полевому то, что уже сказал одному из его собратий журналистов в предисловии своем ко 2-й повести «Вечеров на хуторе» («Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1831, № 94, стр. 738).

Помимо устранения «поправок» Свиньина, Гоголь внес в текст повести существенные изменения. В новой редакции

Гоголь отказался от объяснения поступков Петро его болезненной скупостью, тем самым подчеркнув социальную сторону событий: власть золота, фанатического собственнического начала, разлагающего простую и цельную жизнь народа. Гоголь сократил повесть, устранив второстепенные подробности; в редакции 1831 года более динамичным становится повествование, Гоголь усиливает живую разговорную интонацию, заменяя авторские описания диалогом героев.

В основу сюжета повести положены украинские народные легенды и предания об Иване Купале. В «Книге всякой всячины» имеется запись Гоголя, послужившая, вероятно, источником для сюжета повести: «Папороть (по-русски — папоротник, или кочедыжник, *bilix*) цветет огненным цветом только в полночь под Иванов день, и кто успеет сорвать его и будет так смел, что устоит противу всех призраков, кои будут ему представляться, тот отыщет клад». Мотивы призрачности богатства, добытого печистыми путями, широко представлены в украинском и русском фольклоре (см. И. Рудченко «Народные южнорусские сказки», I, Киев, 1869; М. Драгоманов «Малорусские народные предания и рассказы», Киев, 1876).

Стр. 43. *Подкова* Иван — казачий предводитель, в 1577 году завладел молдавским престолом; в 1578 году казнен Стефаном Баторием (см. прим. к стр. 187).

*Полтора-Кожуха* Карп — в 1638—1642 годах украинский гетман.

*Сагайдачный* (Конашевич) Петр (ум. в 1622) — украинский гетман; в 1616—1621 годах возглавлял походы запорожских казаков против турок.

Стр. 47. *Фузея* — кремневое ружье.

Стр. 57. *Гайвороны* — грачи.

### МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА

Повесть напечатана впервые в 1831 году, в первой книге первого издания «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

В «Майской ночи» использованы Гоголем фольклорные записи, полученные от матери и родных, а также материал, собранный им в «Книге всякой всячины». В письме к матери от 30 апреля 1829 года Гоголь просит сообщить ему «несколько слов

о русалках» (Н. В. Гоголь, т. X, стр. 144). К этому же году относится и работа над черновой редакцией «Майской ночи».

Начало повести (сцена свидания Левко и Ганны) основано на известной народной украинской песне «Солнце низенько, вечір близенько». Дальнейшие главы широко используют народную мифологию о ведьмах, об утопленниках и проч. Однако и здесь Гоголь совершенно самостоятелен; он не пересказывает ни одного из известных фольклорных сюжетов, а создает поэтическую картину жизни Малороссии, столь увлекшую Белинского, который писал о повести: «Читайте вы сго «Майскую ночь», читайте ее в зимний вечер у пылающего камелька, и вы забудете о зиме с ее морозами и метелями; вам будет чудиться эта светлая, прозрачная ночь благословенного юга, полная чудес и тайн; вам будет чудиться эта юная бледная красавица, жертва ненависти злой мачехи, это оставленное жилище с одним растворенным окном, это пустынное озеро, на тихих водах которого играют лучи месяца, на зеленых берегах которого пляшут вереницы бесплотных красавиц...» (В. Г. Белинский, т. I, стр. 301).

Стр. 58. *Ворог його батька знає!.. з неба.*— Черт его знает! Начнут что-нибудь крещеные люди делать,<sup>1</sup> мучатся, терзаются словно гончие за зайцем, а все нет толку; уж куда черт вмешается, верть хвостиком — так и не знаешь, откуда оно и возьмется, как будто с неба.

Стр. 65. *...дидько б утысся его батькови!*— черт бы явился его отцу!

Стр. 66. *...отдають добридень* — желают доброго дня.  
*Тавлінка* — табакерка.

*Екатерина ездила в Крым* — в 1787 году.

Стр. 71. *Безбородко* Александр Андреевич (1747—1799)— с 1775 года секретарь Екатерины II; в качестве министра иностранных дел сопровождал ее во время поездки в Крым.

Стр. 77. *Комисспр.*— Земские комиссары тогда ведали сбором податей, поставкой рекрутов, путями сообщения, полицией.

Стр. 81. *Ой, ти, місяцю... дівчина красна.*— Ой, ты, месяц, мой месяц, и ты, звезда ясная! Светите на том дворе, где красивая девушка.

«Пропавшая грамота» впервые напечатана в 1831 году в первой книжке первого издания «Вечеров».

Начало работы над повестью относится к 1829 году. По сравнению с сохранившимся черновым автографом, печатный текст повести значительно сокращен — убраны излишние подробности в описаниях и характеристиках персонажей. Так, например, в печатный текст не вошла история путешествия деда на хромом черте из пекла, имевшаяся в черновой редакции. В характеристике деда исключено упоминание о том, что он «один, бывало, иной раз выходил на медведя, а подчас и пяти человек умять ему было так же, как нашему брату отпеть воскресный кондак».

Рассказ о путешествии деда к чертям за украденной шапкой напоминает одну из широко распространенных на Украине легенд о кумовой кровати или о разбойнике Мадее (Н. П. Андреев «Указатель сказочных сюжетов...», Л. 1929). В легенде рассказывается о том, как некий человек, чья душа продана черту, отправляется в ад и с помощью разбойника выручает запись. Но по шутливому характеру, бытовому колориту (дед отправляется в пекло не за душой, а за шапкой), по манере изложения повесть Гоголя ближе всего народным рассказам о пребывании у чертей музыкантов, сапожников, портных. «Пропавшая грамота» близка по своему сюжету, характеру повествования к народным рассказам, вроде «Музыкант и черти» (записан Драгомановым в 60-е годы — М. Драгоманов «Малорусские народные предания и рассказы», Киев, 1876). Как и в повести Гоголя, рассказ в записи Драгоманова ведется от лица добродушного и невозмутимого рассказчика, повествующего о своих похождениях. Сцена посещения музыкантом незнакомого дома, оказавшегося прибежищем нечистой силы, напоминает сцену пребывания деда в пекле. Эпизод игры деда в карты развивает широко распространенный и в русских сказках мотив игры солдата в карты с чертями (см. А. Афанасьев «Народные русские сказки», I, М.— Л. 1936, № 153, 154).

В своей повести Гоголь не следует какому-нибудь определенному народному источнику, а, сплавливая различные фольклорные мотивы, создает яркие художественные образы и картины из жизни украинского народа.



Этой повестью открывалась вторая часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки», вышедшая в свет в 1832 году.

Однако написана была «Ночь перед рождеством» в своей первоначальной редакции значительно раньше, скорее всего еще в 1830 году. По сравнению с черновой редакцией, сохранившейся в рукописной тетради Гоголя, изменениям подверглась преимущественно вторая часть повести — описание приезда Вакулы в Петербург, и в особенности сцена жалобы запорожцев. Кроме того, в повести сделаны были цензурные купюры, которые в настоящем издании восстанавливаются по черновой рукописи. Так, несомненно по цензурным соображениям, не были помещены шутки Вакулы, крестящего черта, и слова запорожца, протестующего против притеснений: «Помилуй, мамо! зачем губишь верный народ? чем прогневили?»

В «Ночи перед рождеством» Гоголем также широко использован фольклор. Образ черта, крадущего месяц, история чудесного полета его с Вакулой восходят к народным, фольклорным источникам. В «Книге всякой всячины» имется такая запись Гоголя: «Существует поверье, что ведьмы снимают и прячут звезды». Известно в фольклоре и изображение того, как черт через печную трубу влетает к ведьме на свидание. Образ черта в «Ночи перед рождеством» близок и к комической фигуре беса в «вертепной» драме.

Действие повести относится ко второй половине XVIII века, что видно из описания поездки кузнеца Вакулы в Петербург, во дворец Екатерины II. Встреча запорожских депутатов с Екатериною, стремившейся привлечь запорожцев к борьбе против турок и татар, жалобы запорожцев на притеснения со стороны правительства отражают реальные исторические события. Царское правительство, охотно принимая помощь запорожцев, в то же время всячески стремилось ограничить «вольности» Сечи и подчинить ее полностью своему влиянию. «Напасти», на которые жалуются запорожцы, — это постройка правительственных крепостей вокруг Сечи, проекты ликвидировать запорожское войско и тем самым «поворотить» запорожцев в «карабинеры», то есть в регулярные войска. Протестуя против притеснений запорожцев, депутаты указывали на их верность государственным интересам России, имея в виду участие запорожцев в освободительных войнах с турками и крымскими татарами.

В числе лиц, окружающих Екатерину, Гоголь изображает Д. Фонвизина — автора комедий «Бригадир» и «Недоросль».

Белинский выделил эту повесть в цикле «Вечеров»: «Ночь перед рождеством», по словам критика, есть «целая, полная картина домашней жизни народа, его маленьких радостей, его маленьких горестей,— словом, тут вся поэзия его жизни» (В. Г. Белинский, т. I, стр. 304).

Стр. 108. *Подкоморий* — межевой судья.

Стр. 125. *Щедровки* — песенки, распевавшиеся молодежью в канун Нового года.

Стр. 147. *Титар* — ктитор, церковный староста.

### СТРАШНАЯ МЕСТЬ

Повесть была напечатана в 1832 году, во второй части «Вечеров», с подзаголовком «Старинная быль», снятым в последующих изданиях. В недавно обнаруженной черновой рукописи «Страшной мести» имелось вступление, мотивировавшее включение этой повести в круг рассказов пасичника Рудого Панька. «Вы слышали ли историю про синего <?> колдуна? Это случилось у нас за Днепром. Страшное дело! На тринадцатом году слышал я это <?> от матери, и я не умею сказать вам, но мне все чудится, что с того времени спало с сердца моего немного веселья. Вы знаете то место, что повыше Киева верст на пятнадцать? Там и сосна уже есть. Днепр и в той стороне также широк. Эх, река! Море, не река! Шумит и гремит и как будто знает никого не хочет. Как будто сквозь сон, как будто нехотя шевелит раздольную водяную равнину и обсыпается рябью. А прогуляется ли по нем в час утра или <вечера ветер, как все в нем задрожит, засуетится: кажется, будто то народ> толпится. И весь дрожит и сверкает в искрах, как волчья шерсть среди ночи. Что ж, господа, когда мы съездим <?> в Киев? Грешу я, право, перед богом: нужно, давно б нужно съездить поклониться святым местам. Когда-нибудь уже под старость совсем пора туда: мы с вами, Фома Григорьевич, затворимся в келью, и вы также, Тарас Иванович! Будем молиться и ходить по святым печерам. Какие прекрасные места там!» Это предисловие, обращенное к дядьку Фоме Григорьевичу, должно было связывать повесть со всем циклом рассказов, часть из которых

принадлежала Фоме Григорьевичу. Однако в дальнейшем Гоголь от него отказался и в печатный текст это вступление не включил,— возможно, потому, что сам облик рассказчика не соответствовал героико-эпическому характеру повествования.

Основной мотив повести о великом грешнике, предателе родины близок к фольклорным сказаниям; этот мотив Гоголь разрабатывал и в незаконченной исторической повести «Гетьман».

«Страшная месть» выдержана в тонах народной легенды и украинских исторических «дум». Не говоря уже о «думе» и песнях, сочиненных Гоголем в подражание украинскому народному творчеству, повесть изобилует фольклорными образами, сравнениями, эпитетами, написана напевной ритмической прозой, напоминающей ритм украинских «дум» (например, описание бури на Днестре в начале десятой главы).

Исторические мотивы повести перекликаются с «Историей русов» Конисского. В «Страшной мести» сказался горячий интерес писателя к прошлому Украины, к истории освободительной борьбы украинского народа с польской шляхтой,— и это сближает ее с патриотическим эпосом Гоголя — «Тарасом Бульбой». Белинский, имея в виду героическое звучание повести, сравнивал «Страшную месть» с «Тарасом Бульбой» — «...обе эти огромные картины,— писал он,— показывают, до чего может возвышаться талант г. Гоголя» (В. Г. Б е л и н с к и й, т. I, стр. 304).

Первоначально Данило Бурульбаш назывался Бульбашка, что перекликалось с фамилией Тараса.

Стр. 152. *Дуб* — лодка.

*Кармазинный* — красного сукна.

...билась при Соленом озере Орда.— Имеется в виду поход запорожцев на Крымское ханство в 1620 году под предводительством Сагайдачного и сражение на берегу Сиваша («Соленое озеро»).

Стр. 159. *Окроп* — кипящая жидкость.

Стр. 181. *Біжить возок кривавенький*...— Едет окровавленный возок, на том возке казак лежит простреленный, изрубленный, в правой руке он держит копьё, с того копьёя кровь бежит, бежит река кровавая. Над рекою явор стоит, над явором ворон каркает. О казаке мать плачет. Не плачь, мать, не печалься! Твой сын женился, взял жену панночку, в чистом поле земляночку, без дверей, без окон. И вот всей песне конец. Танцевала

рыба с раком... А кто меня не полюбит, пусть трясет лихорадка его мать!

Стр. 187. ...*князь Седмиградский* — Стефан Баторий, воевода Седмиградский, в 1576—1586 годах — король польский.

#### ИВАН ФЕДОРОВИЧ ШПОНЬКА И ЕГО ТЕТУШКА

Повесть «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» напечатана впервые во второй книжке «Вечеров на хуторе близ Диканьки» в 1832 году. Завершена она, по-видимому, позже всех остальных повестей цикла, в конце 1831 года.

Повесть о Шпоньке, написанная в строго реалистической манере, предвосхитила многие образы и мотивы гоголевских произведений. В критической литературе о творчестве Гоголя отмечалось, например, что черты Сторченко нашли свое дальнейшее развитие в образах Петуха и Собакевича; описание школы напоминает рассказ о детстве Чичикова, описание пехотного полка было потом развито Гоголем в «Коляске».

Кажущаяся внешняя незаконченность повести является своего рода художественным приемом автора, подчеркивающим бессмысленность и бессодержательность изображаемой жизни, рассказ о которой можно закончить в любом месте. В своем предисловии Гоголь иронически мотивирует это случайными причинами — утратой конца рукописи. «Незаконченность» повести рассматривалась и современниками Гоголя как сознательный художественный прием.

Стр. 193. *Аудитор* — старший ученик, помогающий учителю.

#### ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТО

Этой повестью завершается вторая книга «Вечеров на хуторе близ Диканьки», вышедшая в первом издании в 1832 году. Судя по тому, что «Заколдованное место» снабжено тем же подзаголовком, что и повести «Вечер накануне Ивана Купала» и «Пропавшая грамота» — «Быль, рассказанная дьячком \*\*\* ской церкви», ее можно отнести к группе ранних повестей «Вечеров», написанных в 1829—1830 годы.

Сюжет повести восходит к традиционным мотивам украинского фольклора. В повести использованы народные легенды и сказки о заколдованных, «обманных» местах. Встречающиеся в

гоголевской повести «чудеса» — свеча, которая загорается там, где зарыт клад, «нечистое» золото, превращающееся в мусор, — широко распространены в произведениях украинского фольклора (см. В. Мплорадович «Этнографический элемент в повести Гоголя «Заколдованное место» — «Киевская старина», 1897, № 9, стр. 55—60).

В «Заколдованном месте», так же как и в «Вечере накануне Ивана Купала», тема призрачности нечистым путем добытого богатства, губительной власти денег воплощена в сказочно-фантастических образах. В дальнейшем эти мотивы будут развиты Гоголем в обстановке городской действительности в повести «Портрет».

## П Р И Л О Ж Е Н И Я

### ГАНЦ КЮХЕЛЬГАРТЕН

Поэма «Ганц Кюхельgarten» издана была Гоголем в Петербурге в 1829 году под псевдонимом В. Алов и с указанием: «Писано в 1827». На заглавном листе значилось: «Идиллия в картинах». По свидетельству близких друзей Гоголя, первым его литературным выступлением было стихотворение «Италия», помещенное без подписи в мартовской книге журнала «Сын отечества» за 1829 год. Это стихотворение, возможно, являлось одним из первоначальных фрагментов поэмы «Ганц Кюхельgarten».

Принадлежность Гоголю поэмы «Ганц Кюхельgarten» впервые установлена П. А. Кулишом в анонимной заметке «Несколько черт для биографии Н. В. Гоголя». Предположение Кулиша было подтверждено в 1909 году опубликованием в «Русском архиве» недатированного письма Н. В. Гоголя к цензору К. С. Сербиновичу, в котором он просил ускорить разрешение на издание «Ганца Кюхельгартена».

В юношеской идиллии Гоголя наряду с влиянием романтизма Жуковского сказалось увлечение романтическими поэмами Пушкина, и в первую очередь «Цыганами». Тирады Ганца внешне очень напоминают монологи Алско. Например, Ганц, возвращаясь из своих странствий, говорит о людях «света»:

Как гробы, холодны они;  
Как тварь презреннейшая, низки;  
Корысть и почести одни  
Им лишь и дороги и близки.

В поэме Гоголя отразились и события действительной политической жизни 20-х годов. В условную, романтически неопределенную атмосферу вторгаются точные исторические упоминания: о борьбе греков за свою национальную независимость, о мятежах в Испании. Интерес Гоголя к Греции был вызван горячим сочувствием передовых кругов русской интеллигенции к героической борьбе греков с турецкими угнетателями. Основным источником знакомства Гоголя с событиями в Греции являлись, вероятно, рассказы греческих эмигрантов, живших в Нежине в те годы.

При своем появлении в печати юношеская поэма встретила резко отрицательные отзывы современников, в частности Н. Полевого («Московский телеграф», 1829, № 12). Видимо, неудача, постигшая «Ганца Кюхельгартена», вызвала и внезапный отъезд Гоголя за границу, о котором он уведомлял мать в письме от 24 июля 1829 года, вскоре после сожжения поэмы.

Стр. 241. *Мисолунги* — город в Греции — центр сопротивления греков во время национально-освободительной войны.

*Колокотрони* Федор (1770—1843)— деятель греческого национально-освободительного движения.

#### ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ «СТРАШНЫЙ КАБАН»

Отрывки из задуманной Гоголем повести «Страшный кабан» были напечатаны в «Литературной газете» в 1831 году (№ 1 и 17) под заглавиями: глава 1-я — «Учитель», и глава 2-я — «Успех посольства» (первая с подписью «П. Глечик», вторая — без подписи). Первый отрывок предполагался к включению в «Арабески» (помечен в сохранившихся планах), но в печатный текст не вошел и при жизни Гоголя не перепечатывался. Замысел этой повести скорее всего следует отнести к 1830 году, когда Гоголь уже работал над «Вечерами на хуторе близ Диканьки». Занятый «Вечерами», Гоголь, по-видимому, отошел от мысли о большой бытовой повести, близкой по своей реалистической манере к «Ивану Федоровичу Шпоньке», и отказался от ее завершения. Многие мотивы задуманной повести были развиты в различных эпизодах и образах «Вечеров», в особенности в «Ночи перед рождеством» (объяснения Ониська с Катериной повторено в сцене объяснения кузнеца Вакулы с Оксаною) и в «Сорочинской ярмарке» (образы Хиври и поповича напоминают во многом образы Симонихи и семинариста).

Замысел исторического романа «Гетьман» относится к 1830—1832 годам — времени работы Гоголя над второй частью «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Одна из глав этого незаконченного романа, под заглавием «Кровавый бандурист. Глава из романа», датированная 1832 годом, предназначалась для помещения в «Библиотеку для чтения», но была запрещена цензурой. На заседании С.-Петербургского цензурного комитета 27 февраля 1834 года А. В. Никитенко характеризовал этот отрывок, как «картину страданий и унижения человеческого, написанную совершенно в духе новейшей французской школы, отвратительную, возбуждающую не сострадание и даже не ужас эстетический, а даже омерзение». Начало этой главы, под названием «Пленник. Отрывок из исторического романа», было затем напечатано во второй части «Арабесок» (с измененной датой — 1830). Запрещенное цензурой окончание напечатано впервые, по сохранившейся авторской корректуре, лишь в 1917 году («Нива», № 1, стр. 3—6). Другая глава, под названием «Глава из исторического романа», напечатана была в «Северных цветах на 1831 год» с подписью «0000» и перепечатана затем с поправками в «Арабесках» (с датой — 1830) со следующим примечанием автора: «Из романа под заглавием «Гетьман». Первая часть его была написана и сожжена, потому что сам автор не был ею доволен, две главы, напечатанные в периодических изданиях, помещаются в этом собрании».

Кроме того, сохранилось несколько рукописных отрывков из этого романа, которые, однако, также не позволяют полностью восстановить авторский замысел и, возможно, являются лишь предварительными набросками. В частности, отношение фрагментов «Глава из исторического романа» и «Мне нужно видеть полковника» к замыслу «Гетьмана» остается неясным; возможно, они являются подготовительными к нему этюдами.

Задуманный Гоголем роман относится к прошлому Украины, к середине XVII столетия; главным его героем является историческое лицо — нежинский полковник Степан Острица, сведения о котором Гоголь почерпнул, по-видимому, из «Истории русов» Конисского. Исторические образы, намеченные в «Гетьмане», позже были использованы и развиты в «Тарасе Бульбе».

### ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Николай Васильевич Гоголь. Портрет работы *Ф. Моллера*. Масло. 1840.
2. «Сорочинская ярмарка». Рисунок *И. Репина*. Акварель. 1892.
3. «Сорочинская ярмарка». Рисунок *В. Маковского*. Литография. 1875.
4. «Сорочинская ярмарка». Рисунок *В. Маковского*. Литография. 1875.
5. «Вечер накануне Ивана Купала». Рисунок *К. Трутовского*. Литография. 1876.
6. «Майская ночь, или Утопленница». Картина *И. Крамского*. Масло. 1871.
7. «Ночь перед рождеством». Картина *И. Репина*. Масло. 1926.
8. «Иван Федорович Шпонька и его тетушка». Рисунок *И. Каневского*. Акварель. 1947.
9. «Заколдованное место». Рисунок *М. Клодта*. Акварель. 1891.



## СОДЕРЖАНИЕ

### ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ

#### *Часть первая*

Предисловие . . . . .	7
Сорочинская ярмарка . . . . .	14
Вечер накануне Ивана Купала . . . . .	42
Майская ночь, или Утопленница . . . . .	58
Пропавшая грамота . . . . .	88

#### *Часть вторая*

Предисловие . . . . .	100
Ночь перед рождеством . . . . .	105
Страшная месть . . . . .	150
Иван Федорович Шпонька и его тетушка . . . .	191
Заколдованное место . . . . .	217

### ПРИЛОЖЕНИЯ

Ганц Кюхельгартен . . . . .	229
Две главы из малороссийской повести «Страш- ный кабан» . . . . .	268
Гетьман . . . . .	282
Примечания . . . . .	329
Перечень иллюстраций . . . . .	366

Гоголь Николай Васильевич  
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, т. 1

Редактор *В. Фридлянд*  
Художественный редактор *И. Жихарев*  
Технический редактор *З. Евдокимова*  
Корректоры *М. Доценко* и *А. Чернышская*

Сдано в набор 13/X-1958  
Подписано в печать 15/1-1959  
Бумага  $84 \times 108^{1/32} = 11,5$  печ. л.  
18,86 усл. печ. л.  $17,64 + 9$  вкл. = 18,09 уч. изд. л.  
Тираж 1-го завода 150 000  
Заказ 2373. Цена 8 руб.

Гослитиздат  
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Первая Образцовая типография  
имени А. А. Жданова  
Московского городского Совнархоза  
Москва, Ж-54, Валовая, 28.

